Ги де

МОПАССАН

Лучшие новеллы



Лучшие новеллы (сборник)
Ги де Мопассан

Аннотация
Ги де Мопассан. Лучшие новеллы (сборник)
Поездка за город
Подруга Поля
Маррока
Полено
Сумасшедший?
Хитрость
Парижское приключение
Прощение
Вдова
Дверь
Муарон
Сестры Рондоли
Отшельник
Грезы
Исповедь женщины
Лунный свет
Страсть
Плутня
Пышка
Ожерелье

Бесполезная красота
Оливковая роща
Мушка
Утопленник
Испытание
Маска
Портрет
Калека
Двадцать пять франков старшей сестры
Дело о разводе
Кто знает?

Аннотация

Выморочность парижской жизни задана с первого рассказа, с выезда лавочников за город раз в год – поесть на травке, услышать соловья, совокупиться по зову плоти. И это – все. Если и мелькнет в этих рассказах естественное чувство, то как зеленая дачная травка для горожан – полдня, и довольно. Но и эти полдня могут стать откровением – пусть страшным, – ради которого жив человек.

Ибо страшнее всего не смертоносная ревность и даже не сотрясающее открытие, что очередная содержанка оказалась твоей же дочерью от давней связи. Всего ужасней слова любопытствующей провинциалки: «Я хотела узнать порок… ничего интересного». К этой бездне – «ничего интересного» – подводит Мопассан читателя. Достанет ли мужества заглянуть?

Ги де Мопассан
Лучшие новеллы (сборник)

Поездка за город

Позавтракать в окрестностях Парижа в день именин г-жи Дюфур, которую звали Петронилла, было решено уже за пять месяцев вперед. А так как этой увеселительной поездки ожидали с нетерпением, то в это утро все поднялись спозаранку.

Г-н Дюфур, заняв у молочника его повозку, правил лошадью собственноручно. Двухколесная тележка была очень чистенькая; у нее имелся верх, поддерживаемый четырьмя железными прутьями, и к нему прикреплялись занавески, но их приподняли, чтобы любоваться пейзажем. Только одна задняя занавеска развевалась по ветру, как знамя. Жена, сидя рядом с мужем, так и сияла в шелковом платье невиданного вишневого цвета. За нею на двух стульях поместились старая бабушка и молоденькая девушка. Виднелась, кроме того, желтая шевелюра какого-то малого: сидеть ему было не на чем, и он растянулся на дне тележки, так что высовывалась одна его голова.

Проехав по проспекту Елисейских Полей и

миновав линию укреплений у ворот Майо, принялись разглядывать окружающую местность.

Когда доехали до моста в Нейи, г-н Дюфур сказал:

— Вот наконец и деревня!

И по этому сигналу жена его стала восхищаться природой.

На круглой площадке Курбевуа они пришли в восторг от широты горизонта. Направо был Аржантей с подымавшейся ввысь колокольней; над ним виднелись холмы Саннуа и Оржемонская мельница. Налево в ясном утреннем небе вырисовывался акведук Марли, еще дальше можно было разглядеть Сен-Жерменскую террасу; прямо против них, за цепью холмов, взрытая земля указывала на местоположение нового Кормельского форта. А совсем уж вдали, очень далеко, за равнинами и деревнями, виднелась темная зелень лесов.

Солнце начинало припекать; пыль то и дело попадала в глаза. По сторонам дороги развертывалась голая, грязная, зловонная равнина. Здесь словно побывала проказа, опустошив ее, обглодав и самые дома — скелетообразные остовы полуразрушенных и покинутых зданий или недостроенные из-за невыплаты денег подрядчи-

кам лачуги, простиравшие к небу четыре стены без крыши.

Там и сям из бесплодной земли вырастали длинные фабричные трубы; то была единственная растительность этих гнилостных полей, по которым весенний ветерок разносил аромат керосина и угля с примесью некоего другого, еще менее приятного запаха.

Наконец вторично переехали через Сену, и на мосту все пришли в восторг. Река искрилась и сверкала; над нею подымалась легкая дымка испарений, поглощаемых солнцем; ощущался сладостный покой, благотворная свежесть; можно было наконец подышать более чистым воздухом, не впитавшим в себя черного дыма фабрик и миазмов свалок.

Прохожий сообщил, что эта местность называется Безонс.

Экипаж остановился, и г-н Дюфур принялся читать заманчивую вывеску харчевни: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные кабинеты для компаний, беседки и качели».

— Ну, как, госпожа Дюфур, устраивает это тебя? Решай!

Жена, в свою очередь, прочитала: «Ресторан Пулена, вареная и жареная рыба, отдельные ка-

бинеты для компаний, беседки и качели». Затем она внимательно оглядела дом.

То был деревенский трактир, весь белый, построенный у самой дороги. Сквозь растворенные двери виднелся блестящий цинковый прилавок, перед которым стояли двое одетых по-праздничному рабочих.

Наконец г-жа Дюфур решилась.

— Здесь хорошо, — сказала она, — и к тому же отсюда красивый вид.

Экипаж въехал на широкую, обсаженную высокими деревьями лужайку позади трактира, отделенную от Сены лишь береговой полосой.

Все слезли с тележки. Муж соскочил первым и раскрыл объятия, чтобы принять жену. Подножка, прикрепленная на двух железных прутьях, была помещена очень низко; чтобы до нее дотянуться, г-же Дюфур пришлось показать нижнюю часть ноги, первоначальная стройность которой теперь исчезла под наплывом жира, наползавшего с ляжек.

Деревня уже начала приводить г-на Дюфура в игривое настроение: он проворно ущипнул супругу за икры и, взяв ее под мышки, грузно опустил на землю, точно огромный тюк.

Она похлопала руками по шелковому платью,

чтобы стряхнуть пыль, и огляделась вокруг.

Это была женщина лет тридцати шести, дородная, цветущая, приятная на вид. Ей было трудно дышать от слишком туго затянутого корсета; колышущаяся масса ее необъятной груди, стиснутая шнуровкой, подымалась до самого двойного подбородка.

За нею, опершись рукою о плечо отца, легко спрыгнула девушка. Желтоволосый малый стал одною ногой на колесо, вылез сам и помог г-ну Дюфуру выгрузить бабушку.

После этого распрягли лошадь и привязали ее к дереву, а тележка упала на передок, уткнувшись оглоблями в землю. Мужчины, сняв сюртуки и вымыв руки в ведре с водою, присоединились к дамам, уже разместившимся на качелях.

М-ль Дюфур пробовала качаться стоя, одна, но ей не удавалось придать качелям достаточный размах. Это была красивая девушка лет восемнадцати-двадцати, одна из тех женщин, при встрече с которыми на улице вас словно хлестнет внезапное желание, оставив до самой ночи в каком-то смутном беспокойстве и чувственном возбуждении. Она была высокая, с тонкой талией и широкими бедрами, с очень смуглой кожей, с огромными глазами и черными как смоль во-

лосами. Платье отчетливо обрисовывало тугие округлости ее тела, и их еще более подчеркивали движения бедер, которые она напрягала, чтобы раскачаться. Ее вытянутые руки держались за веревки над головой, и грудь плавно вздымалась при всяком толчке, который она давала качелям. Шляпа, сорванная порывом ветра, упала позади нее. Качели мало-помалу приобрели размах, открывая при каждом подъеме ее стройные ноги до колен и овевая лица обоих улыбавшихся мужчин дуновением ее юбок, пьянящим сильнее винных паров.

Сидя на других качелях, г-жа Дюфур монотонно и непрерывно стонала:

— Сиприен, подтолкни меня! Подтолкни же меня, Сиприен!

Наконец муж подошел к ней, засучив рукава, словно для нелегкой работы, и с бесконечным трудом помог ей раскачаться.

Вцепившись руками в веревки, вытянув ноги, чтобы не задевать за землю, она наслаждалась убаюкивающим движением качелей. Формы ее непрестанно трепетали от толчков, как желе на блюде.

Но размах качелей увеличивался, у нее начинала кружиться голова, и ей стало боязно.

Опускаясь, она всякий раз издавала пронзительные крики, так что сбежались окрестные мальчишки, и она смутно видела перед собою, над садовой изгородью, их шаловливые лица, гримасничавшие от смеха.

Подошла служанка, и ей заказали завтрак.

— Жареной рыбы из Сены, тушеного кролика, салат и десерт, — солидно произнесла г-жа Дюфур.

— Принесите два литра столового вина и бутылку бордо, — сказал ее муж.

— Есть будем на траве, — добавила девушка.

Бабушка, умилившаяся при виде трактирного кота, преследовала его уже минут десять, бесплодно расточая ему самые сладкие ласкательные названия. Животное, может быть, и польщенное таким вниманием, держалось на близком расстоянии от протянутой руки старушки, но не давало ей к себе прикоснуться и спокойно обходило все деревья, о которые терлось, задрав хвост и слегка урча от удовольствия.

— Смотрите! — закричал вдруг желтоволосый малый, слонявшийся по всем углам. — Вот это лодки так лодки!

И все пошли поглядеть. В небольшом деревянном сарае были подвешены два великолепных

ялика для речного спорта, стройные и изящно отделанные, точно роскошная мебель. Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким, стройным девушкам; они возбуждали желание скользить по воде в чудный, тихий вечер или в ясное летнее утро, проноситься мимо цветущих берегов, где деревья купают ветви в воде, где в непрестанной дрожи шелестят камыши и откуда, словно голубые молнии, вылетают проворные зимородки.

Семейство почтительно любовалось яликами.

— О да! Это действительно лодки, — степенно подтвердил г-н Дюфур.

И он стал подробно разбирать их достоинства с видом знатока. По его словам, в молодые годы он тоже занимался речным спортом, а с эдакой штукой в руке — и он делал движение, будто гребет веслами, — ему на все было наплевать. В свое время на гонках в Жуанвиле он побил не одного англичанина. И он стал острить словом «дамы», которым называют уключины, удерживающие весла, говоря, что гребцы-любители недаром никогда не выезжают без «дам». Разглагольствуя, он приходил в азарт и упорно предлагал побиться об заклад, что с такой лодкой он, не торопясь, отмахает шесть миль в час.

— Кушанье подано, — сказала служанка, показавшись в дверях.

Все заторопились, но тут оказалось, что на лучшем месте, которое г-жа Дюфур мысленно облюбовала, уже завтракали два молодых человека. То были, несомненно, владельцы яликов, ибо они были одеты в костюмы гребцов.

Они развалились на стульях полулежа. Лица их почернели от загара, грудь была прикрыта лишь тонким белым бумажным трико, а руки, сильные и мускулистые, как у кузнецов, были обнажены. Эти дюжие молодцы рисовались своей силой, но во всех их движениях была все же та упругая грация, которая приобретается физическими упражнениями и столь отлична от телесных уродств, налагаемых на рабочего тяжелым однообразным трудом.

Они быстро обменялись улыбкой при виде матери и переглянулись, заметив дочь.

— Уступим место, — сказал один из них. — Это даст нам возможность познакомиться.

Другой тотчас же поднялся и, держа в руке свой наполовину красный, наполовину черный берет, рыцарски предложил уступить дамам единственное место в саду, где не было солнечных лучей. Предложение приняли, рассыпавшись в извине-

ниях, и семейство расположилось на траве без стола и стульев, чтобы придать завтраку еще более сельский характер.

Оба молодых человека перенесли свои приборы на несколько шагов в сторону и продолжали завтракать. Их обнаженные руки, которые все время были на виду, несколько стесняли девушку. Она даже подчеркнуто отворачивала голову и как будто не замечала их. Но г-жа Дюфур, более смелая, побуждаемая чисто женским любопытством, — оно, может быть, было и желанием, — все время поглядывала на них, вероятно, не без сожаления думая о скрытой уродливости своего мужа.

Она расселась на траве, подогнув ноги на манер портных, и то и дело ерзала на месте, утверждая, что к ней куда-то заползли муравьи. Г-н Дюфур, пришедший в дурное расположение духа от присутствия и любезности посторонних, старался усесться поудобнее, что ему так и не удавалось, а молодой человек с желтыми волосами молча ел за четверых.

— Какая чудная погода, сударь, — сказала толстая дама, обращаясь к одному из гребцов. Ей хотелось быть полюбезнее в благодарность за место, которое они уступили.

— Да, сударыня, — ответил он. — Вы часто ез-

дите за город?

— О нет! Только раза два в году, чтобы подышать свежим воздухом. А вы, сударь?

— Я езжу сюда ночевать каждый вечер.

— Ах! Должно быть, это очень приятно?

— Еще бы, сударыня!

И он принялся описывать на поэтический лад свою каждодневную жизнь, чтобы сердца этих горожан, лишенных зелени, изголодавшихся по прогулкам в полях, сильнее забились той глупой любовью к природе, которая весь год томит их за конторками лавок.

Девушка, растроганная рассказом, подняла глаза и взглянула на лодочника. Г-н Дюфур разомкнул уста.

— Вот это жизнь, — сказал он и прибавил, обращаясь к жене: — Не хочешь ли еще кусочек кролика, милая?

— Нет, благодарю, мой друг.

Она снова обернулась к молодым людям и, указывая на их обнаженные руки, спросила:

— Неужели вам никогда не холодно так?

Они рассмеялись и повергли в ужас все семейство рассказами о своих невероятно утомительных поездках, о купании в испарине, о плавании среди ночных туманов; при этом они с силой

колотили себя в грудь, чтобы показать, какой она издает звук.

— О, у вас действительно крепкий и здоровый вид, — сказал муж, не решаясь больше говорить о том времени, когда он побивал англичан.

Теперь девушка искоса разглядывала их. Желтоволосый малый, поперхнувшись, страшно закашлялся и забрызгал вином шелковое вишневое платье хозяйки, чем привел ее в негодование; она велела принести воды, чтобы замыть пятна.

Тем временем жара становилась нестерпимой. Сверкающая река казалась охваченной пламенем, а винные пары туманили головы.

Г-н Дюфур, которого одолела сильная икота, расстегнул жилет и верхнюю пуговицу брюк, а его жена, изнемогая от удушья, потихоньку распустила лиф своего платья. Приказчик весело потряхивал льняной гривой, то и дело подливая себе вина. Бабушка, чувствуя себя охмелевшей, держалась чрезвычайно прямо и с большим достоинством. Что касается молодой девушки, то по ней ничего нельзя было заметить; только глаза ее как-то неопределенно поблескивали, а румянец на смуглой коже щек стал еще более густым.

Кофе их доконал. Затеяли пение, и каждый пропел свой куплет, которому остальные бешено

аплодировали. Затем с трудом поднялись на ноги; женщины, немного осовелые, едва переводили дух, а г-н Дюфур и желтоволосый малый, окончательно опьяневшие, занялись гимнастическими упражнениями. Тяжелые, вялые, с багровыми физиономиями, они неуклюже свисали с колец, не имея силы подтянуться на руках; их рубашки поминутно грозили вылезти из брюк и уподобиться знаменам, развевающимся на ветру.

Между тем лодочники спустили свои ялики на воду и вернулись, любезно предлагая дамам прокатиться по реке.

— Дюфур, ты разрешаешь? Прошу тебя! — воскликнула жена.

Он посмотрел на нее пьяными глазами, ничего не понимая. Один из гребцов подошел к нему с двумя удочками в руке. Надежда поймать пескаря, заветная мечта каждого лавочника, засветилась в тусклых глазах простака; он разрешил все, о чем его просили, и расположился в тени, под мостом, свесив ноги над рекою, рядом с желтоволосым малым, который тут же и заснул.

Один из гребцов пожертвовал собою: он взял в свою лодку мамашу.

— В лесок на остров англичан! — крикнул он, удаляясь.

Другой ялик поплыл медленнее. Гребец так загляделся на свою спутницу, что уже ни о чем не думал, и им овладело волнение, парализовавшее его силы.

Девушка, сидя на скамье рулевого, отдавалась сладостному ощущению прогулки по воде. Она чувствовала полную неспособность размышлять, покой всего тела, томное забытье, как бы растущее опьянение. Она разрумянилась, и дыхание ее стало прерывистым. Под влиянием винного дурмана, усиливаемого струившимися вокруг дуновениями жары, ей стало казаться, что береговые деревья кланяются на ее пути. Смутная жажда ласк, брожение крови разливались по ее телу, возбужденному зноем этого дня; в то же время ее смущало, что здесь, на воде, среди этой местности, где пожар небес словно истребил все живое, она очутилась наедине с любующимся ею молодым человеком, чьи глаза как бы осыпали поцелуями ее кожу, чье желание обжигало ее, как солнечные лучи.

Они не способны были вести разговор и глядели по сторонам, отчего их волнение еще более возрастало. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил, как ее зовут.

— Анриетта, — сказала она.

— Какое совпадение! Меня зовут Анри! — ответил он.

Звук голосов несколько успокоил их: они заинтересовались берегом. Другой ялик остановился и, казалось, поджидал их. Гребец крикнул:

— Мы присоединимся к вам в лесу, а пока поедем к Робинзону: моей даме хочется пить.

После этого он налег на весла и стал так быстро удаляться, что скоро скрылся из виду.

Непрерывный рокот, уже некоторое время смутно доносившийся издали, стал стремительно нарастать. Самая река как будто содрогалась, словно этот глухой шум исходил из ее глубин.

— Что это за гул? — спросила Анриетта.

То было падение воды в шлюзе, пересекавшем реку у мыса острова. Анри старался объяснить, но вдруг среди этого грохота их слух поразило пение птицы, долетевшее как будто очень издалека.

— Скажите! — промолвил он. — Соловьи запели днем, значит, самки уже сидят на яйцах.

Соловей! Она никогда не слыхала его пения, и мысль услышать его вызвала в ее сердце нежные, поэтические образы. Соловей! Ведь это невидимый свидетель любовных свиданий, которого призывала на своем балконе Джульетта; это небесная музыка, звучащая в лад с поцелуями

людей; это вечный вдохновитель всех томных романсов, раскрывающих лазоревые идеалы перед бедными сердечками растроганных девочек!

Она сейчас услышит соловья!

— Давайте не будем шуметь, — сказал ее спутник, — мы можем причалить и посидеть совсем около него.

Ялик неслышно скользил по воде. Показались деревья острова, берега которого были такие пологие, что глаз проникал в самую гущу зарослей. Причалили, привязали лодку, и Анриетта, опираясь на руку Анри, стала пробираться с ним между ветвями.

— Наклонитесь, — сказал он.

Она нагнулась, и сквозь перепутанную чащу ветвей, листвы и камышей они проникли в убежище, которое невозможно было бы найти, не зная о нем; молодой человек, смеясь, называл его своим «отдельным кабинетом».

Как раз над их головами, на одном из деревьев, которые укрывали их, заливался соловей. Он сыпал трелями и руладами, его сильные вибрирующие ноты наполняли все пространство и словно терялись за горизонтом, раскатываясь вдоль реки и уносясь вдаль, по полям, в знойной тишине, нависшей над равниной.

Они сидели рядом и молчали, боясь спугнуть птицу. Рука Анри медленно охватила талию Анриетты и сжала ее нежным объятием. Она, не сердясь, отвела эту дерзкую руку и отводила снова, когда та приближалась опять; впрочем, девушка не испытывала никакого смущения от этой ласки, как будто совершенно естественной и которую она так же естественно отстраняла.

Она слушала соловьиное пение, замирая от восторга. В ней пробуждалась бесконечная жажда счастья; всем ее существом овладевали внезапные порывы нежности, словно откровения неземной поэзии. Нервы ее так ослабли и сердце так размягчилось, что она заплакала, сама не зная почему. Теперь молодой человек прижимал ее к себе, и она уже его не отстраняла, потому что просто не думала об этом.

Внезапно соловей умолк. Голос в отдалении крикнул:

— Анриетта!

— Не отвечайте, — сказал он шепотом, — вы спугнете птицу.

Но она и не думала отвечать.

Так они продолжали сидеть некоторое время.

Вероятно, и г-жа Дюфур была где-то неподалеку, потому что время от времени смутно слышались

легкие вскрикивания толстой дамы, с которою, видимо, заигрывал другой лодочник.

Молодая девушка продолжала плакать; она испытывала какое-то удивительное сладостное чувство и ощущала на своей разгоряченной коже незнакомые ей щекочущие уколы. Голова Анри покоилась на ее плече, и вдруг он поцеловал ее в губы. В ней вспыхнуло страшное возмущение, и, желая отстраниться, она откинулась на спину. Но он упал на нее всем телом. Он долго преследовал ускользавший от него рот, наконец настиг и прильнул к нему. Тогда и сама она, обезумев от бурного желания, прижимая его к своей груди, вернула поцелуй, и все ее сопротивление сломилось, словно раздавленное чрезмерной тяжестью.

Все было спокойно вокруг. Соловей запел снова. Сначала он испустил три пронзительные ноты, походившие на любовный призыв, затем, после минутного молчания, ослабевшим голосом начал выводить медленные модуляции.

Пронесся нежный ветерок, зашуршав листвой, и в чаще ветвей раздались два страстных вздоха, которые слились с пением соловья, с легким шорохом леса.

Соловьем словно овладело опьянение, и голос

его, постепенно усиливаясь, как разгорающийся пожар, как все нарастающая страсть, казалось, вторил граду поцелуев под деревом. Затем его упоенное пение перешло в неистовство. Временами он долго замирал на одной ноте, как бы захлебываясь мелодией.

Иногда он немного отдыхал, испуская лишь два-три легких протяжных звука и заканчивая их высокой пронзительной нотой. Или же переходил на бешеный темп с переливами гамм, с вибрациями, с каскадами отрывистых нот, подобных песне безумной любви, завершающейся победными кликами.

Но вот он умолк, прислушиваясь к раздавшемуся внизу стону, такому глубокому, что его можно было бы принять за прощальный стон души. Звук этот длился несколько мгновений и завершился рыданием.

Покидая свое зеленое ложе, оба они были страшно бледны. Голубое небо казалось им померкшим; пламенное солнце в их глазах погасло; они ясно ощущали одиночество и безмолвие. Они быстро шли рядом, не разговаривая, не прикасаясь друг к другу, словно стали непримиримыми врагами, словно тела их испытывали взаимное отвращение, а души — взаимную ненависть.

Время от времени Анриетта звала:

— Мама!

Под одним из кустов поднялась суматоха. Анри показалось, что он видел, как белую юбку поспешно опустили на жирную икру, и вот появилась необъятная дама, немного сконфуженная, еще более раскрасневшаяся, с сильно блестевшими глазами, с бурно волнующейся грудью и, пожалуй, слишком близко держась к своему спутнику. Последний, вероятно, навидался немало забавного: по лицу его против воли пробегали внезапные усмешки.

Г-жа Дюфур нежно взяла его под руку, и обе парочки пошли к лодкам. Анри, все так же безмолвно шедший впереди рядом с девушкой, как будто услыхал заглушенный звук долгого поцелуя.

Наконец вернулись в Безонс.

Протрезвившийся г-н Дюфур начинал терять терпение. Желтоволосый малый закусывал перед отъездом. Тележка стояла запряженная во дворе, а бабушка, уже усевшаяся в нее, была вне себя от отчаяния и страха: ночь застанет их на равнине, а ведь окрестности Парижа небезопасны.

Обменялись рукопожатиями, и семейство Дюфур уехало.

— До свидания! — кричали лодочники.

Ответом им были вздох и скатившаяся слеза.

Два месяца спустя, проходя по улице Мартир, Анри прочитал на одной двери:

Дюфур, скобяная торговля.

Он вошел.

Толстая дама пышно цвела за прилавком. Друг друга узнали тотчас же, и после обмена множеством любезностей он спросил:

— А как поживает мадемуазель Анриетта?

— Прекрасно, благодарю вас, она замужем.

— Ах!..

Волнение душило его; он продолжал:

— А... за кем?

— Да за тем молодым человеком, который, помните, тогда сопровождал нас: он будет преемником в нашем деле.

— Вот что!..

Он собрался уходить, глубоко опечалившись, сам не зная почему.

Г-жа Дюфур окликнула его.

— А как поживает ваш приятель? — застенчиво спросила она.

— Прекрасно.

— Поклонитесь ему от нас, не забудьте; а если ему случится проходить мимо, скажите, чтобы

он зашел повидаться…

Она густо покраснела и прибавила:

— Это доставит мне большое удовольствие; так и скажите ему.

— Непременно. Прощайте!

— Нет… до скорого свидания!

Год спустя, как-то в воскресенье, когда было очень жарко, Анри припомнил вдруг все подробности этого приключения, припомнил так ярко и заманчиво, что один вернулся в их лесной приют.

Войдя туда, он изумился. Там была она. С грустным видом сидела она на траве, а рядом с нею, по-прежнему без пиджака, спал, как сурок, ее муж, желтоволосый молодой человек.

Увидев Анри, она побледнела, и он испугался, не стало бы ей дурно. Затем они начали разговаривать так непринужденно, словно ничего между ними не произошло.

Но когда он сказал ей, что очень любит это местечко и часто приезжает сюда по воскресеньям отдохнуть и предаться воспоминаниям, она посмотрела ему в глаза долгим взглядом.

— А я об этом думаю каждый вечер.

— Ну, голубушка, — сказал, зевая, проснувшийся муж, — нам словно бы пора и домой.

Подруга Поля

Ресторан Грийона, этот фаланстер любителей гребного спорта, понемногу пустел. У входа стоял громкий гомон восклицаний и окликов; рослые молодцы в белом трико жестикулировали, держа весла на плечах. Женщины в светлых весенних нарядах осторожно входили в ялики и, усаживаясь на корме, оправляли платья; хозяин заведения, здоровенный рыжебородый малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые суденышки.

Гребцы, с обнаженными руками и выпяченной грудью, усаживались в свою очередь, стараясь обратить на себя внимание публики — разодетых по-праздничному буржуа, рабочих и солдат, которые, облокотясь о перила моста, любовались этим зрелищем.

Лодки одна за другою отчаливали от пристани. Гребцы равномерным движением нагибались вперед, затем откидывались назад, и от толчка длинных изогнутых весел быстрые ялики скользили по реке, все удалялись, все уменьшались и исчезали наконец под железнодорожным мо-

стом, направляясь к Лягушатне.

Осталась только одна парочка. Молодой человек, еще безбородый, тонкий, с бледным лицом, держал за талию свою любовницу, маленькую, худенькую брюнетку с ужимками стрекозы; порою они обменивались глубоким взглядом.

Хозяин закричал:

— Ну, господин Поль, поторапливайтесь!

И они подошли ближе.

Из всех клиентов ресторана г-н Поль пользовался наибольшей любовью и уважением. Он расплачивался щедро и аккуратно, тогда как другим приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как отец его был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал:

— Кто такой этот юнец, который так льнет к своей девице?

И кто-либо из завсегдатаев отвечал вполголоса с важным и таинственным видом:

— Это Поль Барон, знаете, сын сенатора.

— Бедняга! Завяз по уши! — неизменно вырывалось у собеседника.

Тетка Грийон, ловкая женщина, понимавшая

толк в торговле, называла молодого человека и его подругу «своими двумя голубками» и делала вид, что растрогана этой любовью, выгодной для ее заведения.

Парочка подходила тихими шагами; ялик *Мадлена* был готов; прежде чем сесть в него, они поцеловались, вызвав смех среди публики, собравшейся на мосту. Взявшись за весла, г-н Поль тоже отправился к Лягушатне.

Когда они приехали туда, было уже около трех часов, и большое плавучее кафе кишмя кишело народом.

Огромный плот под просмоленной крышей на деревянных столбах соединен с очаровательным островом Круасси двумя мостиками: один из них приводит в самый центр этого плавучего заведения, а другой соединяет конец его с крошечным островком, по прозвищу «Цветочный горшок», где растет одно-единственное дерево; оттуда этот мостик доходит до суши близ конторы купален.

Г-н Поль привязал лодку у помоста кафе, перебрался через перила, взял на руки и перенес свою любовницу, и они уселись за столом друг против друга.

По другую сторону реки, на берегу, вытянулась в ряд длинная вереница экипажей. Тут стояли

тяжелые фиакры — огромные кузова на продавленных рессорах, — запряженные клячей с понурой шеей и разбитыми ногами. Тут стояли изящные кареты щеголей, стройные и тонкие, покачивавшиеся на узких колесах; у их лошадей были сухие, сильные ноги, крутая шея, удила в белоснежной пене, а чопорный ливрейный кучер, выпрямив голову, подпираемую высоким воротником, держал натянутые вожжи, упирая бич о колено.

Весь берег реки был усеян людьми, которые шли то семьями, то компаниями, то парами, то в одиночку. Они срывали по дороге травинки, спускались к воде, снова подымались на дорогу и, дойдя до одного и того же места, останавливались в ожидании перевозчика. Тяжелый паром беспрестанно передвигался с одного берега на другой, выгружая пассажиров на остров.

Рукав реки, прозванный «Мертвым», на который выходит эта плавучая пристань с кафе, казалось, спал — такое слабое было в нем течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челноков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скрещиваясь, смешиваясь, сцепляясь между собой; порой они внезапно останавливались от

резкого движения рук, а затем снова неслись, повинуясь порывистому напряжению мускулов, и проворно скользили, подобно длинным желтым или красным рыбам.

Прибывали все новые и новые лодки: одни из Шату направлялись вверх по реке, другие из Буживаля — вниз по течению; от одной лодки к другой по воде летели смех, призывы, вопросы и перебранка. Под знойными лучами жаркого дня катающиеся щеголяли загорелым телом и выпуклыми мускулами, а на корме лодок, словно причудливые плавучие цветы, распускались шелковые зонтики — красные, голубые, зеленые и желтые.

В небе пылало июльское солнце; весь воздух, казалось, пропитан был жгучим весельем; ни малейшее дуновение ветерка не нарушало покоя листвы ив и тополей.

В резком освещении уступами вздымались укрепленные откосы неизбежного, отовсюду видневшегося Мон-Валерьена; с правой же стороны восхитительный берег Лувесьена загибался полукругом, вместе с поворотом реки, и там, сквозь мощную, темную зелень больших садов, кое-где виднелись белые стены загородных дач.

Перед входом в Лягушатню, под гигантскими

деревьями, которые превращают этот уголок острова в самый очаровательный парк в мире, прохаживалась толпа гуляющих. Женщины, желтоволосые, широкозадые проститутки, с чрезмерно выступающими грудями, с наштукатуренными лицами, с подведенными глазами, с кроваво-красными губами, затянутые и зашнурованные, в вычурных платьях, волочили по свежему газону кричащие, безвкусные наряды; а рядом с ними позировали молодые люди в костюмах, скопированных с модной картинки, в светлых перчатках, лакированных ботинках, с тоненькими тросточками и с моноклями, подчеркивавшими всю глупость их улыбок.

Остров сужается как раз у Лягушатни, а на другом берегу, где тоже работает паром, все время подвозящий народ из Круасси, несется, как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонеров в артиллерийской форме, и солдаты, сидя рядышком на длинном бревне, поглядывали, как течет мимо них вода.

В плавучем заведении царили страшный гам и толкотня. За деревянными столиками, где от пролитых напитков образовались липкие ручейки, у недопитых стаканов сидели полупьяные

люди. Вся эта толпа кричала, пела, горланила. Мужчины, сдвинув шляпы на затылок, раскрасневшись, с блестевшими пьяным блеском глазами, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения — отряд гребцов, любителей скандальных танцев, и их подруги в коротких фланелевых юбках.

Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами; четыре пары отхватывали кадриль, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока.

Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи, всего изощренного распутства, всей плесени парижского общества; здесь можно встретить вперемежку мелких приказчиков, дрянных актеров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых истасканных волокит; здесь подозрительная тол-

чея всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину еще встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошельмованных — жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами, полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости, который словно говорит: «Первого, кто назовет меня негодяем, я пришибу на месте».

Это место все пропиталось скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажерством. Самцы и самки здесь сто́ят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что — ради того, чтобы поддержать прогнившую репутацию, хотя удары шпаги и пистолетные пули разрушают ее лишь еще более.

Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье; ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем еще молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порою сюда случайно заходят с прогулки; иногда здесь запутывается и какой-нибудь наивный человек.

Это место по праву носит название Лягушатни: рядом с крытым плотом, на котором пьют и едят, и близ самого «Цветочного горшка» устроено купанье. Те из женщин, которые обладают доста-

точной округленностью форм, приходят сюда, чтобы выставить свой товар в обнаженном виде и залучить клиента. Другие же с напускным презрением — хотя они подбиты ватой, подперты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там, — пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сестры.

На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающиеся в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыква, или узловатые, как ветка маслины, то согнутые вперед, то откинутые назад из-за выпяченного живота, но все неизменно безобразные, они прыгают в воду, обдавая брызгами посетителей кафе.

Несмотря на огромные, склонившиеся над плавучим домом деревья и на близость воды, удушливая жара наполняла это место. Испарения пролитых ликеров смешивались в этом пекле с запахом человеческих тел и острых духов, которыми пропитана кожа продавщиц любви. Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался легкий аромат рисовой пудры; порою он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясала в воздухе невидимой пуховкой.

Самое интересное зрелище было на реке, где непрестанное шныряние лодок взад и вперед

привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели, небрежно откинувшись на спинку скамьи, напротив своих самцов с их не знавшими устали руками, и презрительно оглядывали бродящих по острову искательниц дарового обеда.

По временам какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо; приятели гребцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками, и вся публика, внезапно охваченная безумием, подымала дикий вой.

На излучине реки, со стороны Шату, то и дело показывались новые лодки. Они приближались, увеличивались в размерах, и, когда становилось возможным узнать лица сидящих в них, раздавались новые выкрики.

Вниз по течению медленно плыла покрытая тентом лодка, которой управляли четыре женщины. На веслах сидела маленькая, худая, поблекшая, одетая юнгой; волосы ее были зачесаны под клеенчатую матросскую шляпу. Напротив нее находилась белобрысая толстуха, одетая мужчиной, в белом фланелевом пиджаке; разлегшись на дне лодки, задрав ноги и положив их на скамью по бокам той, которая гребла, она курила папиросу, и при каждом взмахе весел ее груди

и живот колыхались, встряхиваемые толчком лодки. На корме под тентом сидели, обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки, блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц.

По Лягушатне пронесся крик:

— А вот и Лесбос!

Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка; стаканы летели на пол, люди влезали на столы, все, обезумев от шума, орали:

— Лесбос! Лесбос! Лесбос!

Крик раскатывался по всему кафе, становился нечленораздельным, превращался в какое-то ужасающее завывание и внезапно, как бы с новым порывом, подымался ввысь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев, разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу.

Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толстуха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнявшись на локте, а обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой.

Вопли удвоились, от них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподымали шляпы,

женщины махали платками, и все эти голоса, визгливые или густые, кричали:

— Лесбос! Лесбос!

Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя; так эскадра салютует пушечными выстрелами проплывающему мимо ее фронта адмиральскому кораблю.

Многочисленная флотилия лодок, в свою очередь, встретила громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже.

В противоположность другим г-н Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбужденная, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядела на него с бешенством в глазах. А он, казалось, выходил из себя: им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимо-бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал:

— Какой позор! Утопить бы их, как сук, с камнем на шее.

Но Мадлена вспылила; ее крикливый голосок стал свистящим, и она затараторила, словно говоря в собственную защиту:

— А тебе-то что? Разве они не вольны делать,

что им хочется, если это никого не касается? Убирайся к черту со своей моралью, не суйся куда не просят…

Он перебил ее:

— Это дело полиции, и я добьюсь, что их упрячут в Сен-Лазар!

Она подскочила:

— Ты?

— Да, я! А пока я запрещаю тебе с ними разговаривать, слышишь? Запрещаю!

Она пожала плечами и, внезапно успокоившись, заявила:

— Вот что, мой милый, я буду делать что захочу; а если тебе не нравится, можешь убираться на все четыре стороны, хоть сейчас. Я тебе не жена ведь? Ну так и помалкивай.

Он не ответил; они сидели друг против друга, стиснув зубы и порывисто дыша.

На противоположном конце обширного помоста кафе торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетые мужчинами; одна худая, похожая на мальчугана со старообразным лицом, с желтыми тенями на висках; другую распирало от жира в ее белом фланелевом костюме, и, выпятив круп в широких брюках, с огромными ляжками и вогнутыми

внутрь коленками, она раскачивалась, как откормленная гусыня. За ними следовали две их подруги; толпа лодочников подходила пожать им руки.

Они вчетвером нанимали небольшую дачку на берегу реки и жили там как две семьи.

Их разврат был на виду у всех, как бы официально признан, всем очевиден. О нем говорили как о чем-то естественном и даже возбуждавшем симпатию к ним; при этом шушукались о странных историях, о драмах, порожденных свирепой женской ревностью, и о тайных посещениях их дачки женщинами, пользующимися известностью, актрисами.

Возмущенный этими скандальными слухами, один из соседей сообщил о них жандармскому управлению, и бригадир в сопровождении солдата явился для производства дознания. Задача была щекотливая: ничего ведь, собственно, нельзя было поставить в вину этим женщинам, проституцией они не занимались. Бригадир оказался в крайне затруднительном положении, тем более что даже приблизительно не был знаком с природой подозреваемого преступления; он произвел допрос более или менее наугад и написал пространный рапорт с заключением о

невиновности обвиняемых.

Над этим рапортом смеялись вплоть до самого Сен-Жерменского предместья.

Они шли по Лягушатне медленным шагом, словно королевы, и, казалось, гордились своей известностью, радовались устремленным на них взглядам, сознавали свое превосходство над этой толпой, над этой чернью, над этим плебсом.

Мадлена и ее любовник следили за их приближением, и в ее глазах зажегся огонек.

Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула:

— Полина!

Толстуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола.

— Каково! Мадлена... Подойди, поговорим, дорогая.

Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала:

— Знаешь что, милый, можешь проваливать на все четыре стороны.

Тон ее был таков, что он промолчал и остался один.

Три женщины, остановившись, заговорили вполголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах, они оживленно болтали, и Полина время

от времени исподтишка поглядывала на Поля с насмешливой и злой улыбкой.

Под конец он не выдержал; порывисто поднявшись, он подбежал к ним и, дрожа всем телом, схватил Мадлену за плечи.

— Идем, я требую, — сказал он, — я запретил тебе разговаривать с этими шлюхами.

Но Полина возвысила голос и стала ругаться, пустив в ход весь словарь базарной торговки. Кругом них смеялись, подходили поближе, подымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Он стоял, онемев под этим градом зловонной брани; ему казалось, что слова, вылетавшие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как нечистоты; желая избегнуть надвигавшегося скандала, он отошел назад, на прежнее место, и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиною к трем женщинам-победительницам.

Там он и остался, глядя на реку и смахивая порою поспешным движением пальца, словно срывая, слезу, набегавшую ему на глаза.

Дело в том, что он полюбил безумною любовью, сам не зная почему, вопреки своему тонкому вкусу, вопреки своему разуму, вопреки даже собственной воле. Он упал в пропасть этой любви, как падают в яму, полную жидкой грязи.

Нежный и утонченный от природы, он мечтал о связи изысканной, идеальной и страстной, а его захватила, пленила, овладела им целиком с ног до головы, душою его и телом, эта женщина-стрекоза, глупая, как все девки, глупая выводящей из терпения глупостью, некрасивая, худая и сварливая. Он подчинился этим женским чарам, загадочным и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки, хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства.

Он чувствовал, что там, за его спиной, готовится какая-то гадость. Долетавший смех терзал ему сердце. Что ему делать? Он прекрасно знал это, но сделать этого не мог.

Он пристально глядел на противоположный берег, где какой-то человек неподвижно сидел у своих удочек.

Вдруг резким движением рыболов вытащил из реки серебряную рыбку, извивавшуюся на конце лесы. Пытаясь высвободить крючок, он выворачивал его, но напрасно; тогда он дернул в нетерпении и вырвал всю окровавленную

глотку рыбы вместе с внутренностями. Поль содрогнулся, как будто растерзали его самого; ему представилось, что крючок — это его любовь, что если придется ее вырывать, то все из его груди точно так же будет выдернуто глубоко впившимся в него загнутым кусочком железа, и что лесу держит Мадлена.

Чья-то рука легла ему на плечо; он вздрогнул и обернулся: рядом с ним стояла его любовница. Она тоже облокотилась о перила и молча стала глядеть на реку.

Он думал о том, что ему следовало бы сказать ей, и ничего не мог придумать. Он не мог даже разобраться в своих переживаниях; он сознавал только радость от ее близости, от ее возвращения и позорное малодушное чувство, желание все простить, все дозволить, лишь бы она его не покидала.

Спустя несколько минут он спросил ее вкрадчивым, мягким голосом:

— Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше.

Она отвечала:

— Да, котик.

Он помог ей спуститься в ялик, поддерживая ее, пожимая ей руки, растроганный до глубины ду-

ши и все еще со слезами на глазах. Она с улыбкой взглянула на него, и они поцеловались снова.

Они медленно поплыли вверх по реке вдоль берега, обсаженного ивами, поросшего травой, погруженного в теплую тишину послеполуденной поры.

Когда они вернулись к ресторану Грийона, было около шести часов. Оставив свой ялик, они отправились пешком, по направлению к Безонсу, по лугам, вдоль ряда высоких тополей, окаймляющих берег реки.

Густая трава, готовая к косовице, пестрела цветами. Солнце, клонившееся к закату, разостлало поверх нее скатерть рыжеватого света; в смягченной жаре угасавшего дня реющие благоухания трав смешивались с влажным запахом реки, насыщали воздух нежной истомой, легкой радостью, какою-то дымкой блаженства.

Мягкая полудрема овладевала сердцами, которые как бы приобщались к этому тихому сиянию вечера, этому смутному и таинственному трепету разлитой вокруг жизни, этой меланхолической поэзии, проникающей все, точно излучаемой растениями и всем окружающим, расцветающей и открывающейся восприятию людей в этот час тихого раздумья.

Он чувствовал все это, но она этого не понимала. Они шли рядом, и вдруг, словно устав от молчания, она завела пронзительным и фальшивым голоском какую-то уличную песенку, затасканный мотив, резко нарушивший глубокую и ясную гармонию вечера.

Он взглянул на нее и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена сбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги; она все пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады, дерзая запускать трели.

Так, значит, ее маленький, узкий лобик, столь им любимый, был пуст, совершенно пуст! Значит, за ним не было ничего, кроме этой шарманочной музыки, а мысли, которые там случайно складывались, были подобны этой музыке! Она ничего в нем не понимала; они были более отдалены друг от друга, чем если бы жили врозь. Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже ее губ?

Но тут она подняла на него глаза и еще раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей, и, раскрыв объятия, он страстно обнял ее с новым приливом любви.

Так как он мял ей платье, она высвободилась наконец, промолвив в утешение:

— Право же, я очень тебя люблю, котик!

Но он обнял ее за талию и, обезумев, увлек ее бегом за собою; он осыпал поцелуями ее щеки, висок, шею, прыгая от радости. Запыхавшись, они упали под кустом, пылавшим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух, хотя она не могла понять причину его возбуждения.

Они возвращались, держась за руки, как вдруг сквозь деревья увидали на реке лодку с четырьмя женщинами. Толстая Полина тоже заметила их и привстала, посылая воздушные поцелуи Мадлене.

— До вечера! — крикнула она.

Мадлена тоже ответила:

— До вечера!

Полю показалось, что сердце его вдруг оледенело.

Они вернулись пообедать.

Они поместились в беседке на берегу реки и молча принялись за еду. Когда стемнело, им принесли свечу в стеклянном шаре, освещавшую их слабым мерцающим светом; из большой залы второго этажа то и дело долетали крики гребцов.

Когда подали десерт, Поль, нежно взяв руку Мадлены, сказал ей:

— Я очень устал, голубка; если ты не против, мы ляжем пораньше.

Но она поняла его хитрость и взглянула на него с тем загадочным, коварным выражением, которое так внезапно появляется в глубине женских глаз. Затем, помолчав, ответила:

— Ложись, если хочешь, а я обещала пойти на бал в Лягушатню.

На его лице появилась жалкая улыбка, одна из тех улыбок, которыми скрывают самые ужасные страдания, и он сказал ласково и опечаленно:

— Будь так добра, останемся вместе.

Она отрицательно покачала головой, не открывая рта.

— Прошу тебя, моя козочка, — настаивал он.

Она резко оборвала его:

— Ты помнишь, что я сказала. Если недоволен — скатертью дорога. Никто тебя не удерживает. А я обещала — и пойду.

Он положил локти на стол, подпер голову руками и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам.

Гребцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих яликах, направляясь на бал в Лягушатню.

Мадлена сказала Полю:

— Если ты не едешь, — решай скорей; я попрошу одного из этих господ отвезти меня.

Поль встал.

— Едем! — промолвил он.

И они отправились в путь.

Ночь была темная, полная звезд; в воздухе веяло жаркое дыхание, тяжкое дуновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собою ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам теплою лаской, заставляя учащенней дышать, даже задыхаться — до того оно было густым и тяжелым.

Ялики пускались в путь, прикрепив на носу венецианские фонари. Самих лодок нельзя было различить; виднелись только эти маленькие разноцветные огоньки, проворные и пляшущие, похожие на обезумевших светляков; в темноте со всех сторон раздавались перекликавшиеся голоса.

Ялик молодой четы медленно скользил по воде.

Порою, когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озаренную светом его фонаря.

Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении Лягушатню. Заведение было по-празд-

ничному украшено жирандолями, гирляндами цветных плошек, гроздьями огней. По Сене медленно плыло несколько больших плотов, изображавших купола, пирамиды, сложные сооружения из разноцветных огней. Фестоны пламени тянулись до самой воды; красный или синий фонарь, водруженный там и сям на конце невидимого длинного удилища, казался огромной колеблющейся звездой.

Вся эта иллюминация распространяла сияние вокруг кафе и освещала снизу доверху высокие деревья, растущие по берегу; на густо-черном фоне полей и неба их стволы выделялись светло-серым, а листья зеленовато-молочным тоном.

Оркестр, состоящий из пяти музыкантов предместья, рассылал вдаль звуки жидкой трактирной танцевальной музыки, которая снова побудила Мадлену запеть.

Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва погулять по острову, но ему пришлось уступить.

Публика несколько отсеялась. Оставались почти одни только гребцы да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. Распорядитель и хозяин этого притона был полон величия в своем помятом фраке; потрепанная

физиономия этого старого торговца дешевыми развлечениями мелькала повсюду.

Ни толстой Полины, ни ее спутниц не было, и Поль вздохнул с облегчением.

Танцы начались: парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави.

Самки с развинченными бедрами скакали, задирая юбки и показывая нижнее белье. Их ноги с непостижимой легкостью подымались выше голов; они раскачивали животами, дрыгали задом, трясли грудями, распространяя вокруг себя едкий запах вспотевших женщин.

Самцы приседали к земле, как жабы, с непристойными жестами, извивались, отвратительно гримасничая, ходили колесом на руках или же, пытаясь вызвать смех, кривлялись и пародировали грациозные позы.

Толстая служанка и два гарсона разносили напитки.

В этом плавучем кафе, покрытом только крышей, не было ни одной стены, которая отделяла бы его от внешнего мира, и эта разнузданная пляска развертывалась перед лицом мирной ночи и усыпанного звездами неба.

Внезапно Мон-Валерьен напротив осветился,

словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливей, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного, белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное, подобное раскаленному металлу на наковальне. Словно вылезая из земли, оно стало медленно отливаться в шар, и вскоре, отделившись от горизонта, тихо поднялась в пространство луна. По мере того как она восходила, ее пурпуровый оттенок бледнел, переходил в яркий светло-желтый цвет, а самое светило уменьшалось.

Поль давно уже глядел на него, поглощенный этим зрелищем, позабыв о любовнице. Когда он оглянулся, она исчезла.

Он стал искать ее, но не мог найти. Он оглядывал тревожным взглядом столики, бродя между ними, расспрашивая то того, то другого. Никто ее не видел.

Так он блуждал, терзаемый тревогой, пока один из гарсонов не сказал ему:

— Вы ищете госпожу Мадлену? Она только что вышла вместе с госпожой Полиной.

И в то же мгновение Поль увидел на противоположном конце кафе юнгу и двух красивых девушек; обнявшись все трое, они следили за ним

и перешептывались.

Он все понял и, как безумный, бросился на остров.

Сначала он побежал по направлению к Шату; но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чащу, растерянно рыская повсюду и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться.

Жабы оглашали простор своими короткими металлическими нотами. Со стороны Буживаля, смягченное расстоянием, доносилось пение какой-то неведомой птицы. Луна изливала на широкие лужайки мягкое сияние, словно ватную дымку. Проникая сквозь листву, лунный свет струился по серебристой коре тополей, обдавал сверкающими брызгами трепещущие вершины высоких деревьев. Опьяняющая поэзия летнего вечера овладевала Полем против его воли, вплеталась в его безумную тревогу, с жестокой иронией томила ему сердце; в его мягкой созерцательной душе она доводила до бешенства жажду идеальной любви и страстных излияний на груди обожаемой, верной женщины.

Задыхаясь от судорожных, разрывающих сердце слез, он был вынужден остановиться.

Когда этот приступ миновал, он пошел даль-

ше.

И вдруг его словно ударили ножом в грудь: там, позади куста, кто-то целовался. Он бросился туда; это была парочка влюбленных, силуэты которых поспешно удалились при его появлении, обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе.

Он не решался позвать, зная наперед, что Мадлена не ответит, и в то же время он боялся на них натолкнуться.

Ритурнели кадрили с раздирающим уши соло на корнете, фальшивый визг флейты, пронзительные неистовства скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешеная нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолетным порывом ветра.

Внезапно ему пришла мысль: а вдруг она возвратилась? Ну да! Конечно, она вернулась! Почему бы нет? Он беспричинно, самым глупым образом потерял голову, поддавшись своим страхам, власти нелепых подозрений.

И под влиянием той странной успокоенности, которая порою прерывает припадки величайшего отчаяния, он вернулся на бал.

Быстрым взглядом он окинул залу. Ее там не было. Он обошел столики и неожиданно столкнулся лицом к лицу с тремя женщинами. Очевидно, у

него была отчаянная и смешная физиономия, так как они, все трое, разразились хохотом.

Он бросился бежать, снова попал на остров и, задыхаясь, ринулся сквозь заросли кустов и деревьев. Затем он стал прислушиваться и слушал долго, так как в ушах у него звенело; но вот наконец ему показалось, что он слышит в некотором отдалении хорошо знакомый ему пронзительный смешок, и он стал потихоньку, крадучись, пробираться, осторожно раздвигая ветви; сердце билось так сильно, что он едва дышал.

Два голоса шептали слова, разобрать которые он еще не мог. Затем они умолкли.

Его охватило сильнейшее желание ничего больше не видеть, не знать, навсегда бежать прочь от этой яростной, терзавшей его страсти. Он готов был вернуться в Шату, сесть на поезд и больше не возвращаться, никогда больше не видеть Мадлену. Но вдруг ее образ овладел им: он мысленно представил себе, как она просыпается утром в их теплой постели, как она, ласкаясь, обнимая его, прижимается к нему, — и волосы ее распущены, спутались на лбу, глаза еще смежены, а губы раскрыты для первого поцелуя; внезапное воспоминание об этой утренней ласке охватило его безумным сожалением и диким

желанием.

Заговорили снова; он приблизился, пригнувшись к земле. Затем под ветвями, совсем рядом с ним, пронесся легкий вскрик. Вскрик! Одно из тех восклицаний любви, которые он так хорошо знал в часы их любовных безумств. Он продолжал пробираться вперед, как бы против своей воли, неудержимо притягиваемый, сам не сознавая, что он делает… И он увидел их.

О! Если бы с нею был мужчина, другой мужчина! Но это! Это! Он чувствовал, что самая их гнусность связывает ему руки. И он стоял, уничтоженный, потрясенный, словно открыл вдруг дорогой ему и обезображенный труп, противоестественное преступление, чудовищную, омерзительную профанацию.

В его мыслях невольно промелькнуло воспоминание о маленькой рыбке и о том, что он почувствовал, когда у нее выдирали внутренности… Но тут Мадлена прошептала: «Полина!» — тем самым страстным тоном, каким она, бывало, говорила: «Поль!» Сердце его сжалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать.

Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то корень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки, у быстрого ее протока,

озаренного луною. Бурное течение образовывало ряд больших водоворотов, где играл лунный свет. Высокий берег обрывом навис над водою, отбрасывая у своего подножия широкую, темную полосу тени, где слышались всплески воды.

На другом берегу в ярком освещении громоздились дачные постройки Круасси.

Поль увидел все это, как во сне, как сквозь дымку воспоминания; он ни о чем не думал, ничего не понимал, и все решительно, даже самое его существование, представлялось ему смутным, далеким, забытым, конченым.

Перед ним была река. Понимал ли он то, что делал? Хотел ли умереть? Он был как помешанный. Но все же он повернулся лицом к острову, к Ней, и в тишине ночного воздуха, где все еще упорно раздавались заглушенные плясовые мотивы трактира, он испустил отчаянным, нечеловеческим голосом страшный вопль:

— Мадлена!

Его раздирающий призыв пронесся по беспредельному безмолвию неба, раскатился по всей местности.

Затем страшным прыжком, прыжком зверя, он бросился в реку. Вода брызнула, расступившись, снова сомкнулась, и на том месте, где он исчез,

появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света.

Обе женщины услыхали этот крик. Мадлена вскочила.

— Это Поль!

В душе ее зародилось подозрение.

— Он утопился, — сказала она.

И она бросилась к реке, где ее догнала толстая Полина.

Тяжелая лодка, в которой сидели два человека, кружилась на одном и том же месте. Один из лодочников греб, другой погружал в воду длинный багор и, казалось, что-то искал. Полина окликнула его:

— Что вы делаете? Что случилось?

Незнакомый голос отвечал:

— Только что утонул какой-то человек.

Обе женщины прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка Лягушатни все еще буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движениям мрачных рыболовов; река, скрывавшая теперь в своих глубинах труп человека, струилась в лунном блеске.

Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало Мадлену в дрожь. Наконец, по прошествии

по меньшей мере получаса, один из лодочников сказал:

— Я его зацепил!

И он медленно-медленно стал вытягивать длинный багор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил весла, и оба они общими силами, подтягивая безжизненную массу, перекинули ее через борт внутрь лодки.

Затем они направились к берегу, отыскивая освещенное и пологое место. В тот момент, когда они пристали, подошли и женщины.

Увидев Поля, Мадлена в ужасе отшатнулась. При свете месяца он казался уже позеленевшим; рот, нос, глаза, одежда — все было полно ила. Сжатые и окоченевшие пальцы были отвратительны. Все тело было покрыто чем-то вроде жидкой черноватой слизи. Лицо словно опухло, с волос, залепленных илом, стекала грязная вода.

Мужчины рассматривали труп.

— Ты его знаешь? — спросил один.

Другой, паромщик из Круасси, колебался:

— Сдается мне, я где-то видел это лицо; только в таком виде сразу не разберешь.

Затем он вдруг воскликнул:

— Да это господин Поль!

— Кто такой господин Поль? — спросил его товарищ.

Первый заговорил снова:

— Господин Поль Барон, сын сенатора, тот молодчик, который так был влюблен.

Другой добавил философским тоном:

— Ну, теперь конец его веселью; а жалко все же, особенно когда человек богат!

Мадлена рыдала, упав на землю. Полина подошла к телу и спросила:

— А он наверно умер? Окончательно?

Лодочники пожали плечами.

— Еще бы! Столько времени прошло!

Потом один из них спросил:

— Ведь он жил у Грийона?

— Да, — отвечал другой, — надо отвезти его туда, нам заплатят.

Они снова вошли в лодку и отчалили, медленно удаляясь: течение было слишком быстрое. Вскоре женщины уже не могли их видеть с того места, где стояли, но им долго еще были слышны равномерные удары весел по воде.

Полина обняла бедную, заплаканную Мадлену, лаская ее, целуя и утешая:

— Ну, что же делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать

глупости? Он сам этого захотел. Тем хуже для него, в конце концов!

И она подняла Мадлену с земли.

— Пойдем, дорогая, пойдем ночевать к нам, на дачу: тебе нельзя возвращаться к Грийону сегодня вечером.

Она поцеловала ее снова.

— Вот увидишь, мы тебя вылечим, — сказала она.

Мадлена встала и, все еще плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в более интимное и надежное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.

Маррока

Друг мой, ты просил сообщать тебе о моих впечатлениях, о случающихся со мною происшествиях и, главное, о моих любовных историях в этой африканской стране, так давно меня привлекавшей. Ты заранее от души смеялся над моими будущими, по твоему выражению, черными утехами, и тебе уже представлялось, как я возвращаюсь домой в сопровождении громадной черной женщины, одетой в яркие ткани и с желтым фуляром на голове.

Конечно, очередь негритянок еще придет: я уже видел нескольких, и они внушали мне желание окунуться в эти чернила. Но для начала я напал на нечто лучшее и исключительно своеобразное.

Ты писал в последнем письме: «Если я знаю, как в данной стране любят, я сумею описать эту страну, хотя никогда ее и не видел». Знай же, что здесь любят неистово. Начиная с первых дней чувствуешь какой-то огненный трепет, какой-то подъем, внезапное напряжение желаний, какую-то истому, целиком охватывающую тело; и все это до крайности возбуждает наши

любовные силы и все способности физических ощущений — от простого соприкосновения рук до той невыразимо властной потребности, которая заставляет нас совершать столько глупостей.

Разберемся в этом как следует. Не знаю, может ли существовать под этим небом то, что вы называете слиянием сердец, слиянием душ, сентиментальным идеализмом, наконец платонизмом, я в этом сомневаюсь. Но другая любовь, любовь чувственная, имеющая в себе нечто хорошее, и немало хорошего, в этом климате поистине страшна. Жара, это постоянно разжигающее вас пылание воздуха, эти удушливые порывы южного ветра, эти потоки огня, льющиеся из великой пустыни, которая так близка, этот тяжелый сирокко, более опустошительный, более иссушающий, чем пламя, этот вечный пожар всего материка, сожженного до самых камней огромным, всепожирающим солнцем, воспламеняют кровь, приводят в бешенство плоть, превращают человека в зверя.

Но подхожу к моей истории. Ничего не рассказываю тебе о первых днях моего пребывания в Алжире. Побывав в Боне, Константине, Бискре и Сетифе, я приехал в Буджию через ущелья Шабе и по несравненной дороге через кабильские леса;

дорога эта вьется над морем по извилинам гористого склона, на высоте двухсот метров, вплоть до восхитительного залива Буджии, столь же прекрасного, как Неаполитанский залив, как заливы Аяччо и Дуарнене, красивейшие из всех, мною виденных. Я исключаю из этого сравнения лишь невероятный залив Порто на западном берегу Корсики, опоясанный красным гранитом, с возвышающимися посреди него фантастическими окровавленными каменными великанами, именуемыми «Каланш де Пиана».

Не успеешь обогнуть огромный залив с его мирно спящей водой, как уже издалека, еще очень издалека, замечаешь Буджию. Город построен на крутых склонах высокой, увенчанной лесом горы. Это — белое пятно на зеленом склоне, похожее, пожалуй, на пену свергающегося в море водопада.

Едва я вступил в этот маленький очаровательный городок, как понял, что останусь в нем надолго. Со всех сторон взор ограничен громадным кругом крючковатых, зубчатых, рогатых, причудливых вершин, замкнутых так тесно, что едва видно открытое море, и залив становится похожим на озеро. Голубая вода с молочным отливом восхитительно прозрачна, а лазурное

небо, такой густой лазури, словно покрытое двойным слоем краски, простирает над нею свою изумительную красоту. Они словно любуются друг другом, взаимно отражая свои отсветы.

Буджия — город развалин. На пристани, подъезжая к нему, встречаешь такую великолепную руину, что ее можно принять за оперную декорацию. Это древние сарацинские ворота, сплошь заросшие плющом. И в прилегающих горных лесах повсюду тоже развалины — части римских стен, обломки сарацинских памятников, остатки арабских построек.

Я снял в верхнем городе маленький мавританский домик. Ты знаешь эти жилища, их описывали так часто. Окон наружу у них нет, и они освещаются сверху донизу внутренним двором. Во втором этаже помещается большая прохладная зала, в которой проводят время днем, а наверху — терраса, где проводят ночи.

Я тотчас же усвоил привычки жарких стран, то есть стал делать после завтрака сиесту. Это удушливо-знойный час в Африке, час, когда нечем дышать, когда улицы, долины и бесконечные, ослепительные дороги пустынны, когда все спят или, по крайней мере, пытаются спать, оставляя на себе как можно меньше одежды.

В моей зале с колоннами арабской архитектуры я поставил большой мягкий диван, покрытый ковром из Джебель-Амура. Я ложился на него приблизительно в костюме Гасана, но не мог отдыхать, так как был измучен своим воздержанием.

О друг мой, в этой стране есть две казни, которых не желаю тебе узнать: отсутствие воды и отсутствие женщин. Какая ужаснее? Не знаю. В пустыне можно пойти на всякую подлость из-за стакана чистой холодной воды. А чего только не сделаешь в ином прибрежном городе ради красивой, здоровой девушки? В Африке нет недостатка в девушках! Напротив, они там в изобилии; но, если продолжить сравнение, они так же вредоносны и гнилостны, как илистая вода источников Сахары.

И вот однажды, более обычного истомленный, я пытался задремать, но тщетно. Ноги мои дрожали, словно их кололо изнутри; беспокойная тоска заставляла меня то и дело вертеться с боку на бок по коврам. Наконец, не в силах выносить долее, я встал и вышел.

Это было в июле, в палящий послеполуденный час. Мостовые были так раскалены, что на них можно было печь хлеб; рубашка, моментально

взмокавшая, прилипала к телу; весь горизонт был затянут легким белым паром, тем горячим дыханием сирокко, которое подобно осязаемому зною.

Я спустился к морю и, огибая порт, пошел по берегу, вдоль небольшой бухты, где выстроены купальни. Крутые горы, поросшие кустарником и высокими ароматными травами с крепким запахом, кольцеобразно окружают бухту, где вдоль всего берега мокнут в воде большие темные скалы.

Кругом никого; все замерло; ни крика животных, ни шума крыльев птицы, ни малейшего звука, ни даже всплеска воды — так неподвижно было море, казалось, оцепеневшее под солнцем. И мне чудилось, что в раскаленном воздухе я улавливаю гудение огня.

Внезапно за одной из этих скал, до половины тонувших в молчаливом море, я услыхал легкий шорох и, обернувшись, увидел, по грудь в воде, высокую голую девушку; она купалась и в этот знойный час, конечно, считала себя в полном одиночестве. Лицо ее было обращено к морю, и она тихо подпрыгивала, не замечая меня.

Ничего не могло быть удивительнее зрелища этой красивой женщины в прозрачной, как стек-

ло, воде, под ослепительными лучами солнца. Она была необыкновенно хороша, эта женщина, высокая и сложенная, как статуя.

Вдруг она обернулась, вскрикнула и, то вплавь, то шагая, мгновенно скрылась за скалою.

Она должна выйти оттуда, поэтому я сел на берегу и стал ее ожидать. И вот она осторожно высунула из-за скалы голову с массою тяжелых черных волос, кое-как закрученных узлом. У нее был большой рот с вывороченными, как валики, губами, громадные бесстыдные глаза, а все ее тело, слегка потемневшее от здешнего климата, казалось выточенным из старинной слоновой кости, упругим и нежным, телом белой расы, опаленным солнцем негров.

Она крикнула мне:

— Проходите!

В ее звучном голосе, немного грубоватом, как вся ее особа, слышались гортанные ноты. Я не шевелился.

Она прибавила:

— Нехорошо оставаться здесь, сударь.

Звук «р» в ее устах перекатывался, как грохочущая телега. Тем не менее я не двигался. Голова исчезла.

Прошло десять минут, и сначала волосы, затем

лоб, затем глаза показались вновь, медленно и осторожно: так делают дети, играющие в прятки, желая взглянуть на того, кто их ищет.

Но на этот раз у нее было гневное выражение, и она крикнула:

— Из-за вас я захвораю! Я не выйду, пока вы будете там сидеть!

Тогда я поднялся и ушел, неоднократно оглядываясь.

Убедившись, что я достаточно далеко, она вылезла из воды, полусогнувшись, держась ко мне боком и исчезла в углублении скалы, за повешенной юбкой.

На другой день я вернулся. Она снова была в воде, но на этот раз в полном купальном костюме. Она засмеялась, показывая мне свои сверкающие зубы.

Неделю спустя мы были друзьями. А еще через неделю наша дружба стала еще теснее.

Ее звали Маррока; наверно, это было какое-нибудь прозвище, и она произносила его, точно в нем было пятнадцать «р». Дочь испанских колонистов, она вышла замуж за некоего француза по фамилии Понтабез. Ее муж был чиновником на государственной службе. Я так никогда и не узнал хорошенько, какую именно должность он

занимал. Я убедился в том, что он очень занятой человек, и далее не расспрашивал.

Переменив час своего купания, она стала ежедневно приходить после моего завтрака — совершать сиесту в моем доме. И что это была за сиеста! Если бы только так отдыхали!

Она действительно была очаровательной женщиной, немного животного типа, но все же великолепной. Ее глаза, казалось, всегда блестели страстью; полураскрытый рот, острые зубы, самая улыбка ее таили в себе нечто дико-чувственное, а странные груди, удлиненные и прямые, острые, как груши, упругие, словно на стальных пружинах, придавали телу нечто животное, превращали ее в какое-то низшее и великолепное существо, предназначенное для распутства, и пробуждали во мне мысль о тех непристойных божествах древности, которые открыто расточали свободные ласки на траве под листвой.

Никогда еще ни одна женщина не носила в своих чреслах такого неутолимого желания. Ее страстные ласки и объятия, сопровождавшиеся воплями, скрежетом зубов, судорогами и укусами, почти тотчас же завершались сном, глубоким, как смерть. Но она внезапно пробуждалась в моих руках и опять готова была к любви, и грудь

ее взбухала в жажде поцелуев.

Ум ее к тому же был прост, как дважды два четыре, а звонкий смех заменял ей мысль.

Инстинктивно гордясь своею красотою, она питала отвращение даже к самым легким покровам и расхаживала, бегала и прыгала по моему дому с бессознательным и смелым бесстыдством. Пресытясь наконец любовью, измученная воплями и движениями, она засыпала крепким и мирным сном возле меня на диване; от удушливой жары на ее потемневшей коже проступали крошечные капельки пота, а ее руки, закинутые под голову, и все сокровенные складки ее тела выделяли тот звериный запах, который так привлекает самцов.

Иной раз она приходила вечером, когда муж ее был где-то на работе. И мы располагались на террасе, чуть прикрываясь легкими и развевающимися восточными тканями.

Когда в полнолуние громадная яркая луна тропических стран стояла на небе, освещая город и залив с его полукругом гор, мы видели вокруг себя, на всех других террасах, как бы целую армию распластавшихся безмолвных призраков, которые иногда вставали, переменяли место и укладывались снова в томной теплоте отдыха-

ющего неба.

Невзирая на ясность африканских вечеров, Маррока упорно ложилась спать голою под яркими лучами луны; она нисколько не беспокоилась о всех тех людях, которые могли нас видеть, и часто, презирая мои мольбы и опасения, испускала среди ночного мрака протяжные трепетные крики, в ответ на которые вдали раздавался вой собак.

Однажды вечером, когда я дремал под необъятным небосводом, сплошь усыпанным звездами, она стала на колени возле меня на ковре и, приблизив к моему рту свои большие вывороченные губы, сказала:

— Ты должен прийти ночевать ко мне.

Я не понял.

— Как это — к тебе?

— Ну да. Когда муж уйдет, ты придешь спать на его место.

Я не мог удержаться и расхохотался.

— К чему это, раз ты приходишь сюда?

Она продолжала, говоря мне прямо в рот, обжигая меня своим горячим дыханием до самого горла и увлажняя мои усы:

— Чтобы у меня сохранилась память о тебе.

И «р» слова «сохранилась» еще долго с шумом

потока звучало в скалах.

Я никак не мог постичь ее мысль. Она обвила руками мою шею.

— Когда тебе вскоре придется уехать, — сказала она, — я не раз буду думать об этом. И, прильнув к мужу, буду представлять, что это ты.

Все «ррре», «ррри», «ррра» казались в ее устах раскатами близкой грозы.

Тронутый, да и развеселившись, я прошептал:

— Но ты сумасшедшая. Я предпочитаю ночевать дома.

У меня действительно нет ни малейшей склонности к свиданиям под супружеской кровлей, — это мышеловка, в которую постоянно попадаются дураки. Но она просила, умоляла и даже плакала, прибавляя:

— Ты посмотрррришь, как я буду тебя любить.

«Посмотрррришь» прозвучало наподобие грохота барабана, бьющего тревогу.

Ее желание показалось мне таким странным, что я не мог его ничем объяснить; затем, поразмыслив, я решил, что здесь примешалась какая-то глубокая ненависть к мужу, одно из тех тайных возмездий женщины, которая с наслаждением обманывает ненавистного человека и хочет вдобавок насмеяться над ним в его собственном

доме, среди его обстановки, в его постели.

Я спросил ее:

— Твой муж дурно обращается с тобой?

Она рассердилась.

— О нет, он очень добр.

— Но ты его не любишь?

Она вскинула на меня громадные изумленные глаза.

— Нет, напротив, я его очень люблю, очень, очень, но не так, как тебя, мое серррдце.

Я совсем уже ничего не понимал, и пока старался что-либо угадать, она запечатлела на моих губах один из тех поцелуев, силу которых отлично знала, прошептав затем:

— Ты прррридешь, не прррравда ли?

Однако я не соглашался. Тогда она немедля оделась и ушла.

Восемь дней она не показывалась. На девятый появилась и, с важностью остановившись на пороге моей комнаты, спросила:

— Прррридешь ли ты сегодня вечеррром ко мне спать? Если нет, я ухожу.

Восемь дней — это много, мой друг, а в Африке эти восемь дней стоят целого месяца. «Да!» — крикнул я, протянул к ней руки, и она бросилась в мои объятия.

Вечером она ждала меня на соседней улице и привела к себе.

Они жили близ пристани, в маленьком, низеньком домике. Я прошел сначала через кухню, где супруги обедали, и вошел в комнату, выбеленную известью, чистую, с фотографическими карточками родственников на стенах и с букетами бумажных цветов под стеклянными колпаками. Маррока казалась обезумевшей от радости; она прыгала, повторяя:

— Вот ты и у нас, вот ты и у себя.

Я действительно расположился как у себя. Признаюсь, я был немного смущен, даже неспокоен. Видя, что я не решаюсь в чужой квартире расстаться с некоторой принадлежностью моей одежды, без которой застигнутый врасплох мужчина становится столь же смешным, сколь и неловким, неспособным к какому бы то ни было действию, она вырвала у меня силой и унесла в соседнюю комнату вместе с ворохом остальной моей одежды и эти ножны моего мужества.

Наконец обычная уверенность вернулась ко мне, и я изо всех сил старался доказать это Марроке, так что спустя два часа мы еще и не помышляли об отдыхе, как вдруг громкие удары в дверь заставили нас вздрогнуть, и громовой

мужской голос прокричал:

— Маррока, это я!

Она вскочила.

— Мой муж! Живо, прячься под кровать!

Я растерянно искал свои штаны; но она, задыхаясь, толкала меня:

— Иди же, иди!

Я распластался на полу и скользнул, не говоря ни слова, под ту кровать, на которой мне было так хорошо.

Она прошла на кухню. Я слышал, как она отперла шкаф, заперла его, затем вернулась, принеся с собой какой-то предмет, которого я не видел, но который она живо куда-то сунула, и, так как муж терял терпение, она ответила ему громко и спокойно: «Не могу найти спичек», — а затем вдруг: «Нашла, отпираю!». И отперла дверь.

Мужчина вошел. Я видел только его ноги, огромные ноги. Если все остальное было пропорционально, он, должно быть, был великаном.

Я услыхал поцелуи, шлепок по голому телу, смех; затем он сказал с марсельским выговором:

— Я забыл дома кошелек, и пришлось воротиться. Я думал, что ты уже спишь крепким сном.

Он подошел к комоду и долго искал в нем то, что ему было нужно; затем, когда Маррока легла

на кровать, словно подкошенная усталостью, он подошел к ней и, без сомнения, попытался ее приласкать, так как она в раздраженной фразе выпалила в него картечью гневных «р».

Ноги его были так близко от меня, что мною овладело сумасбродное, глупое, необъяснимое искушение — тихонько дотронуться до них. Но я воздержался.

Потерпев неудачу в своих планах, он рассердился.

— Ты злющая сегодня, — сказал он.

Но примирился с этим:

— До свидания, крошка.

Снова раздался звонкий поцелуй; затем огромные ноги повернулись, блеснули передо мною крупными шляпками гвоздей, перешли в соседнюю комнату, и дверь на улицу захлопнулась.

Я был спасен. Смиренный, жалкий, я медленно вылез из своего убежища, и пока Маррока, по-прежнему голая, плясала вокруг меня джигу, раскатисто смеясь и хлопая в ладоши, я тяжело упал на стул. Но тотчас же так и подпрыгнул: подо мной оказалось что-то холодное, и так как я был одет не лучше моей сообщницы, то вздрогнул от этого прикосновения. Я обернулся. Что же? Я сел на небольшой топорик для колки дров, острый,

как нож. Как он попал сюда? Я не заметил его, когда входил.

Маррока, увидев мой прыжок, задохнулась от хохота; она вскрикивала, кашляла, схватившись обеими руками за живот.

Я находил эту веселость непристойной, неуместной. Мы глупо рисковали жизнью, у меня еще до сих пор бегали мурашки по спине, и ее безумный смех немного задевал меня.

— А что, если бы я попался на глаза твоему мужу? — спросил я.

— Опасаться было нечего, — отвечала она.

— Как опасаться было нечего! Уж очень ты смела! Стоило ему только нагнуться, и он бы увидел меня.

Она перестала смеяться; она только улыбалась, глядя на меня громадными неподвижными глазами, в которых зарождались новые желания.

— Он не нагнулся бы.

Я настаивал:

— Сколько угодно! Урони он свою шляпу, ему пришлось бы ее поднять, и тогда… хорош бы я был в этом костюме!

Она положила мне на плечи свои сильные округлые руки и, понижая голос, словно говоря мне: «Я обожаю тебя», — прошептала:

— Тогда он и не встал бы.

Я не понял.

— Почему же это?

Лукаво подмигнув, она протянула руку к стулу, на который я было сел, и ее вытянутый палец, складка у рта, полуоткрытые губы и острые зубы, блестящие и хищные, — все указывало мне на маленький, сверкавший лезвием топорик для колки дров.

Она сделала движение, словно собираясь его взять, затем, привлекая меня вплотную к себе левою рукой и прижавшись бедром к моему бедру, сделала правой рукой быстрое движение, как бы обезглавливая человека, стоявшего перед нею на коленях!..

Вот, мой дорогой, как понимают здесь супружеский долг, любовь и гостеприимство!

Полено

Гостиная была маленькая, сплошь затянутая темными обоями и чуть благоухавшая. Яркий огонь пылал в широком камине, а единственная лампа, стоявшая на углу каминной доски под абажуром из старинных кружев, озаряла мягким светом лица двух собеседников.

Она — хозяйка дома, седая старушка, одна из тех очаровательных старушек без единой морщины на лице, с атласной, как тонкая бумага, и душистой кожей, пропитанной эссенциями, тонкие ароматы которых благодаря постоянным омовениям въелись сквозь эпидерму в самую плоть; целуя руку такой старушки, чувствуешь легкое благоухание, точно кто-то открыл коробку с пудрой из флорентийского ириса.

Он — старый друг, оставшийся холостяком, еженедельный гость, добрый товарищ на жизненном пути. Но и только.

На минуту они замолчали, и оба глядели на огонь, о чем-то мечтая, отдаваясь той паузе дружеского молчания, когда людям вовсе не надо говорить, когда им и так хорошо друг подле

друга.

Внезапно обрушилась большущая головня, целый пень, ощетинившийся пылающими корнями. Перепрыгнув через решетку и вывалившись на пол гостиной, она покатилась по ковру, разбрасывая огненные искры.

Старушка вскочила с легким криком, словно собираясь бежать, но ее друг ударом сапога откинул обратно в камин огромное обуглившееся полено и затоптал угольки, рассыпавшиеся кругом.

Когда все было кончено и распространился сильный запах гари, мужчина снова сел против своей приятельницы и взглянул на нее, улыбаясь.

— Вот почему я так и не женился, — сказал он, указывая на водворенную в камин головню.

Она взглянула на него в удивлении — тем любопытствующим взглядом желающей все узнать немолодой женщины, в котором сквозит обдуманное, сложное и нередко коварное любопытство. И спросила:

— Как это?

Он отвечал:

— О, это целая история, довольно грустная и гадкая!

Мои старые товарищи не раз удивлялись охла-

ждению, наступившему вдруг между Жюльеном, одним из моих лучших друзей, и мною. Они не могли понять, каким образом два закадычных, неразлучных друга сразу сделались почти чужими. Так вот какова тайна нашего расхождения.

Он и я в былые времена жили вместе. Мы никогда не расставались, и нас связывала такая крепкая дружба, что, казалось, ничто не в силах было ее разорвать.

Однажды вечером, придя домой, он объявил мне, что женится.

Я получил удар прямо в сердце: он меня словно обокрал или предал. Когда один из друзей женится, то дружбе конец, навсегда конец. Ревнивая любовь женщины, подозрительная, беспокойная и плотская любовь, не терпит прямодушной, бодрой привязанности, той доверчивой привязанности и ума и сердца, какая существует между двумя мужчинами.

Видите ли, сударыня, какова бы ни была любовь, соединяющая мужчину и женщину, они умом и душою всегда чужды друг другу; они остаются воюющими сторонами; они принадлежат к разной породе; тут всегда нужно, чтобы был укротитель и укрощаемый, господин и раб; и так бывает то с одним, то с другим — они никогда

не могут быть равны. Они стискивают друг другу трепещущие страстью руки, но никогда не пожмут их широким, сильным и честным рукопожатием, которое словно открывает и обнажает сердца в порыве искренней, смелой и мужественной привязанности. Мудрым людям, вместо того чтобы вступить в брак и производить для утешения старости детей, которые их покинут, лучше было бы подыскать доброго, надежного друга и стариться вместе с ним в той общности умственных интересов, какая возможна только между двумя мужчинами.

Словом, друг мой Жюльен женился. Его жена была хорошенькая, очаровательная маленькая кудрявая блондинка, живая и пухленькая; казалось, она обожала его.

Сначала я ходил к ним редко, боясь помешать их нежностям, чувствуя себя среди них лишним. Но они старались завлечь меня к себе, беспрестанно звали меня и, по-видимому, любили.

Мало-помалу я поддался тихой прелести этой общей жизни, нередко обедал у них и нередко, возвратившись домой ночью, мечтал последовать примеру Жюльена — тоже найти себе жену, так как мой пустой дом казался мне теперь очень печальным.

Они, по-видимому, обожали друг друга и никогда не расставались. Однажды вечером Жюльен написал мне, прося прийти к обеду. Я отправился.

— Милый мой, — сказал он, — мне необходимо отлучиться по делу сейчас же после обеда. Я не вернусь раньше одиннадцати, но ровно в одиннадцать буду дома. Я рассчитываю, что ты посидишь с Бертой.

Молодая женщина улыбнулась.

— Это я придумала послать за вами, — сказала она.

Я пожал ей руку.

— Как вы милы!

И почувствовал, что она пожимает мне пальцы дружески и длительно. Но я не придал этому значения. Сели за стол, и ровно в восемь Жюльен нас покинул.

Как только он ушел, между его женой и мной сразу же возникло чувство какого-то странного стеснения. Мы никогда еще не оставались одни, и, несмотря на возраставшую с каждым днем близость, очутиться наедине было для нас совершенной новостью. Я заговорил сначала о чем-то неопределенном, о тех ничего не значащих пустяках, которыми обычно заполняют

минуты затруднительного молчания. Она не отвечала, сидя против меня у другого угла камина, с опущенной головой и блуждающим взглядом, вытянув к огню ногу и погрузившись, казалось, в раздумье. Когда банальные темы иссякли, я умолк. Удивительно, до чего иногда трудно бывает найти, о чем говорить. И затем я снова почувствовал в воздухе нечто неосязаемое и невыразимое, некое таинственное веяние, которое предупреждает нас о тайных умыслах, добрых или злых, питаемых к нам другими лицами.

Некоторое время тянулось это томительное молчание. Затем Берта сказала:

— Подбросьте в камин полено, мой друг, видите, он гаснет.

Я открыл ящик для дров — он стоял совершенно как у вас, — достал полено, самое толстое полено, и поставил его стоймя на другие поленья, почти уже сгоревшие.

Молчание возобновилось.

Через несколько минут полено запылало так сильно, что жар стал жечь нам лица. Молодая женщина взглянула на меня, и выражение ее глаз показалось мне каким-то особенным.

— Теперь здесь чересчур жарко, — сказала она, — перейдемте туда, на диван.

И вот мы сели на диван.

Вдруг, глядя мне прямо в глаза, она спросила:

— Что бы вы сделали, если бы женщина сказала вам, что она вас любит?

Совершенно опешив, я ответил:

— Право, это случай непредвиденный, а затем все зависело бы от того, какова эта женщина.

Она засмеялась сухим, нервным, дрожащим смехом, тем фальшивым смехом, от которого, кажется, должно разбиться тонкое стекло, и прибавила:

— Мужчины никогда не бывают ни смелыми, ни хитрыми.

Помолчав, она спросила снова:

— Вы когда-нибудь бывали влюблены, господин Поль?

Я признался, что бывал влюблен.

— Расскажите, как это было, — попросила она.

Я рассказал ей какую-то историю. Она слушала внимательно, то и дело выражая неодобрение и презрение, и вдруг сказала:

— Нет, вы ничего не понимаете в любви. Чтобы любовь была настоящей, она, по-моему, должна перевернуть сердце, мучительно скрутить нервы, опустошить мозг, она должна быть — как бы выразиться? — полна опасностей, даже ужасна,

почти преступна, почти святотатственна; она должна быть чем-то вроде предательства; я хочу сказать, что она должна попирать священные преграды, законы, братские узы; когда любовь покойна, лишена опасностей, законна, разве это настоящая любовь?

Я не знал, что отвечать, а про себя философски воскликнул: «О, женская душа, ты вся здесь!»

Говоря все это, она напустила на себя лицемерный вид равнодушной недотроги и, откинувшись на подушки, вытянулась и легла, положив мне на плечо голову, так что платье немного приподнялось, позволяя видеть красный шелковый чулок, вспыхивавший по временам в отблесках камина.

Немного погодя она сказала:

— Я вам внушаю страх?

Я протестовал. Она совсем оперлась о мою грудь и, не глядя на меня, произнесла:

— А если бы я вам сказала, что люблю вас, что бы вы тогда сделали?

И не успел я ответить, как ее руки охватили мою шею, притянули мою голову и губы ее прижались к моим губам.

Ах, моя дорогая, ручаюсь вам, что в ту минуту мне было далеко не весело! Как, обманывать

Жюльена? Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения, страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрестанно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своем вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовой отдаться, бросит в меня первый камень!..

...Словом, еще минута... вы понимаете, не так ли... еще минута, и... я бы... то есть она бы... Виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг страшный шум заставил нас вскочить на ноги.

Горящее полено, да, сударыня, полено ринулось из камина, опрокинув лопатку и каминную решетку, покатилось, как огненный ураган, подожгло ковер и упало под кресло, которое неминуемо должно было загореться.

Я бросился, как безумный, а пока водворял в

камин спасительную головню, дверь внезапно отворилась. Вошел Жюльен, весь сияя.

— Я свободен! — воскликнул он. — Дело кончилось двумя часами раньше!

Да, мой друг, если бы не это полено, я был бы застигнут на месте преступления. Можете представить себе последствия!

Понятно, я принял меры, чтобы никогда больше не попадать в такое положение, никогда, никогда! Затем я заметил, что Жюльен становится ко мне холоден. Жена, очевидно, подкапывалась под нашу дружбу; мало-помалу он отдалил меня от себя, и мы перестали видеться.

Я не женился. Теперь это не должно вас удивлять.

Сумасшедший?

Сумасшедший ли я? Или только ревную? Не знаю, но я страдал жестоко. Я совершил безумный поступок, акт яростного безумия. Это так; но душившая меня ревность, но восторженная, преданная и поруганная любовь, но отвратительная боль, которую я испытываю, — разве всего этого не достаточно, чтобы побудить нас совершать преступления и безумства, хотя бы мы и не были на самом деле преступниками ни сердцем, ни умом?

О, я страдал, страдал, страдал — долго, мучительно, ужасно. Я любил эту женщину с неистовой страстью... И, однако, верно ли это? Любил ли я ее? Нет, нет, нет! Она овладела моей душой и телом, захватила меня, связала. Я был и остался ее вещью, ее игрушкой. Я принадлежу ее улыбке, ее губам, ее взгляду, линиям ее тела, овалу ее лица; я задыхаюсь под игом ее внешности, но она, обладательница этой внешности, душа этого тела, мне ненавистна, гнусна, и я всегда ее ненавидел, презирал и гнушался ею. Потому что она вероломна, похотлива, нечиста, порочна; она

женщина погибели, чувственное и лживое животное, у которого нет души, у которого никогда нет мысли, подобной вольному, животворящему воздуху; она человек-зверь и хуже того: она лишь утроба, чудо нежной и округлой плоти, в котором живет Бесчестие.

Первое время нашей связи было странно и упоительно. В ее вечно раскрытых объятиях я исходил яростью ненасытного желания. Ее глаза, как бы вызывая во мне жажду, заставляли меня раскрывать рот. В полдень они были серые, в сумерки — зеленоватые и на восходе солнца — голубые. Я не безумец: клянусь, что у них были эти три цвета.

В часы любви они были синие, изнемогающие, с расширенными зрачками. Из ее судорожно трепетавших губ высовывался порою розовый, влажный кончик языка, дрожавший, как жало змеи, а ее тяжелые веки медленно поднимались, открывая жгучий и замирающий взгляд, сводивший меня с ума.

Сжимая ее в объятиях, я вглядывался в ее глаза и дрожал, томясь желанием убить этого зверя и необходимостью обладать ею непрерывно.

Когда она ходила по моей комнате, то каждый ее шаг потрясал мое сердце, а когда она начинала

раздеваться, сбрасывала платье и появлялась, бесстыдная и сияющая, из волн белья, падавшего у ее ног, я ощущал во всех членах, в руках и ногах, в тяжко дышавшей груди, бесконечную и подлую порабощенность.

В один прекрасный день я увидел, что она пресытилась мною. Я заметил это по ее глазам при пробуждении. Склонившись над нею, я каждое утро с нетерпением ждал ее первого взгляда. Я ожидал его, полный злобы, ненависти, презрения к этому спящему зверю, невольником которого я был. Но когда показывалась бледная лазурь ее зрачков, льющаяся, как вода, еще томная, еще усталая, еще измученная от недавних ласк, во мне мгновенно вспыхивало пламя, безудержно обостряя мой пыл. В этот же день, когда она раскрыла глаза, из-под ресниц на меня глянул угрюмый и безразличный взгляд, и в нем больше не было желания.

О, я увидел, почувствовал, узнал, тотчас же понял этот взгляд! Все было кончено, кончено навсегда. И доказательства этого попадались мне каждый час, каждое мгновение.

Когда я призывал ее объятиями и губами, она скучающе отворачивалась, шепча: «Оставьте же меня!» или: «Вы мне противны!» или: «Неужели

мне никогда не будет покоя!»

Тогда я стал ревнивым. Но ревнивым, как собака, хитрым, недоверчивым, скрытным. Я отлично знал, что она скоро опять возьмется за старое, что на смену мне явится другой и зажжет ее чувства.

Я ревновал бешено; но я не сошел с ума, нет, конечно, нет.

Я ждал; о, я шпионил за нею, она не обманула бы меня; но она по-прежнему была холодная, сонливая. Порою она говорила: «Мужчины внушают мне отвращение». И это была правда.

Тогда я стал ее ревновать к ней самой; ревновать к ее безразличию, ревновать к одиночеству ее ночей; ревновать к ее жестам, к ее мыслям, которые всегда казались мне бесчестными, ревновать ко всему, о чем я догадывался. И когда я порой замечал у нее по утрам тот влажный взор, который бывал когда-то после наших пылких ночей, словно какое-то вожделение опять всколыхнуло ее душу и возбудило ее желания, я задыхался от гнева, дрожал от негодования, от неутолимой жажды задушить ее, придавить коленом и, сдавливая ей горло, заставить покаяться во всех постыдных тайнах ее души.

Сумасшедший ли я? Нет.

Но вот однажды вечером я почувствовал, что

она счастлива. Я почувствовал, что какая-то новая страсть трепетала в ней. Я был в этом уверен, непоколебимо уверен. Она вздрагивала, как после моих объятий; ее глаза горели, руки были горячие, от всего ее трепетавшего тела исходил тот любовный хмель, который доводил меня до безумия.

Я притворялся, что ничего не замечаю, но внимание мое опутало ее как сетью.

Тем не менее я ничего не открыл.

Я ждал неделю, месяц, несколько месяцев. Она расцветала непонятной страстью и замирала в блаженстве неуловимой ласки.

И вдруг я догадался! Я не сумасшедший! Клянусь, что я не сумасшедший!

Как это высказать? Как заставить себя понять? Как выразить эту отвратительную и непостижимую вещь?

Вот каким образом все стало мне известно.

Однажды вечером, как я сказал, вернувшись домой после длинной прогулки верхом, она упала на низкий стул против меня; ее щеки пылали, сердце сильно колотилось, взор был изнемогающий, и она едва держалась на ногах. Я знавал ее такою! Она любила! Я не мог ошибиться!

Теряя голову и чтобы больше не смотреть на

нее, я отвернулся к окошку и увидел лакея, отводившего под уздцы в конюшню ее сильного коня, вздымавшегося на дыбы.

Она также провожала взглядом горячего, рвавшегося жеребца. А когда он исчез, она сразу же заснула.

Я продумал всю ночь, и мне показалось, что я проникаю в тайны, которых никогда не подозревал. Кто сможет измерить когда-нибудь всю извращенность женской чувственности? Кто поймет женщин, их невероятные капризы, странное утоление ими самых странных фантазий?

Каждое утро с рассвета она галопом носилась по долинам и лесам, и каждый раз возвращалась истомленная, словно после неистовств любви.

Я понял! Я ревновал ее теперь к сильному, быстрому жеребцу; ревновал к ветру, ласкавшему ей лицо, когда она мчалась в безумном галопе; ревновал к листьям, целовавшим на лету ее уши; к каплям солнца, падавшим ей на лоб сквозь ветки деревьев; ревновал к седлу, на котором она сидела, плотно прижавшись к нему бедром.

Все это делало ее счастливой, возбуждало, насыщало, истомляло и затем возвращало ее мне бесчувственной и почти в обмороке.

Я решил отомстить. Я стал кроток и полон

внимания к ней. Я подавал ей руку, когда она соскакивала на землю, возвращаясь после своих необузданных поездок. Бешеный конь бросался на меня; она похлопывала его по выгнутой шее, целовала трепетавшие ноздри, не отирая после этого губ; и аромат ее тела, всегда в поту, как после жаркой постели, смешивался в моем обонянии с острым звериным запахом животного.

Я ждал своего часа. Каждое утро она проезжала по одной и той же тропинке в молодой березовой роще, уходившей в лес.

Я вышел до рассвета, с веревкою в руке и парой спрятанных на груди пистолетов, словно собираясь драться на дуэли.

Я бегом направился к ее излюбленной тропинке, натянул веревку между двумя деревьями и спрятался в траве.

Припав ухом к земле, я услыхал его далекий галоп, затем вдали увидел и его самого, несшегося во весь опор под листвой, как бы в конце какого-то свода. Нет, я не ошибся: это было то самое! Она казалась вне себя от радости, кровь прилила к ее щекам, во взоре было безумие; нервы ее трепетали в одиноком и неистовом наслаждении от стремительной быстроты скачки.

Животное зацепилось за мою преграду перед-

ними ногами и рухнуло на землю, ломая себе кости. Ее же я подхватил на руки. Я так силен, что могу поднять и вола. Затем, когда я спустил ее на землю, то приблизился к нему — а он глядел на нас — и в ту минуту, когда он попытался укусить меня, я вложил ему в ухо пистолет и застрелил его… как мужчину.

Но тут я тоже упал — лицо мое рассекли два удара хлыста, и когда она снова бросилась на меня, я выпустил второй заряд ей в живот. Сумасшедший ли я, скажите?

Хитрость

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин, — небольшое малокровие, нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:

— Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клятвами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался:

— Ну, это нетрудно. Уверяю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного знаменитого

человека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запахами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем. Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того, как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не занимать. Самые недалекие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из труднейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила…

— Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опасных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.

Доктор развел руками.

— Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом. Но вы!.. Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих пациенток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.

Однажды вечером, когда я спал тем глубоким

и тяжелым первым сном, от которого так трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех городских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся: это звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати; вскоре захлопали дверями, шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласившую: «Госпожа Лельевр убедительно просит господина доктора Симеона пожаловать к ней немедленно».

Несколько секунд я размышлял, но решил: «Что-нибудь вроде нервов, какой-нибудь каприз, какая-нибудь ерунда, нет, я слишком утомлен». И я ответил: «Чувствуя сильное нездоровье, доктор Симеон просит госпожу Лельевр позвать к себе его коллегу, господина Бонне».

Затем я положил записку в конверт, отдал ее и снова заснул. Полчаса спустя колокольчик с улицы затрезвонил снова, и Жан доложил:

— Там кто-то опять, не то мужчина, не то женщина — не разберу, уж очень закутан, — желает видеть вас, сударь, и немедленно. Говорит, что дело касается жизни двух людей.

Я приподнялся:

— Пусть войдут.

Я ждал, сидя в постели.

Появился какой-то черный призрак, который тотчас по выходе Жана из комнаты открыл свое лицо. То была госпожа Берта Лельевр, молоденькая женщина, три года назад вышедшая замуж за крупного местного торговца, про которого пошла молва, что он женился на самой красивой девушке во всей округе.

Она была ужасно бледна, лицо ее подергивалось, как у человека, теряющего разум, руки дрожали; два раза собиралась она заговорить, но ни один звук не вылетал из ее рта. Наконец она пролепетала:

— Скорее, доктор… скорей… Едемте… Мой… мой… любовник умер у меня в спальне…

Она замолчала, задыхаясь, затем добавила:

— А муж… должен сейчас… вернуться из клуба…

Я вскочил с постели, не подумав даже, что был в одной рубашке, и оделся в несколько секунд. Затем я спросил:

— Это вы сами только что приходили?

Окаменев от ужаса и стоя неподвижно, как статуя, она прошептала:

— Нет… это моя служанка… Она знает…

Затем, помолчав, прибавила:

— Я оставалась… подле него.

Вопль ужасной боли вырвался вдруг из ее уст, затем удушье сжало ей горло, и она заплакала, отчаянно и судорожно рыдая минуту или две; но слезы внезапно остановились, иссякли, словно осушенные внутренним огнем, и, снова став трагически спокойной, она сказала:

— Поедемте скорей!

Я был готов, но воскликнул:

— Черт возьми, я не приказал заложить карету!

Она отвечала:

— У меня его карета. Она дожидалась его.

Она снова закутала себе все лицо. Мы поехали.

Очутившись рядом со мной во мраке экипажа, она резко схватила меня за руку, сжала ее своими тонкими пальцами и пролепетала, запинаясь, словно ей мешали говорить перебои разрывающегося сердца:

— О, если бы вы знали, если бы вы знали, как я страдаю! Я любила его, любила без памяти, как сумасшедшая, шесть месяцев.

Я спросил:

— Проснулся ли кто-нибудь у вас в доме?

Она отвечала:

— Никто, за исключением Розы; ей все известно.

Остановились у подъезда; в доме действительно все спали; мы вошли без шума, открыв дверь запасным ключом, и поднялись по лестнице на цыпочках. Служанка, растерянная, сидела на верхней ступеньке; возле нее, на полу, стояла зажженная свеча, она побоялась остаться возле покойника.

Я вошел в комнату. Все в ней было вверх дном, как после драки. Измятая, развалленная и неприбранная постель оставалась открытой и, казалось, кого-то ждала; одна простыня свесилась на ковер; мокрые салфетки, которыми молодому человеку терли виски, валялись на полу около таза и стакана. Запах уксуса, смешанный с духами Любэна, вызывал тошноту уже на пороге комнаты.

Вытянувшись во весь рост, на спине, посреди комнаты лежал труп.

Я подошел, взглянул, потрогал его, открыл ему глаза, пощупал пульс; затем, обернувшись к обеим женщинам, дрожавшим, словно они замерзали, сказал:

— Помогите мне перенести его на кровать.

И его тихо положили туда. После этого я вы-

слушал сердце, приблизил зеркало ко рту и прошептал:

— Все кончено, давайте поскорее оденем его.

Это было ужасное зрелище!

Я брал одну за другой его руки и ноги, словно члены тела огромной куклы, и натягивал на них одежду, подаваемую мне женщинами. Мы надели на него носки, кальсоны, брюки, жилет, затем сюртук; стоило немало труда просунуть его руки в рукава.

Когда надо было застегивать башмаки, обе женщины опустились на колени, а я светил им; ноги немного опухли, и обуть их было невероятно трудно. Не найдя крючка, женщины вынули из своих волос шпильки.

Когда это страшное одевание было закончено, я взглянул на нашу работу и сказал:

— Надо его немного причесать.

Горничная принесла щетку и гребенку своей госпожи; но так как руки у нее дрожали и она непроизвольными движениями вырывала длинные спутанные пряди волос, то госпожа Лельевр выхватила у нее гребень и нежно пригладила прическу, словно лаская ее. Она сделала заново пробор, расчесала щеткой бороду, затем не спеша намотала на палец усы, как, без сомнения, при-

выкла делать ему, живому, в минуту любовной близости.

И вдруг, выронив из рук гребень и щетку, она схватила неподвижную голову своего любовника и долго с отчаянием смотрела на это мертвое лицо, которое ей больше не улыбалось; затем, упав на мертвеца, она крепко обняла его и стала неистово целовать. Поцелуи сыпались на его сомкнутый рот, на потухшие глаза, на виски, на лоб… Затем, приникнув к его уху, словно он еще мог ее слышать, и словно собираясь шепнуть слово, рождающее самые пылкие объятия, она раз десять повторила раздирающим голосом:

— Прощай, любимый!

Часы пробили полночь.

Я вздрогнул:

— Черт возьми! Полночь — это время, когда запирается клуб. За дело, сударыня, поживее!

Она поднялась. Я приказал:

— Отнесем его в гостиную!

Мы подняли его втроем и перенесли; затем я посадил его на диван и зажег канделябры.

Наружная дверь отворилась и тяжело захлопнулась. То был он, уже! Я крикнул:

— Роза, принесите мне поскорее салфетки и таз и приберите спальню; скорей, скорей, ради бога!

Господин Лельевр возвращается.

Я слышал, как шаги поднимались по лестнице, приближались. Руки в темноте шарили по стенам. Тогда я крикнул:

— Сюда, мой друг, у нас тут несчастье!

Ошеломленный муж появился на пороге с сигарой во рту.

— Что такое? Что случилось? Что тут происходит? — спросил он.

Я подошел к нему.

— Друг мой, вы застаете нас в большом затруднении. Я засиделся, болтая с вашей женой и нашим другом, который привез меня в своей карете. Вдруг он сразу как-то сник и вот уже два часа, невзирая на все наши заботы, остается без сознания. Мне не хотелось звать других. Помогите же мне вынести его; я займусь им, когда он будет у себя.

Муж, удивленный, но без малейшего недоверия, снял шляпу, затем взял под мышки своего соперника, отныне уже безопасного. Я впрягся между его ног, как лошадь в оглобли, и мы спустились по лестнице, освещаемой женою.

Когда мы были в дверях, я поставил труп на ноги и заговорил с ним, подбадривая его, чтобы обмануть кучера:

— Ну же, дорогой друг, это пустяки; вы уже чувствуете себя лучше, не так ли? Мужайтесь, ну же, мужайтесь, еще маленькое усилие — и все будет кончено.

Чувствуя, что он сейчас упадет, что он выскальзывает у меня из рук, я сильно толкнул его плечом и таким образом продвинул его вперед, просунул в карету, куда затем вошел и сам.

Муж, обеспокоенный, спрашивал меня:

— Как вы думаете, это серьезно?

Я, улыбаясь, отвечал: «Нет», — и взглянул на жену.

Взяв под руку своего законного мужа, она пристально смотрела в темную глубину кареты.

Я пожал им руки и приказал кучеру ехать. Всю дорогу мертвец наваливался мне на правое плечо.

Когда мы приехали к нему, я объявил, что он по дороге потерял сознание. Я помог внести его в комнату, а затем констатировал смерть; мне пришлось разыграть целую новую комедию перед растерявшейся семьей. Наконец я добрался до своей постели, проклиная всех влюбленных на свете.

Доктор умолк, продолжая улыбаться.

Молодая женщина недовольно спросила:

— Зачем рассказали вы мне эту ужасную историю?

Он любезно поклонился:

— Чтобы при случае предложить вам свои услуги.

Парижское приключение

Найдется ли на свете чувство более острое, чем женское любопытство? О, узнать, увидеть, потрогать то, о чем мечталось! Чего только не сделает женщина ради этого! Когда ее нетерпеливое любопытство задето, она пойдет на какое угодно безумие, на какую угодно неосторожность, проявит какую угодно смелость, не отступит ни перед чем. Я говорю о настоящих женщинах, о женщинах, ум которых представляет собою ящик с тройным дном; с виду это ум рассудительный и холодный, но три его потайных отделения наполнены: первое — вечно возбужденным женским беспокойством, второе — притворством под маской прямодушия, притворством, свойственным ханжам, полным софистики и весьма опасным; и, наконец, последнее — очаровательной наглостью, прелестным плутовством, восхитительным вероломством — всеми теми извращенными свойствами, которые толкают на самоубийство глупо доверчивых влюбленных и восхищают остальных мужчин.

Женщина, приключение которой я хочу расска-

зать, была до того времени скучно добродетельной провинциалочкой. Ее внешне спокойная жизнь проходила в семье, делясь между занятым мужем и двумя детьми, которым она была примерною матерью. Но сердце ее трепетало неудовлетворенным любопытством, жаждою неизвестного. Она беспрестанно грезила о Париже и с жадностью читала великосветские журналы. От описаний празднеств, туалетов, развлечений ее желания разгорались все больше и больше, но особенно таинственно волновали ее «отголоски», полные намеков, полуприкрытых искусными фразами, за которыми угадывались широкие просторы преступных и губительных наслаждений.

Издали Париж представлялся ей в каком-то апофеозе великолепной и порочной роскоши. И в долгие ночи, отдаваясь мечтам под мерное храпение мужа, который, повязав фуляром голову, спал на спине рядом с нею, она грезила о знаменитостях, чьи имена, как яркие звезды на темном небе, появлялись на первых страницах газет; она рисовала себе их безумную жизнь, полную постоянного разврата, сладострастных античных оргий и такой сложной и утонченной чувственности, что она даже не могла себе представить.

Парижские бульвары казались ей какими-то безднами человеческих страстей, а дома вдоль этих бульваров, несомненно, скрывали необычайные любовные тайны.

Между тем она чувствовала, что стареет. Она старела, ничего не узнав о жизни, кроме тех правильных, до отвращения однообразных и пошлых занятий, которые создают, как принято говорить, семейное счастье. Она была еще красива, потому что сохранилась в этой покойной обстановке, как зимний плод в запертом шкафу: но ее точили, снедали и будоражили тайные страсти. Она спрашивала себя: неужели ей так и придется умереть, не изведав всех этих проклятых упоений, не бросившись с головой хоть раз — один только раз! — в этот водоворот парижского сладострастия?

С большою настойчивостью подготовила она поездку в Париж, нашла предлог, добилась приглашения от парижских родственников и, так как муж не мог сопутствовать ей, уехала одна.

Тотчас по приезде она придумала такие поводы, которые позволяли бы ей в случае надобности отлучиться из дому дня на два, или, вернее, на две ночи, если б это понадобилось: она встретила, по ее словам, друзей, живших в окрестностях

Парижа.

И она принялась за поиски. Она обегала бульвары, но не увидела ничего, кроме бродячего и зарегистрированного полицией порока. Она испытующе заглядывала в большие кафе, внимательно прочитывала переписку в «Фигаро», отдававшуюся в ее душе каждое утро как звон набата призывом к любви.

Но ничто не наводило ее на след грандиозных оргий в мире художников и актрис; ничто не раскрывало перед нею храмов распутства, которые рисовались ей запечатленными магическим словом, как пещера «Тысяча и одной ночи» или как римские катакомбы, где скрытно свершались когда-то таинства преследуемой религии.

Ее родственники, мелкие буржуа, не могли познакомить ее ни с кем из тех знаменитостей, чьи имена жужжали в ее мозгу, и, отчаявшись, она думала уже об отъезде, как вдруг на помощь ей подоспел случай.

Однажды, проходя по улице Шоссе д'Антен, она остановилась у витрины магазина с японскими вещицами, расписанными столь ярко, что они веселили глаз. Она рассматривала комические фигурки из слоновой кости, высокие вазы с пламенеющей эмалью, причудливую бронзу, как

вдруг внутри магазина увидела хозяина, почтительнейше показывавшего какому-то толстому, маленькому, лысому человечку с небритым подбородком большого пузатого фарфорового урода — уникальную вещицу, по его словам.

И в конце каждой фразы торговца звенело, как призыв рога, имя любителя, знаменитое имя. Остальные покупатели — молодые женщины, изящные господа — взглядывали искоса и быстро, но вполне благопристойно и с видимым почтением на прославленного писателя, увлеченно рассматривавшего фарфорового урода. Они были безобразны оба, безобразны, как два родных брата.

Торговец говорил:

— Только вам, господин Жан Варен, я уступлю эту вещь за тысячу франков; ровно столько я сам за нее дал. Для всех прочих цена будет тысяча пятьсот; но я особенно дорожу покупателями из мира художников и писателей, и для них у меня особые цены. Они все у меня покупают, господин Варен. Вчера господин Бюснах купил большой старинный кубок. На днях я продал пару подсвечников в этом роде — не правда ли, как они хороши? — господину Александру Дюма. Знаете, если бы эту вещицу, которую вы держите

в руках, увидел господин Золя, то она была бы уже продана, господин Варен!

Писатель колебался в нерешительности: вещь его соблазняла, но он думал о цене; на взгляды окружающих он не обращал никакого внимания, словно был один в пустыне.

Она вошла в магазин, трепеща, глядя на писателя с неприличной пристальностью и даже не спрашивая себя, красив ли он, молод ли, изящен ли. Это был Жан Варен, сам Жан Варен!

После долгой борьбы и скорбной нерешительности он поставил фигуру обратно на стол.

— Нет, это чересчур дорого, — сказал он.

Торговец удвоил свое красноречие:

— Вы говорите дорого, господин Жан Варен? Да за это не жалко две тысячи выложить, как одно су.

Писатель, не отрывая взгляда от урода с эмалевыми глазами, печально возразил:

— Я не говорю, что вещь не стоит этих денег, но для меня это дорого.

Тут, охваченная вдруг безумной смелостью, она выступила вперед:

— А сколько вы возьмете с меня за этого человечка?

Торговец с удивлением ответил:

— Тысячу пятьсот франков, сударыня.

— Я беру его.

Писатель, до этого даже не заметивший ее, вдруг обернулся. Прищурив глаза, он окинул ее с головы до ног взглядом наблюдателя, а потом в качестве знатока оценил ее во всех подробностях.

Возбужденная, загоревшаяся внезапно вспыхнувшим пламенем, до тех пор дремавшим в ней, она была очаровательна. Да к тому же женщина, покупающая мимоходом вещицу за полторы тысячи франков, не первая встречная.

Вдруг она ощутила порыв восхитительной совестливости и, обернувшись к нему, сказала дрожащим голосом:

— Простите, сударь, я, должно быть, чересчур поспешила, вы, быть может, еще не сказали последнего слова.

Он поклонился:

— Я сказал его, сударыня.

Но она взволнованно отвечала:

— Словом, сударь, если сегодня или позже вам захочется изменить решение, то эта вещица принадлежит вам. Я только потому ее и купила, что она вам понравилась.

Он улыбнулся, явно польщенный.

— Откуда же вы меня знаете? — спросил он.

Тогда она заговорила о своем преклонении перед ним, назвала его произведения, стала даже красноречивой.

Чтобы удобнее было разговаривать, он облокотился на какой-то шкафик и, пронизывая ее острым взглядом, старался понять, что она собой представляет.

Время от времени владелец магазина, обрадованный этой живой рекламой, кричал с другого конца лавки, когда входили новые покупатели:

— А вот взгляните, господин Жан Варен, разве это не прелестно?

И тогда все головы поднимались, и она дрожала от удовольствия, что ее видят в непринужденной беседе со знаменитостью.

Наконец, совсем опьянев, она решилась на крайнюю дерзость, подобно генералу, приказывающему идти на приступ.

— Сударь, — сказала она, — сделайте мне большое, очень большое удовольствие. Разрешите мне поднести вам этого урода на память о женщине, страстно вам поклоняющейся и которая виделась с вами всего десять минут.

Он отказался. Она настаивала. Он противился, забавляясь и смеясь от всего сердца.

Тогда она сказала упрямо:

— Ну в таком случае я тотчас же отвезу его к вам. Где вы живете?

Он отказался сообщить свой адрес, но она узнала его от торговца и, заплатив за покупку, бросилась к фиакру. Писатель побежал за нею вдогонку, не желая, чтобы у присутствующих создалось впечатление, что он принимает подарок от незнакомого лица. Он настиг ее, когда она садилась в экипаж, бросился за ней и почти упал на нее — так его подбросило тронувшимся фиакром: затем уселся рядом с нею, весьма раздосадованный.

Сколько он ни упрашивал, ни настаивал, она оставалась непреклонной. Когда они были у его подъезда, она изложила ему свои условия.

— Я согласна, — сказала она, — не оставлять у вас этой вещи, если вы сегодня будете исполнять все мои желания.

Это показалось ему настолько забавным, что он согласился.

Она спросила:

— Что вы делаете обычно в этот час?

Поколебавшись, он сказал:

— Прогуливаюсь.

Тогда решительным тоном она приказала:

— В Лес!

И они поехали.

Она потребовала, чтобы он называл ей по именам всех известных, в особенности же — доступных женщин, со всеми интимными деталями их жизни, привычек, обстановки и пороков.

Вечерело.

— Что вы обычно делаете в это время? — спросила она.

Он ответил смеясь:

— Пью абсент.

И она с полной серьезностью сказала:

— В таком случае поедемте пить абсент.

Они вошли в одно из известных кафе на Больших бульварах, где он часто бывал и где встретил нескольких собратьев по перу. Он всех их представил ей. Она была без ума от радости. И в ее голове беспрестанно раздавалось: «Наконец-то, наконец!»

Время бежало: она спросила:

— В этом часу вы, вероятно, обедаете?

Он отвечал:

— Да, сударыня.

— В таком случае пойдемте обедать, сударь.

Выходя из ресторана Биньон, она сказала:

— Что вы делаете по вечерам?

Он пристально взглянул на нее.

— Смотря по обстоятельствам; иногда я отправляюсь в театр.

— Отлично, сударь, поедемте в театр.

Они пошли в Водевиль, где благодаря ему им предложили бесплатные места, и — о верх славы! — весь зал видел ее рядом с ним, в креслах балкона.

Когда представление кончилось, он галантно поцеловал ей руку:

— Мне остается поблагодарить вас, сударыня, за восхитительный день…

Она прервала его:

— А что вы обычно делаете ночью?

— Но… но… я возвращаюсь домой.

Она нервно засмеялась.

— Ну что ж, сударь, поедемте к вам домой.

И больше они не разговаривали. Порою она дрожала с головы до ног, желая и бежать и остаться, но все же твердо решив в глубине души идти до конца.

На лестнице она цеплялась за перила, так сильно возрастало ее волнение, а он шел вперед, отдуваясь, с восковой спичкой в руке.

Очутившись в комнате, она быстро разделась, скользнула в постель, не говоря ни слова, и жда-

ла, прижавшись к стене.

Но она была неопытна, как только возможно для законной жены провинциального нотариуса, а он был требовательнее трехбунчужного паши. Они не поняли друг друга, совершенно не поняли.

И он уснул. Ночь проходила, и тишину ее нарушало лишь тикание стенных часов; неподвижно лежа, она думала о своих супружеских ночах и с отчаянием смотрела на этого, спавшего рядом с нею на спине, под желтым светом китайского фонарика, маленького, шарообразного человечка, чей круглый живот выпячивался из-под простыни, словно надутый газом баллон. Он храпел, как органная труба, с протяжным фырканьем и смешным клокотанием в горле. Два десятка волос, утомленные за день своим приглаженным положением на голом черепе, который они должны были прикрывать, воспользовались теперь его сном и топорщились во все стороны. Струйка слюны стекала из угла его полуоткрытого рта.

Наконец сквозь опущенные занавески чуть проглянул рассвет. Она встала, бесшумно оделась и уже приоткрыла дверь, но скрипнула задвижкой, и он проснулся, протирая глаза.

Несколько секунд он не мог прийти в себя; за-

тем, припомнив все случившееся, спросил:

— Как, вы уходите?

Она стояла, смущенная, и прошептала:

— Да, уже утро.

Он сел на постели.

— Послушайте, — оказал он, — я тоже хочу вас кое о чем спросить.

Она молчала, и он продолжал:

— Вы крайне удивили меня вчера. Будьте откровенны, признайтесь, зачем вы все это проделали? Я ничего не понимаю.

Она тихонько подошла к нему, краснея, как молоденькая девушка.

— Я хотела узнать... порок... ну, и... ну, и это совсем не забавно!

Она выбежала из комнаты, спустилась с лестницы и бросилась на улицу.

Целая армия метельщиков подметала тротуары и мостовые, сбрасывая с них весь сор в сточные канавы. Одинаковым размеренным движением, напоминавшим движение косцов в поле, они гнали сор и грязь полукругом перед собою. Проходя улицу за улицей, она видела вновь и вновь, как они движутся тем же автоматическим движением, словно паяцы, заведенные одною пружиной.

Ей показалось, что и в ее душе сейчас вымели

нечто, сбросили в сточную канаву, в канализационную трубу все ее экзальтированные мечты.

Она вернулась домой, запыхавшись, озябнув и не ощущая в сознании ничего, кроме этого движения щеток, подметающих Париж по утрам.

И как только она очутилась в комнате, она зарыдала.

Прощение

Она выросла в одной из тех семей, которые живут замкнутой жизнью и всего чуждаются.

Они не знают о политических событиях, хотя за столом и упоминают о них; но ведь перемены правительства происходят так далеко, так далеко, что о них говорят, как об исторических фактах, точно о смерти Людовика XVI или высадке Наполеона.

Нравы и моды меняются. В тихой семье, всегда следующей традиционным обычаям, этого совсем не замечают. И если в окрестностях разыгрывается какая-нибудь скандальная история, отголоски замирают у порога такого дома. Только отец и мать как-нибудь вечером обменяются несколькими словами о происшедшем, и то вполголоса, так как и у стен бывают уши. Отец таинственно скажет:

— Ты слыхала об этой ужасной истории в семье Ривуалей?

И мать ответит:

— Кто мог бы этого ожидать? Прямо ужасно!

Дети ни о чем не догадываются и, подрастая,

вступают в жизнь с повязкой на глазах и мыслях, не подозревая об изнанке жизни, не зная, что мысли не всегда соответствуют словам, а слова — поступкам, не ведая, что надо жить в войне со всеми или по крайней мере хранить вооруженный мир, не догадываясь, что за доверчивость вас обманывают, за искренность предают, за доброту платят обидой.

Иные так и живут до самой смерти в ослеплении чистоты, прямодушия и честности, до такой степени не тронутые жизнью, что ничто не в состоянии открыть им глаза.

Другие, выведенные из заблуждения, растерянные, сбитые с толку, в отчаянии падают и умирают, считая себя игрушкой жестокой судьбы, несчастной жертвой гибельных обстоятельств и каких-то на редкость преступных людей.

Савиньоли выдали замуж свою дочь Берту, когда ей было восемнадцать лет. Она вышла за молодого парижанина, Жоржа Барона, биржевого дельца. Он был красивый малый, хорошо говорил и был, по-видимому, человек порядочный. В душе он немного посмеивался над отсталостью своих нареченных родителей, называя их в товарищеском кругу: «Мои милые ископаемые».

Он принадлежал к хорошей семье; девушка

была богата. Муж увез ее в Париж.

Она стала одной из многочисленных провинциалок Парижа. Она жила, не зная и не понимая этого большого города, его элегантного общества, его развлечений и модных туалетов, как не понимала жизни с ее вероломством и тайнами.

Ограничив себя хозяйственными заботами, она знала только свою улицу, а когда отваживалась побывать в другом квартале, прогулка казалась ей далеким путешествием в незнакомый и чужой город. Вечером она говорила:

— Я сегодня проходила бульварами.

Два-три раза в год муж водил ее в театр. Это были настоящие праздники; воспоминание о них никогда не исчезало, и разговор постоянно возобновлялся.

Иногда, месяца три спустя, она начинала вдруг смеяться за столом и восклицала:

— Помнишь того актера, который был одет генералом и кричал петухом?

Ее знакомства ограничивались двумя семьями дальних родственников, представлявшими для нее все человечество. Она называла их всегда во множественном числе: эти Мартине, эти Мишлены.

Муж ее жил в свое удовольствие, возвращался

когда вздумается, иногда на рассвете, под предлогом всяких дел, и нисколько не стеснялся, так как был уверен, что подозрение никогда не коснется ее чистой души.

Но раз утром она получила анонимное письмо.

Она растерялась; ведь она была слишком прямодушна, чтобы понять низость подобных разоблачений и пренебречь письмом, автор которого уверял, что им руководит лишь забота о ее счастье, ненависть к злу и любовь к правде.

Ей сообщали, что вот уже два года, как у ее мужа есть любовница, молодая вдова, г-жа Россе, у которой он проводит все вечера.

Берта не умела ни притворяться, ни скрывать, ни выслеживать, ни хитрить. Когда муж пришел завтракать, она бросила ему письмо и, рыдая, убежала в свою комнату.

У него было достаточно времени, чтобы все обдумать и приготовить ответ. Он постучался к жене. Она сейчас же отворила, не смея на него взглянуть. Улыбаясь, он уселся, привлек ее к себе на колени и ласково, с легкой насмешкой заговорил:

— Моя дорогая малютка, у меня действительно есть приятельница госпожа Россе; я знаю ее уже десять лет и очень люблю. Скажу больше,

я знаком еще с двадцатью другими семьями, о которых я никогда не говорил тебе, так как ты ведь не ищешь общества, развлечений и новых знакомств. Но, чтобы раз навсегда покончить с этими гнусными доносами, я попрошу тебя после завтрака одеться и поехать вместе со мной к этой молодой женщине. Я не сомневаюсь, что ты подружишься с нею.

Она обняла мужа и из женского любопытства, которое, раз проснувшись, уже не засыпает, не отказалась поехать посмотреть на незнакомку, внушавшую ей все же некоторое подозрение. Инстинктивно она чувствовала, что опасность, о которой знаешь, не так страшна.

Она вошла в маленькую кокетливую квартиру на пятом этаже красивого дома, полную безделушек и со вкусом убранную. После пятиминутного ожидания в гостиной, полутемной от обоев, портьер и грациозно спадающих занавесок, дверь отворилась, и в комнату вошла молодая женщина, брюнетка, небольшого роста, немного полная, с удивленной улыбкой.

Жорж представил обеих женщин друг другу.

— Моя жена — госпожа Жюли Россе.

Молодая вдова, слегка вскрикнув от радости и неожиданности, бросилась навстречу, протянув

обе руки. Она никогда не надеялась, говорила она, иметь счастье видеть госпожу Барон, зная, что та нигде не бывает; она так счастлива, так счастлива!.. Она так любит Жоржа (с дружеской близостью она назвала его просто Жоржем), что ей до безумия хотелось познакомиться с его женой и тоже полюбить ее.

Через месяц новые подруги были неразлучны. Они виделись ежедневно, иногда даже по два раза в день, постоянно обедали вместе то у одной, то у другой. Жорж теперь совсем не выходил из дому, не отговаривался больше делами и уверял, что обожает свой домашний очаг.

Наконец, когда в доме, где жила г-жа Россе, освободилась квартира, г-жа Барон поспешила занять ее, чтобы быть еще ближе со своей неразлучной подругой.

Целых два года длилась эта безоблачная дружба, дружба души и сердца, неизменная, нежная, преданная и очаровательная. Берта не могла больше ни о чем говорить, чтобы не произнести имя Жюли, казавшейся ей совершенством.

Она была счастлива полным, спокойным и тихим счастьем.

Но вдруг г-жа Россе заболела. Берта не отходила от нее. Она проводила возле нее ночи, была без-

утешна; муж тоже был в отчаянии.

И вот как-то утром врач, уходя от больной, отвел в сторону Жоржа и его жену и объявил им, что находит положение их приятельницы очень серьезным.

Когда он ушел, молодые люди, пораженные, сели друг против друга и внезапно расплакались. Целую ночь они провели вместе у постели больной; Берта каждую минуту нежно ее целовала, а Жорж, стоя в ногах кровати, молча и упорно глядел на больную.

Наутро ее положение сильно ухудшилось.

Вечером она заявила, что чувствует себя лучше, и уговорила друзей спуститься к себе домой и пообедать.

Они грустно сидели в столовой, не притрагиваясь к еде, когда служанка подала Жоржу запечатанный конверт. Он вскрыл его, прочел, побледнел, поднялся и как-то странно сказал жене:

— Подожди меня… Мне необходимо отлучиться ненадолго. Через десять минут я вернусь. Главное, не уходи из дома.

И он побежал к себе за шляпой.

Берта ждала его, терзаясь новой тревогой. Но, послушная во всем, она не хотела идти наверх к

подруге, пока муж не вернется.

Так как он не являлся, ей пришло в голову пройти в его комнату и посмотреть, захватил ли он перчатки.

Перчатки сразу же бросились ей в глаза; рядом с ними валялась скомканная бумажка.

Она сейчас же узнала ее: то была записка, поданная Жоржу.

И жгучее искушение прочесть, узнать, в чем дело, охватило ее первый раз в жизни. Возмущенная совесть боролась, но любопытство, болезненное и возбужденное, толкало ее руку. Она взяла бумажку, развернула и сейчас же узнала почерк Жюли в этих дрожащих буквах, выведенных карандашом. Она прочитала: «Приди один поцеловать меня, мой бедный друг. Я умираю».

Сначала она ничего не поняла и стояла ошеломленная, потрясенная мыслью о смерти. Потом ум ее поразило это «ты», и точно молния вдруг осветила всю ее жизнь, всю гнусную истину, их измену и предательство. Она увидела ясно их долгое коварство, их взгляды, наивность своей поруганной веры, свое обманутое доверие. Она как бы снова увидела, как вечером, сидя рядом под абажуром ее лампы, они читают одну и ту же книгу, встречаясь глазами в конце каждой

страницы.

И сердце ее, переполненное негодованием, омертвевшее от горя, погрузилось в безграничное отчаяние.

Послышались шаги; она убежала к себе и заперлась.

Муж вскоре окликнул ее:

— Иди скорее: госпожа Россе умирает!

Берта появилась на пороге и дрожащими губами произнесла:

— Возвращайтесь к ней один: во мне она не нуждается.

Он смотрел на нее безумными глазами, ничего не понимая от горя, и повторял:

— Скорее, скорее, она умирает!

Берта ответила:

— Вы предпочли бы, чтобы это случилось со мною.

Тогда, вероятно, он понял; он вышел и опять поднялся к умирающей.

Он оплакивал ее, не скрываясь больше и не стыдясь, равнодушный к страданию жены, которая перестала с ним говорить, замкнулась в своей обиде, в своем гневном возмущении и проводила время в молитве.

Тем не менее они жили вместе, обедали, сидя

друг против друга, молча, с отчаянием в душе.

Наконец он мало-помалу успокоился. Но она не прощала его.

И жизнь тянулась тягостно для обоих.

Целый год прожили они чужими друг для друга, точно незнакомые. Берта чуть не сошла с ума.

Однажды, выйдя на рассвете из дому, Берта вернулась около восьми часов, держа обеими руками огромный букет белых, совершенно белых роз.

Она послала сказать мужу, что хочет говорить с ним.

Он явился встревоженный и смущенный.

— Мы сейчас выйдем вместе, — сказала она ему, — возьмите эти цветы: они слишком тяжелы для меня.

Он взял букет и последовал за женой. Их ждала карета, тронувшаяся, как только они сели.

Она остановилась у ворот кладбища. Берта, с полными слез глазами, сказала Жоржу:

— Проводите меня на ее могилу.

Весь дрожа, ничего не понимая, он пошел вперед, по-прежнему держа цветы в руках. Наконец он остановился у белой мраморной плиты и молча показал на нее.

Тогда она взяла у него букет и, опустившись на колени, положила его в ногах могилы; потом

погрузилась в горячую безмолвную молитву.

Стоя позади нее, муж плакал, охваченный воспоминаниями.

Она поднялась с колен и протянула ему руки.

— Если хотите, будем друзьями, — сказала она.

Вдова

Это случилось в охотничий сезон в замке Банвиль. Осень была дождливая и скучная. Красные листья, вместо того чтобы шуршать под ногами, гнили в дорожных колеях, прибитые тяжелыми ливнями.

В лесу, почти совсем облетевшем, было сыро, как в бане. Под большими деревьями, исхлестанными осенними ветрами, пахло гнилью; от застоявшейся воды, мокрой травы и сырой земли поднимались испарения, пронизывая сыростью и охотников, горбившихся под беспрерывным ливнем, и унылых собак с опущенными хвостами и прилипшей к бокам шерстью, и молодых охотниц в обтянутых, промокших насквозь суконных платьях; все они возвращались вечером домой усталые и разбитые.

В большой гостиной по вечерам играли в лото, но без особого удовольствия, а ветер шумными порывами колотился в ставни, так что старые флюгера вертелись волчком. Чтобы развлечься, затеяли рассказывать истории, как это бывает в книгах, но никто не мог придумать ничего

интересного. Охотники рассказывали анекдоты о ружейных выстрелах или толковали об истреблении кроликов, а дамы, сколько ни ломали голову, не могли обрести в себе фантазии Шахразады.

Все готовы были отказаться от этого развлечения, как вдруг одна молодая женщина, машинально играя рукою старой тетушки, оставшейся в девицах, заметила у нее на пальце колечко из светлых волос; она часто видела его и раньше, но не обращала на него внимания.

Тихонько поворачивая его вокруг пальца, она спросила:

— Скажи, тетя, что это за кольцо? Оно точно из детских волос.

Старая дева покраснела, затем побледнела и сказала дрожащим голосом:

— Это такая печальная, такая печальная история, что я не люблю о ней говорить. В этом причина несчастий всей моей жизни. Я тогда была еще очень молода, и это воспоминание так горестно, что я каждый раз плачу.

Всем сейчас же захотелось узнать, в чем дело, но тетушка не хотела говорить; однако ее так упрашивали, что она наконец уступила.

— Вы часто слышали от меня о семействе де Сантезов, ныне уже вымершем. Я знавала трех

мужчин, последних его представителей. Все трое умерли одинаковой смертью. Это волосы последнего из них. Ему было тринадцать лет, когда он лишил себя жизни из-за меня. Вам кажется это странным, не правда ли?

О, это был какой-то особенный род, если хотите — род сумасшедших, но очаровательных сумасшедших, сумасшедших от любви. Все они, из поколения в поколение, были во власти необузданных страстей, безудержных порывов, которые толкали их на самые безумные поступки, на фанатичную преданность, даже на преступления. Это было присуще им, как некоторым присуща пламенная вера. Ведь люди, уходящие в монахи, принадлежат к совсем другой породе, чем салонные завсегдатаи. Среди родных существовала поговорка: «Влюблен, как Сантез». Стоило только взглянуть на одного из них, чтобы это почувствовать. У них у всех были вьющиеся волосы, низко спускавшиеся на лоб, курчавая борода, большие, широко открытые глаза с проникновенным и как-то странно волнующим взглядом.

Дед того, от кого осталось вот это единственное воспоминание, после многих приключений, дуэлей и похищений женщин безумно влюбился в возрасте шестидесяти пяти лет в дочь своего

фермера. Я знала их обоих. Она была бледная блондинка, изящная, с неторопливой речью, с мягким голосом и кротким взглядом, кротким, как у самой мадонны. Старый сеньор взял ее к себе и вскоре так привязался к ней, что не мог обойтись без нее ни минуты. Его дочь и невестка, жившие в замке, находили это совершенно естественным, до такой степени любовь была в традициях их рода. Когда дело касалось страсти, ничто их не удивляло; если при них рассказывали о препятствиях, чинимых любящим, о разлученных любовниках или о мести за измену, обе они говорили с одной и той же интонацией огорчения: «О, как ему (или ей) приходилось страдать при этом!» И ничего больше. Они всегда сочувствовали сердечным драмам и никогда не возмущались, даже если дело кончалось преступлением.

И вот однажды осенью один молодой человек, г-н де Градель, приглашенный на охоту, похитил эту девушку.

Г-н де Сантез сохранил спокойствие, словно ничего и не случилось, но как-то утром его нашли повесившимся среди собак на псарне.

Его сын умер таким же образом в одной парижской гостинице, в 1841 году во время путешествия,

после того как был обманут оперной певицей.

После него остался сын двенадцати лет и вдова, сестра моей матери. Она переехала с сыном к нам в Бертильон, имение моего отца. Мне было тогда семнадцать лет.

Вы не можете себе представить, какой удивительный и не по летам развитой ребенок был этот маленький Сантез. Можно было подумать, что вся способность любить, все бушующие страсти, свойственные его роду, воплотились в нем, последнем его потомке. Он вечно мечтал, одиноко гуляя целыми часами по вязовой аллее, тянувшейся от дома до леса. Из своего окна я наблюдала, как этот мальчуган задумчиво расхаживал степенным шагом, заложив за спину руки, опустив голову, и останавливался иногда, поднимая глаза, точно видел, понимал и чувствовал как взрослый юноша.

Часто после обеда, в ясные ночи, он говорил мне: «Пойдем помечтаем, кузина...» И мы уходили вместе в парк. Он вдруг останавливался перед лужайкой, где клубился белый пар, та дымка, в которую луна обряжает лесные поляны, и, сжимая мне руку, говорил:

— Посмотри, посмотри! Но ты не понимаешь меня, я это чувствую. Если бы ты понимала,

мы были бы счастливы. Чтобы понимать, надо любить.

Я смеялась и целовала его, этого мальчика, который меня обожал.

Часто после обеда он усаживался на колени к моей матери и просил: «Расскажи нам, тетя, какую-нибудь историю о любви». И моя мать в шутку начинала рассказывать ему все семейные предания, все любовные приключения его предков, а этих приключений были тысячи, тысячи правдивых и ложных. Все эти люди стали жертвою своей репутации. Она кружила им головы, и они считали для себя долгом чести оправдать славу, которая шла об их роде.

При этих рассказах, то нежных, то страшных, ребенок приходил в возбуждение и иногда хлопал в ладоши, повторяя:

— Я тоже, я тоже умею любить, и лучше, чем все они.

И вот он начал робко и бесконечно трогательно ухаживать за мной; над ним смеялись, до такой степени это было забавно. Каждое утро я получала цветы, собранные им для меня, и каждый вечер, прежде чем уйти к себе, он целовал мне руку, шепча:

— Я люблю тебя.

Я была виновата, очень виновата и без конца продолжаю оплакивать свою вину; вся моя жизнь была искуплением этого, и я так и осталась старой девой или, скорее, невестой-вдовой, его вдовой. Меня забавляла эта детская любовь, я даже поощряла ее. Я кокетничала, старалась пленить его, как взрослого мужчину, была ласкова и вероломна. Я свела с ума этого ребенка. Для меня все это было игрой, а для наших матерей веселым развлечением. Ему было двенадцать лет. Подумайте! Кто мог бы принять всерьез такую страсть? Я целовала его столько, сколько он хотел. Я писала ему даже любовные записочки, и наши матери прочитывали их. А он отвечал мне письмами, пламенными письмами, которые я сохранила. Он считал себя взрослым, думал, что наша любовь — тайна для всех. Мы забыли, что он был из рода Сантезов!

Это длилось около года. Раз вечером в парке он кинулся к моим ногам в безумном порыве и, целуя подол моего платья, твердил:

— Я люблю тебя, я люблю тебя, я умираю от любви. Если ты когда-нибудь обманешь меня, слышишь, если ты бросишь меня для другого, я сделаю то же, что мой отец…

И прибавил таким проникновенным тоном,

что я вздрогнула:

— Ты ведь знаешь, что он сделал?

Я стояла пораженная, а он, встав с колен и поднявшись на носки, чтобы быть вровень с моим ухом — я была выше его, — произнес нараспев мое имя: «Женевьева!» — таким нежным, таким красивым, сладостным голосом, что я задрожала с головы до ног.

— Пойдем домой, пойдем домой, — пробормотала я.

Он ничего больше не сказал и шел за мной. Но когда мы подошли к самому крыльцу, он остановил меня:

— Знаешь, если ты бросишь меня, я себя убью.

Я поняла тогда, что зашла слишком далеко, и стала сдержанней. Как-то раз он стал упрекать меня в этом, и я ответила ему:

— Ты теперь слишком взрослый для шуток и слишком молод для настоящей любви. Я подожду.

Мне казалось, что я вышла таким образом из затруднения.

Осенью его отдали в пансион. Когда он вернулся летом, у меня уже был жених. Он тотчас все понял и целую неделю был так задумчив, что я не могла отделаться от беспокойства.

На восьмой день, проснувшись утром, я увидела просунутую под дверь записочку. Я схватила ее, развернула и прочла:

«Ты покинула меня, но ты ведь помнишь, что я тебе говорил. Ты приказываешь мне умереть. Так как я не хочу, чтобы меня нашел кто-нибудь другой, кроме тебя, то приди в парк на то самое место, где в прошлом году я сказал, что люблю тебя, и посмотри вверх».

Я чувствовала, что схожу с ума. Я поспешно оделась и побежала бегом, чуть не падая от изнеможения, к указанному им месту. Его маленькая пансионская фуражка валялась в грязи на земле. Всю ночь шел дождь. Я подняла глаза и увидела что-то качавшееся между листьями — дул ветер, сильный ветер.

Не знаю, что было со мною после этого. Должно быть, я дико вскрикнула, может быть, упала без сознания, а потом побежала к замку. Я пришла в себя на своей постели. Моя мать сидела у изголовья.

Мне казалось, что все это я видела в ужасном бреду. Я пролепетала: «А он… он… Гонтран?» Мне не ответили. Значит, это была правда.

Я не решилась увидеть его еще раз, но попросила длинную прядь его светлых волос. Вот…

вот она…

И старая дева жестом отчаяния протянула свою дрожащую руку. Затем она несколько раз высморкалась, вытерла глаза и продолжала:

— Я отказала жениху, не объяснив почему… И… осталась навсегда… вдовою этого тринадцатилетнего ребенка.

Голова ее упала на грудь, и она долго плакала, погрузившись в мечты.

И когда все расходились на ночь по своим комнатам, один толстый охотник, потревоженный в своем душевном спокойствии, шепнул на ухо соседу:

— Что за несчастье — такая неумеренная чувствительность!

Дверь

— О, — воскликнул Карл Массулиньи, — вопрос о снисходительных мужьях — вопрос очень трудный! Конечно, я видел их немало, и самых различных, однако не мог прийти к определенному мнению ни об одном. Я часто пытался выяснить, действительно ли они слепы, или прозорливы, или же просто слабохарактерны. Думаю, что их можно разбить на эти три категории.

Не будем останавливаться на слепых. Впрочем, они вовсе не снисходительны, они просто ничего не знают; это добрые простаки, не видящие дальше своего носа. Однако интересно и любопытно отметить, с какой легкостью мужчины, решительно все мужчины, и даже женщины, все женщины, позволяют себя обманывать. Мы поддаемся на любую хитрость окружающих — наших детей, наших друзей, слуг, поставщиков. Человек доверчив, и для того чтобы заподозрить, отгадать или разрушить козни других, мы не пользуемся и десятой долей того лукавства, к какому прибегаем, когда сами хотим кого-нибудь обмануть.

Прозорливых мужей можно разделить на три разряда. Это, прежде всего, те, кто находит выгоду — выгоду для кошелька, для самолюбия или для чего-нибудь другого — в том, чтобы у жены был любовник или любовники. Такие требуют лишь, чтобы сколько-нибудь соблюдались приличия, и этим удовлетворяются.

Затем беснующиеся. Об этих можно было бы написать великолепный роман.

И, наконец, слабые, — те, что боятся скандала.

Есть, кроме того, бессильные или, скорее, усталые, которые бегут от супружеского ложа из боязни атаксии или апоплексического удара и мирятся с тем, что на эту опасность идет приятель.

Лично я знал одного супруга чрезвычайно редкой разновидности, который предохранял себя от общего несчастья остроумным и оригинальным способом.

Я познакомился в Париже с одной элегантной, светской, всюду принятой четой. Жене, очень живой, высокой, худенькой, окруженной массой поклонников, молва приписывала кое-какие приключения. Она мне нравилась своим остроумием, и я, кажется, также нравился ей. Я попытался поухаживать пробы ради, она отве-

тила явным поощрением. Вскоре мы дошли до нежных взглядов, рукопожатий, до всех тех маленьких любовных ласк, которые предшествуют решительному приступу.

Однако я колебался. Я убежден, что большинство светских связей, даже мимолетных, не стоят ни того зла, которое они нам приносят, ни тех неприятностей, которые могут возникнуть впоследствии. Я уже мысленно взвешивал удовольствия и неудобства, каких мог желать и опасаться, когда мне показалось вдруг, что ее муж что-то подозревает и наблюдает за мной.

Однажды вечером на балу, в то время как я нашептывал молодой женщине нежности, сидя в маленькой гостиной, рядом с залом, где танцевали, я заметил вдруг в зеркале отражение лица, которое выслеживало нас. Это был он. Наши взгляды встретились, и я увидел, все в том же зеркале, как он повернулся и ушел.

Я прошептал:

— Ваш муж следит за нами.

Она, по-видимому, удивилась.

— Мой муж?

— Да, уже несколько раз он подсматривал за нами.

— Да неужели? Вы уверены в этом?

— Вполне уверен.

— Как странно! Обыкновенно он как нельзя более любезен с моими друзьями.

— Может быть, это потому, что он догадался о моей любви к вам.

— Что вы! Ведь не вы первый ухаживаете за мной. За каждой женщиной, хоть сколько-нибудь заметной, тянется целая стая воздыхателей.

— Да, но я люблю вас глубоко.

— Предположим, что это правда. Но разве мужья догадываются когда-нибудь о подобных вещах?

— Значит, он не ревнив?

— Нет… нет…

Она подумала минуту и прибавила:

— Нет… Я никогда не замечала, чтоб он был ревнив.

— Он никогда… никогда не следил за вами?

— Нет… Я вам уже сказала, что он очень любезен с моими друзьями.

С этого дня мое волокитство стало настойчивее. Меня не так уж интересовала жена, как искушала возможная ревность мужа.

Что касается жены, я оценивал ее трезво и хладнокровно. Она обладала несомненным светским очарованием благодаря живому, веселому,

милому и поверхностному уму, но в ней не было настоящего и глубокого обаяния. Как я уже сказал вам, она была веселая, эффектная, слишком, быть может, подчеркнуто элегантная. Как бы лучше объяснить? Это была… это была декорация, но не настоящее жилище.

Однажды, когда я обедал у них и собрался уже уходить, ее муж сказал мне:

— Милый друг (с некоторого времени он обходился со мной как с другом), мы скоро уезжаем в деревню. Нам с женой доставляет большое удовольствие видеть у себя тех, кого мы любим. Не хотите ли приехать к нам погостить на месяц? С вашей стороны это будет очень мило.

Я был поражен, но согласился.

Месяц спустя я приехал к ним в имение Вертк-рессон, в Турени.

Меня ждали на вокзале, в пяти километрах от замка. Их было трое: она, ее муж и какой-то незнакомый господин, оказавшийся графом де Мортерад, которому меня представили. Граф как будто был в восторге от знакомства со мною. Самые странные мысли приходили мне в голову, пока мы крупной рысью ехали по красивой дороге между двумя рядами живой изгороди. Я спрашивал себя: «Что бы это значило? Ведь

муж не сомневается в том, что его жена и я нравимся друг другу, и, однако, приглашает меня к себе, принимает как близкого приятеля и точно говорит: смелее, смелее, мой милый, дорога свободна!

А затем меня знакомят с этим господином, видимо, своим человеком в доме, и… и тот желает, кажется, уже уехать, причем, так же как и супруг, доволен, по-видимому, моим приездом.

Не предшественник ли это, жаждущий отставки? Пожалуй. Но в таком случае мужчины заключили друг с другом немое соглашение, один из этих маленьких договоров, отвратительных, но удобных и столь распространенных в обществе. Мне молчаливо предлагали войти в это сообщество в качестве заместителя. Мне протягивали руки, мне открывали объятия. Мне распахивали все двери и все сердца.

А она? Загадка! Она должна знать обо всем, она не может не знать. А между тем… между тем…»

Я ничего не понимал!

Обед прошел весело и очень сердечно. Выйдя из-за стола, муж и приятель занялись игрой в карты, а я с хозяйкой дома отправился на крыльцо полюбоваться лунным светом. Природа, по-видимому, очень возбуждала ее чувства, и я подумал,

что минута моего счастья уже недалека. В этот вечер я находил ее поистине очаровательной. Деревня сделала ее нежнее, вернее, истомленнее. Ее высокая тонкая фигура была прелестна на фоне каменного крыльца, возле большой вазы с каким-то растением. Мне хотелось увлечь ее под деревья, припасть к ее коленям и шептать слова любви.

Муж окликнул ее:

— Луиза!

— Да, мой друг.

— Ты забыла о чае.

— Иду, мой друг.

Мы вернулись, и она приготовила нам чай. Мужчины, окончив игру в карты, явно захотели спать. Пришлось разойтись по комнатам. Я заснул очень поздно и спал плохо.

На другой день решено было совершить после завтрака прогулку, и мы отправились в открытом ландо смотреть какие-то развалины. Мы с ней сидели в глубине экипажа, муж и граф — напротив нас.

Все болтали живо, весело и непринужденно. Я сирота, и мне показалось, что я нашел родную семью: до такой степени я чувствовал себя дома среди них.

Вдруг она протянула ножку к ногам мужа, и он промолвил тоном упрека:

— Луиза, прошу вас, не донашивайте здесь своих старых ботинок! В деревне незачем одеваться хуже, чем в Париже.

Я опустил глаза. Действительно, на ней были старые, стоптанные ботинки, и я заметил также, что чулок плохо натянут.

Она покраснела и спрятала ногу под платье. Друг смотрел вдаль с равнодушным видом, ни на что не обращая внимания. Муж предложил мне сигару, и я закурил.

В течение нескольких дней мне ни на минуту не удавалось остаться с ней наедине: муж повсюду следовал за нами. Впрочем, со мною он был очень мил.

И вот как-то утром до завтрака он зашел ко мне и предложил прогуляться. Мы заговорили о браке. Я сказал несколько фраз об одиночестве и что-то такое о совместной жизни, которую нежность женщины делает столь очаровательной. Он вдруг прервал меня:

— Мой друг, не говорите о том, чего вы совершенно не знаете. Женщина, не заинтересованная в любви к вам, любит недолго. Всякое кокетство, делающее ее обворожительной, пока она нам

окончательно не принадлежит, тотчас же прекращается, как только это случилось. И к тому же… честные женщины… то есть наши жены… они не… у них не хватает… словом, они плохо знают свое женское ремесло. Вот… что я хочу сказать.

Он ничего больше не прибавил, и я не мог угадать его настоящих мыслей.

Дня два спустя после этого разговора он позвал меня рано утром в свою комнату, чтобы показать коллекцию гравюр.

Я уселся в кресло напротив огромной двери, отделявшей его половину от комнат жены. За этой дверью я слышал движение, шаги и вовсе не думал о гравюрах, хотя поминутно восклицал:

— О, великолепно! Очаровательно, очаровательно!

Внезапно он сказал:

— Но тут рядом у меня есть настоящая редкость. Я вам покажу сейчас.

И он бросился к двери, обе половинки которой распахнулись разом, как бывает на сцене.

В огромной комнате, среди беспорядочно разбросанных по полу юбок, воротничков, корсажей, стояло высокое, сухопарое, растрепанное существо в какой-то старой измятой шелковой юбке,

натянутой на тощие бедра, и причесывало перед зеркалом светлые короткие и жидкие волосы.

Локти ее торчали двумя острыми углами, и когда она в испуге обернулась, я увидел под простой полотняной рубашкой плоскую грудь, маскируемую на людях фальшивым ватным бюстом.

Муж очень естественно вскрикнул, затворил за собой дверь и произнес с удрученным видом:

— О, боже мой, какой я дурак! Какой глупец! Жена никогда не простит мне этой оплошности!

А мне хотелось поблагодарить его.

Три дня спустя я уехал, горячо пожав руки обоим мужчинам и поцеловав руку жены, очень холодно простившейся со мной.

Карл Массулиньи умолк.

Кто-то задал вопрос:

— Но кто же был этот друг дома?

— Не знаю… Тем не менее… тем не менее он был очень огорчен, что я так скоро уезжаю.

Муарон

Разговор все еще шел о Пранцини, когда г-н Малуро, бывший генеральный прокурор во времена Империи, сказал нам:

— О, мне довелось познакомиться с очень любопытным делом, любопытным по многим обстоятельствам, как вы сейчас увидите.

В то время я был имперским прокурором в провинции. Эту должность я получил благодаря моему отцу, состоявшему старшим председателем суда в Париже. И вот мне пришлось выступить по делу, известному под названием «Дело учителя Муарона».

Г-н Муарон, школьный учитель на севере Франции, пользовался у местного населения превосходной репутацией. Человек образованный, рассудительный, очень религиозный, немного замкнутый, он женился в Буалино, где занимался своей профессией. У него было трое детей, умерших один за другим от легочной болезни. С тех пор он, казалось, перенес всю нежность, таившуюся в его сердце, на детвору, порученную его заботам. Он покупал на собственные деньги

игрушки для своих лучших, самых прилежных и милых учеников; он угощал их обедом, закармливал лакомствами, сластями и пирожками. Все любили и превозносили этого честного человека, этого добряка, как вдруг один за другим умерли пять его учеников, и умерли весьма странным образом. Думали, что это какая-нибудь эпидемия, вызванная водой, испортившейся вследствие засухи. Врачи не могли найти причины, тем более что симптомы недуга казались совершенно необычайными. Дети, видимо, заболевали какой-то изнурительной болезнью, переставали есть, жаловались на боль в животе, мало-помалу хирели, а затем умирали в страшных мучениях.

Последнего умершего вскрыли, но ничего не обнаружили. Внутренности, отосланные в Париж, были исследованы и также не дали указаний на присутствие какого-либо ядовитого вещества.

В течение года ничего не случалось. Потом два маленьких мальчика, лучшие ученики в классе, любимцы папаши Муарона, умерли один за другим в течение четырех суток. Снова было предписано произвести вскрытие тел, и в обоих трупах были обнаружены осколки толченого стекла, врезавшиеся в кишки. Отсюда пришли к заключению, что эти два мальчугана неосторож-

но съели что-нибудь неочищенное и непромытое. Достаточно было разбиться стеклу над чашкой с молоком, чтобы вызвать этот ужасный случай. Дело на том бы и кончилось, если бы в это самое время не заболела служанка Муарона. Приглашенный врач констатировал те же болезненные признаки, что и у детей, умерших незадолго до того, стал расспрашивать ее и добился признания, что она стащила и съела конфеты, купленные учителем для своих учеников.

По приказанию суда в школьном доме произвели обыск, и там обнаружен был шкаф, полный игрушек и лакомств, предназначенных для детей. И вот почти во всех съедобных вещах были найдены осколки стекла или обломки иголок.

Муарон, которого немедленно же арестовали, был, казалось, до такой степени возмущен и поражен подозрением, тяготевшим над ним, что его пришлось освободить. Однако против него обнаружились улики, и они поколебали мое первоначальное убеждение, основанное на его прекрасной репутации, на всей его жизни, а главное, на абсолютном отсутствии побудительных мотивов для подобного преступления.

К чему бы этот добрый, простой, религиозный человек стал убивать детей, своих любимцев,

которых он баловал и пичкал лакомствами, детей, ради которых тратил на игрушки и конфеты половину своего жалованья?

Допустив подобный поступок, следовало бы заключить о сумасшествии. Муарон же казался таким рассудительным, спокойным, полным благоразумия и здравого смысла, что как будто нельзя было допустить и мысли о душевной болезни.

Улики, однако, накоплялись. Конфеты, пирожки, леденцы и другие лакомства, взятые для анализа у торговцев, снабжавших ими учителя, не содержали никаких подозрительных примесей.

Тогда он стал уверять, что, должно быть, неизвестный враг отворил подобранным ключом его шкаф и подсыпал в лакомства осколки стекла и иголок. Он предположил целую историю с наследством, зависевшим от смерти одного из детей, от смерти, которой решил добиваться какой-нибудь крестьянин, свалив все подозрения на учителя. Этого зверя, говорил он, нисколько не смущала мысль о других несчастных мальчуганах, которые должны были также погибнуть при этом.

Это было возможно. Муарон казался до такой степени уверенным в своей правоте, он так сокру-

шался, что мы, без всякого сомнения, оправдали бы его, несмотря на все обнаружившиеся против него улики, если бы не два тягчайших обстоятельства, открывшихся одно за другим.

Первое — это табакерка, полная толченого стекла! Его табакерка в потайном ящике письменного стола, где он прятал деньги!

Даже и этой находке он нашел было объяснение, почти правдоподобное, — как последней хитрости настоящего, но неизвестного преступника. Но к следователю явился вдруг один мелочной торговец из Сен-Марлуфа и рассказал, что какой-то господин неоднократно покупал у него иголки, самые тоненькие, какие только мог найти, и ломал их, чтобы выбрать, какие ему подходят.

Торговец, которому было показано на очной ставке двенадцать человек, тотчас же узнал Муарона. И следствие обнаружило, что учитель действительно ездил в Сен-Марлуф в указанные торговцем дни.

Пропускаю ужасные показания детей о выборе лакомств и о том, как он заботился, чтобы дети ели при нем и чтобы скрыты были всякие следы.

Возмущенное общественное мнение потребовало самого сурового наказания, и это явилось

такой грозной силой, что исключало возможность каких бы то ни было противодействий и колебаний.

Муарон был приговорен к смерти. Апелляционная жалоба его была отклонена. Ему оставалось только просить о помиловании. Через отца я узнал, что император откажет.

И вот однажды утром, когда я работал у себя в кабинете, мне доложили о приходе тюремного священника.

Это был старый аббат, хорошо знавший людей и привыкший к преступникам. Он казался смущенным, стесненным, обеспокоенным. Поговорив несколько минут о том о сем, он вдруг сказал мне, вставая:

— Господин имперский прокурор, если Муарон будет обезглавлен, то вы казните невиновного.

Потом, не поклонившись, он вышел, оставив меня под сильным впечатлением своих слов. Он произнес их взволнованным и торжественным тоном, приоткрыв ради спасения человеческой жизни свои уста, замкнутые и запечатленные тайной исповеди.

Через час я уезжал в Париж, и отец мой, узнав от меня о происшедшем, немедленно выхлопотал мне аудиенцию у императора.

Я был принят на другой день. Его величество работал в маленькой гостиной, когда нас к нему ввели. Я изложил все дело, вплоть до визита священника, и уже начал рассказывать об этом визите, когда дверь за креслом государя отворилась и вошла императрица, предполагавшая, что он у себя один. Его величество Наполеон обратился к ней за советом. Едва познакомившись с обстоятельствами дела, она воскликнула:

— Надо помиловать этого человека. Так надо, потому что он не виновен!

Но почему эта внезапная уверенность столь набожной женщины вселила в мой мозг ужасное сомнение?

До этой минуты я страстно желал смягчения наказания. Но тут я вдруг заподозрил, что мною играет, меня дурачит хитрый преступник, пустивший в ход священника и исповедь как последнее средство защиты.

Я изложил свои сомнения их величествам. Император колебался: он был готов уступить своей природной доброте, но в то же время его удерживала боязнь поддаться обману со стороны негодяя. Однако императрица, убежденная, что священник повиновался некоему внушению свыше, повторяла:

— Что же из того: лучше пощадить виновного, чем убить невинного!

Ее мнение восторжествовало. Смертная казнь заменена была каторжными работами.

Несколько лет спустя я узнал, что Муарона, о примерном поведении которого на тулонской каторге было снова доложено императору, взял к себе в услужение директор тюрьмы.

Потом я долго ничего не слыхал об этом человеке.

Года два тому назад, когда я гостил летом в Лилле, у своего родственника де Лариеля, как-то вечером, перед самым обедом, мне доложили, что какой-то молодой священник хочет поговорить со мной.

Я приказал его ввести, и он стал умолять меня прийти к одному умирающему, непременно желавшему меня видеть. В течение моей долгой судейской карьеры такие случаи бывали у меня нередко, и хотя республиканская власть отстранила меня от дел, все же время от времени ко мне обращались при подобных обстоятельствах.

Итак, я последовал за священником, который привел меня в маленькую нищенскую квартирку под самой крышей высокого дома в рабочем квартале.

Здесь я увидел странное существо, сидевшее на соломенном тюфяке, прислонясь к стене, чтобы легче было дышать.

Это был морщинистый старик, худой, как скелет, с глубоко запавшими и блестящими глазами.

Едва завидев меня, он прошептал:

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Я Муарон.

Я вздрогнул:

— Учитель?

— Да.

— Каким образом вы здесь?

— Слишком долго рассказывать. У меня нет времени… Я умираю… мне привели этого кюре… и так как я знал, что вы здесь, то послал за вами… Я хочу вам исповедаться… ведь вы спасли мне жизнь… тогда…

Он судорожно сжимал руками солому своего тюфяка и низким, хриплым, резким голосом продолжал:

— Вот… Вам я обязан сказать правду… Вам… надо же ее поведать кому-нибудь, прежде чем покинуть этот мир…

Это я убивал детей… всех… это я… из мести…

Слушайте. Я был честным человеком, очень честным… очень честным… очень чистым… Я обожал бога… милосердного бога… бога, которого нас учат любить, а не того ложного бога, палача, вора, убийцу, который правит миром. Я никогда не делал ничего дурного, никогда не совершал никакой низости. Я был чист, как никто, сударь.

Я был женат, имел детей и любил их так, как никогда отец или мать не любили своих детей. Я жил только для них. Я сходил с ума по ним. Они умерли все трое. Почему? За что? Что я такое сделал? Я почувствовал возмущение, яростное возмущение. И вдруг глаза мои открылись, как у пробудившегося от сна. И я понял, что бог жесток. За что он убил моих детей? Мои глаза открылись, и я увидел, что он любит убивать. Он только это и любит, сударь. Он дает жизнь только затем, чтобы ее уничтожить! Бог, сударь, это истребитель. Ему нужны все новые и новые мертвецы. Он убивает на все лады — для вящей забавы. Он придумал болезни, несчастные случаи, чтобы тихонько развлекаться целые месяцы, целые годы, а затем, когда ему становится скучно, к его услугам эпидемии, чума, холера, ангина, оспа… Да разве я знаю все, что он выдумал, это чудовище? И этого ему еще мало, — все эти болезни слишком одно-

образны. И он увеселяет себя время от времени войнами, чтобы видеть, как двести тысяч солдат затоплены в крови и грязи, растерзаны, повержены на землю с оторванными руками и ногами, с разбитыми пушечным ядром головами.

И это не все. Он сотворил людей, поедающих друг друга. А потом, когда он увидел, что люди становятся лучше, чем он, он сотворил животных, чтобы видеть, как люди охотятся за ними, убивают их и съедают. И это еще не все. Он сотворил крохотных животных, живущих один только день, мошек, издыхающих миллиардами за один час, муравьев, которых давят ногой, и много-много других, столько, что мы и вообразить этого не можем. И все эти существа убивают друг друга, охотятся друг за другом, пожирают друг друга и беспрерывно умирают. А милосердный бог глядит и радуется, ибо он-то видит всех, как самых больших, так и самых малых, тех, что в капле воды, и тех, что на других планетах. Он смотрит на них и радуется. О каналья!

Тогда и я, сударь, стал убивать — убивать детей. Я сыграл с ним штуку. Эти-то достались не ему. Не ему, а мне. И я бы еще многих убил, да вы меня схватили… Да!..

Меня должны были казнить на гильотине.

Меня! Как бы он стал тогда потешаться, гадина! Тогда я потребовал священника и налгал. Я исповедался. Я солгал — и остался жив.

А теперь кончено. Я не могу больше ускользнуть от него. Но я не боюсь его, сударь, — я слишком его презираю.

Было страшно видеть этого несчастного, который задыхался в предсмертной икоте, раскрывая огромный рот, чтобы извергнуть несколько еле слышных слов, хрипел и, срывая простыню со своего тюфяка, двигал исхудалыми ногами под черным одеялом, как бы собираясь бежать.

О страшное существо и страшное воспоминание!

Я спросил его:

— Больше вам нечего сказать?

— Нечего, сударь.

— Тогда прощайте!

— Прощайте, сударь, рано или поздно…

Я повернулся к смертельно бледному священнику, который стоял у стены высоким темным силуэтом.

— Вы остаетесь, господин аббат?

— Остаюсь.

Тогда умирающий проговорил, издеваясь:

— Да, да, он посылает своих воронов на трупы.

С меня было довольно; я отворил дверь и поспешил уйти.

.....

Сестры Рондоли

Жоржу де Порто-Риш

I

— Нет, — сказал Пьер Жувене, — я не знаю Италии; а между тем я дважды пытался туда попасть, но каждый раз застревал на границе, да так прочно, что невозможно было двинуться дальше. И все же эти две попытки оставили во мне чарующее представление о нравах этой прекрасной страны. Мне остается только познакомиться с городами, музеями и шедеврами искусства, которыми полон этот край. При первом же случае я вновь отважусь проникнуть на эту недоступную территорию.

Вам непонятно? Сейчас объясню.

В 1874 году мне захотелось посмотреть Венецию, Флоренцию, Рим и Неаполь. Это стремление овладело мною около середины июня, когда с буйными соками весны вливаются в душу пылкие желания странствий и любви.

Но я не любитель путешествовать. Перемена места, по-моему, бесполезна и утомительна. Ночи

в поезде, сон, прерываемый вагонной тряской, вызывающей головную боль и ломоту во всем теле, чувство полной разбитости при пробуждении в этом движущемся ящике, ощущение немытой кожи, летучий сор, засыпающий вам глаза и волосы, угольная вонь, которую все время приходится глотать, мерзкие обеды на сквозняке вокзальных буфетов — все это, по-моему, отвратительное начало для увеселительной поездки.

За этим железнодорожным вступлением нас ожидает уныние гостиницы, большой гостиницы, переполненной людьми и вместе с тем такой пустынной, незнакомая, наводящая тоску комната, подозрительная постель! Своей постелью я дорожу больше всего. Она святая святых нашей жизни. Ей отдаешь нагим свое усталое тело, и она возвращает ему силы и покоит его на белоснежных простынях, в тепле пуховых одеял.

В ней обретаем мы сладчайшие часы нашей жизни, часы любви и сна. Постель священна. Мы должны благоговеть перед ней, почитать ее и любить как самое лучшее, самое отрадное, что у нас есть на земле.

В гостинице я не могу приподнять простынь постели без дрожи отвращения. Кто лежал там в предыдущую ночь? Какие нечистоплотные,

отвратительные люди спали на этих матрацах? И я думаю о всех тех омерзительных существах, с которыми сталкиваешься каждый день, о гадких горбунах, о прыщавых телах, о грязных руках, не говоря уж о ногах и всем прочем. Я думаю о людях, при встрече с которыми вам ударяет в нос тошнотворный запах чеснока или человеческого тела. Я думаю об уродах, о шелудивых, о поте больных, обо всей грязи и мерзости человеческой.

Все это побывало в постели, в которой я должен спать. И меня тошнит, как только я суну в нее ногу.

А обеды в гостинице, долгие обеды за табльдотом, среди несносных и нелепых людей; а ужасные одинокие обеды за столиком ресторана, при жалкой свечке, покрытой колпачком!

А унылые вечера в незнакомом городе! Что может быть грустнее ночи, спускающейся над чужим городом! Идешь куда глаза глядят, среди движения, среди сутолоки, поражающей и пугающей, как во сне. Смотришь на лица, которых никогда не видел и никогда больше не увидишь, слышишь голоса людей, разговаривающих о безразличных для тебя вещах на языке, которого ты даже не понимаешь. Испытываешь ужасное ощущение потерянности. Сердце сжимается, ноги

слабеют, на душе гнет. Идешь, словно спасаешься от чего-то, идешь, лишь бы только не возвращаться в гостиницу, где чувствуешь себя еще более потерянным, потому что там ты как будто «дома», но ведь это «дом» любого, кто только заплатит за него, — и в конце концов падаешь на стул в каком-нибудь ярко освещенном кафе, позолота и огни которого угнетают в тысячу раз сильнее, чем уличный мрак. И, сидя перед липкой кружкой пива, поданной суетливым официантом, чувствуешь себя столь отвратительно одиноким, что какое-то безумие охватывает тебя, желание бежать куда-нибудь, бежать куда угодно, чтобы только не быть здесь, не сидеть за этим мраморным столиком, под этой ослепительной люстрой. И тогда вдруг понимаешь, что ты всегда и везде одинок в этом мире и что привычные встречи в знакомых местах внушают лишь иллюзию человеческого братства. В такие часы заброшенности, мрачного одиночества в чужих городах мысль работает особенно независимо, ясно и глубоко. И тут одним взглядом охватываешь всю жизнь и видишь ее уже не сквозь розовые очки вечных надежд, а вне обмана нажитых привычек, без ожидания постоянно грезящегося счастья.

Только уехав далеко, сознаешь, до чего все близ-

ко, ограниченно и ничтожно; только в поисках неизведанного замечаешь, до чего все обыкновенно и мимолетно; только странствуя по земле, видишь, до чего тесен и однообразен мир.

О, эти угрюмые вечера, когда шагаешь наудачу по незнакомым улицам, — я испытал их! Этих вечеров я боюсь больше всего на свете.

Вот почему, ни за что не желая ехать в Италию один, я уговорил моего приятеля Поля Павильи отправиться вместе со мной.

Вы знаете Поля. Для него весь мир, вся жизнь — в женщине. Таких мужчин найдется немало. Жизнь кажется ему поэтической и яркой только благодаря присутствию женщин. На земле стоит жить лишь потому, что они живут на ней; солнце сияет и греет потому, что освещает их. Воздух приятно вдыхать потому, что он овевает их кожу и играет короткими завитками у них на висках. Луна восхитительна потому, что заставляет их мечтать и придает любви томную прелесть. Словом, вдохновляют и интересуют Поля только женщины; к ним обращены все его помыслы, все его стремления и надежды.

Один поэт заклеймил людей подобного рода:

> *Всех больше не терплю я томного поэта:*

Посмотрит на звезду – и имя шепчет он,

А рядом с ним всегда Нинон или Лизетта, –

Иначе пуст ему казался б небосклон.

Такие чудаки стараются день целый,

Чтоб пробудить любовь к природе у людей:

То на зеленый холм прицепят чепчик белый,

То юбку – к деревцам, растущим средь полей.

Тот не поймет твоих, природа, песен чудных,

Твоих, бессмертная, звенящих голосов.

Кто не бродил один среди полей безлюдных,

Кто грезит женщиной под шепоты лесов[1].

Когда я заговорил с Полем об Италии, он сначала решительно отказался уезжать из Парижа, но я стал расписывать ему разные дорожные

---

[1] Сноски: 1
Перевод А. Худадовой.

приключения, сказал, что итальянки слывут очаровательными, пообещал доставить ему в Неаполе разные утонченные удовольствия благодаря имевшейся у меня рекомендации к некоему синьору Микелю Аморозо, знакомство с которым весьма полезно для иностранцев, — и он поддался искушению.

II

Мы сели в скорый поезд в четверг вечером 26 июня. В это время года никто не ездит на юг, и мы оказались в вагоне одни. Оба были в дурном настроении, досадуя на то, что покидаем Париж, недовольные, что навязали себе это путешествие, с сожалением вспоминая тенистый Марли, прекрасную Сену, отлогие берега, славные дни прогулок на лодке, славные вечера, когда так хорошо дремлется на берегу, пока спускается ночь.

Поль забился в уголок и, когда поезд тронулся, заявил:

— До чего же глупо пускаться в такое путешествие.

Так как он уже не мог изменить своего решения, я сказал в ответ:

— Не надо было ехать.

Он промолчал. Но вид у него был такой серди-

тый, что я чуть не расхохотался. Он, безусловно, похож на белку. Каждый из нас сохраняет под своим человеческим обликом черты какого-нибудь животного, нечто вроде признаков своей первоначальной породы. Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, с козлиной, кроличьей, лисьей, лошадиной, бычьей головой! Поль — это белка, превратившаяся в человека. У него те же живые глазки, рыжая шерстка, острый носик, небольшое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и во всем облике его есть какое-то сходство с этим зверьком. Как бы это сказать? Сходство в жестах, движениях и повадке, словно какое-то смутное воспоминание о прежнем существовании.

Наконец мы оба заснули, как спят в вагоне, — сном, который беспрестанно прерывается из-за шума, из-за судорог в руках или шее, из-за внезапных остановок поезда.

Мы проснулись, когда поезд шел уже вдоль берега Роны. И вскоре в окно ворвалось стрекотание кузнечиков, то непрерывное стрекотание, которое кажется голосом самой нагретой земли, песней Прованса; оно пахнуло нам в лицо, в грудь, в душу радостным ощущением юга, запахом раскаленной почвы, каменистой и солнечной

родины приземистого оливкового дерева с его серо-зеленой листвой.

Когда поезд остановился у станции, железнодорожный служащий промчался вдоль состава, звонко выкрикивая: «Валанс!» — по-настоящему, подлинным местным говором, и это «Валанс», как перед тем скрежещущее стрекотание кузнечиков, снова заставило нас всем существом ощутить вкус Прованса.

До Марселя ничего нового.

В Марселе мы вышли позавтракать в буфете.

Когда мы вернулись в вагон, там сидела женщина.

Поль бросил мне восхищенный взгляд; машинальным движением он подкрутил свои короткие усики, поправил прическу, проведя пятерней, словно гребнем, по волосам, сильно растрепавшимся за ночь. Потом уселся против незнакомки.

Всякий раз, когда — в дороге или в обществе — передо мной появляется новое лицо, меня неотступно преследует желание разгадать, какая душа, какой ум, какой характер скрываются за этими чертами.

То была молодая женщина, совсем молоденькая. И прехорошенькая, — без сомнения, дочь

юга. У нее были чудесные глаза, великолепные черные волосы, волнистые, слегка вьющиеся, до того густые, жесткие и длинные, что казались тяжелыми, и стоило только взглянуть на них, чтобы сразу ощутить на голове их бремя. Одетая нарядно и по-южному несколько безвкусно, она казалась немного вульгарной. Правильные черты ее лица были лишены той грации, того легкого изящества, утонченности, которые присущи от рождения детям аристократии и являются как бы наследственным признаком более благородной крови.

Ее браслеты были слишком широки, чтобы их можно было принять за золотые, прозрачные камни в серьгах слишком велики для бриллиантов, да и во всем ее облике было что-то простонародное. Чувствовалось, что она, должно быть, привыкла говорить чересчур громко и по любому поводу кричать, буйно жестикулируя.

Поезд тронулся.

Она сидела неподвижно, устремив хмурый взгляд перед собой, с обиженным и раздосадованным видом. На нас она даже не взглянула.

Поль завел со мной беседу, высказывая вещи, рассчитанные на эффект, и стараясь привлечь ее внимание, блеснуть искусной фразой, осле-

пить красноречием, подобно торговцу, который выставляет отборный товар, чтобы разжечь покупателя.

Но она, казалось, ничего не слышала.

— Тулон! Остановка десять минут! Буфет! — прокричал кондуктор.

Поль сделал мне знак выйти и, как только мы очутились на платформе, спросил:

— Скажи, пожалуйста, кто она, по-твоему?

Я рассмеялся:

— Вот уж не знаю. Да мне это совершенно безразлично.

Он был очень возбужден.

— Она чертовски хорошенькая и свеженькая, плутовка! А какие глаза! Но вид у нее недовольный. У нее, должно быть, неприятности: она ни на что не обращает внимания.

Я проворчал:

— Зря стараешься.

Но он рассердился:

— Я вовсе не стараюсь, дорогой мой; я нахожу эту женщину очень хорошенькой, вот и все. А что, если заговорить с ней? Только о чем? Ну, посоветуй что-нибудь. Как ты думаешь, кто она такая?

— Право, не знаю. Вероятно, какая-нибудь актрисочка, которая возвращается в свою труппу

после любовного похождения.

Он принял оскорбленный вид, точно я сказал ему что-то обидное, и возразил:

— Из чего ты это заключаешь? Я, наоборот, нахожу, что у нее вид вполне порядочной женщины.

Я ответил:

— Мой милый, посмотри на ее браслеты, серьги, на весь ее туалет. Я не удивлюсь, если она окажется танцовщицей или, может быть, даже цирковой наездницей, но скорее всего, пожалуй, танцовщицей. Во всей ее внешности есть что-то от театра.

Эта мысль решительно не нравилась ему.

— Она слишком молода, дорогой мой, ей не больше двадцати лет.

— Но, мой милый, мало ли что можно проделывать и до двадцати лет! Танцы, декламация, не говоря уже о других вещах, которыми она, может быть, единственно и занимается.

— Экспресс на Ниццу — Вентимилью, занимайте места! — закричал кондуктор.

Пришлось войти в вагон. Наша соседка ела апельсин. Ее манеры в самом деле не отличались изысканностью. Она разостлала на коленях носовой платок, а то, как она снимала золотистую

корку, открывала рот, хватая губами дольки апельсина, и выплевывала зернышки в окно, изобличало простонародные привычки и жесты.

Она как будто еще больше насупилась и уничтожала апельсин с яростью, положительно забавной.

Поль пожирал ее взглядом, придумывая способ привлечь ее внимание, разбудить ее любопытство. И он снова пустился болтать со мною, изрекая множество изысканных мыслей, непринужденно упоминая о знаменитостях. Но она не обращала никакого внимания на его усилия.

Проехали Фрежюс, Сен-Рафаэль. Поезд мчался теперь среди пышных садов, по райской стране роз, через рощи цветущих апельсиновых и лимонных деревьев, покрытых одновременно и гроздьями белых цветов, и золотистыми плодами, среди благоухающего царства цветов, вдоль восхитительного побережья, которое тянется от Марселя до Генуи.

В этот край, где в тесных долинах и по склонам холмов свободно и дико растут прекраснейшие цветы, надо приезжать именно в июне. Куда ни взглянешь — повсюду розы: целые поля, равнины, изгороди, чащи роз. Они ползут по стенам, распускаются на крышах, взбираются на дере-

вья, сверкают среди листвы — белые, красные, желтые, мелкие или огромные, тоненькие, в простеньких однотонных платьицах, или мясистые, в тяжелом и пышном наряде.

Их непрерывное могучее благоухание сгущает воздух, придает ему вкус, насыщает его томлением. А еще более резкий запах цветущих апельсиновых деревьев словно подслащивает вдыхаемый воздух, превращая его в лакомство для обоняния.

Омываемое неподвижным Средиземным морем, расстилается побережье с темными скалами. Тяжкое летнее солнце огненной пеленой ниспадает на горы, на длинные песчаные откосы, на тяжелую, застывшую синеву моря. А поезд все мчится, вбегает в туннели, минуя мысы, скользит по волнистым холмам, пробегает над водой по отвесным, как стена, карнизам, и легкий, нежный солоноватый аромат, аромат сохнущих водорослей примешивается порой к сильному, волнующему запаху цветов.

Но Поль ничего не видел, ни на что не смотрел, ничего не чувствовал. Путешественница завладела всем его вниманием.

В Каннах, желая снова поговорить со мной, он опять сделал мне знак сойти.

Как только мы вышли из вагона, он взял меня под руку.

— Знаешь, она восхитительна. Посмотри на ее глаза. А волосы! Дорогой мой, да я никогда не видывал подобных волос!

Я сказал ему:

— Будет тебе, уймись — или, если уж ты решился, иди в наступление. Вид у нее не очень-то неприступный, хотя она и кажется порядочною злюкой.

Он продолжал:

— А не мог бы ты заговорить с ней? Я как-то теряюсь. Вначале я всегда дурацки робок. Я никогда не умел пристать к женщине на улице. Я иду за ней, кружусь возле нее, подхожу, но никогда не могу найти нужных слов. Один только раз я попытался начать беседу. Так как я совершенно ясно видел, что от меня ждут начала разговора и сказать что-нибудь было необходимо, я пробормотал: «Как поживаете, сударыня?» Она рассмеялась мне прямо в лицо, и я бежал.

Я обещал Полю употребить все свое искусство, чтоб завязать беседу, и, когда мы уселись, учтиво осведомился у соседки:

— Сударыня, вам не мешает табачный дым?

Она ответила:

— Non capisco[2].

Она была итальянка! Дикий приступ смеха овладел мной. Поль ни слова не знал по-итальянски, и я должен был служить ему переводчиком. Я приступил к исполнению своей роли и повторил, уже по-итальянски:

— Я спросил вас, сударыня, не мешает ли вам табачный дым?

Она сердито бросила:

— Che mi fa?

Она даже головы не повернула в мою сторону, не взглянула на меня, и я недоумевал, следует ли понять это «Какое мне дело?» как разрешение или как запрет, как свидетельство безразличия или просто как «Оставьте меня в покое».

Я продолжал:

— Сударыня, если дым мешает вам хоть немного…

Она ответила тогда «mica»[3] тоном, который означал: «Не приставайте ко мне!» Все же это было позволение, и я сказал Полю:

— Можешь курить.

Стараясь понять, он озадаченно глядел на меня,

---

[2] Сноски: 2
Не понимаю *(итал.).*

[3] Сноски: 3
Ничуть, нет *(итал.).*

как глядишь, когда рядом с тобой разговаривают на непонятном языке, и спросил:

— Что ты ей сказал?

— Я спросил у нее, можно ли нам курить.

— Она по-французски не говорит?

— Ни слова.

— Что же она ответила?

— Что она разрешает нам делать все, что угодно.

И я закурил сигару.

Поль продолжал:

— Это все, что она сказала?

— Мой милый, если бы ты сосчитал ее слова, ты заметил бы, что она произнесла их ровно шесть, из которых двумя она дала понять, что не знает французского языка. Значит, остается четыре. Ну а в четырех словах особенно много ведь не выскажешь.

Поль, казалось, был совсем уничтожен, обманут в своих ожиданиях, сбит с толку.

Но вдруг итальянка спросила меня все тем же недовольным тоном, который, по-видимому, был для нее обычен:

— Вы не знаете, в котором часу мы приедем в Геную?

— В одиннадцать часов вечера, сударыня, —

ответил я.

Помолчав немного, я продолжал:

— Мы с приятелем тоже едем в Геную и будем чрезвычайно счастливы, если сможем быть вам чем-нибудь полезны в пути.

Так как она не отвечала, я настаивал:

— Вы едете одна, и если нуждаетесь в наших услугах…

Она опять отчеканила новое «mica», и так резко, что я сразу замолчал.

Поль спросил:

— Что она тебе сказала?

— Она сказала, что находит тебя очаровательным.

Но он не был расположен шутить и сухо попросил не насмехаться над ним. Тогда я перевел ему вопрос нашей соседки и мое любезное предложение, встретившее такой суровый отпор.

Он волновался, точно белка в клетке. Он сказал:

— Если бы нам удалось узнать, в какой гостинице она остановится, мы поехали бы туда же. Постарайся как-нибудь половчее выспросить ее, придумай еще какой-нибудь предлог для разговора.

Но это было не так-то просто, и я совсем не знал,

что бы такое изобрести, хотя мне и самому хотелось познакомиться с этой неподатливой особой.

Проехали Ниццу, Монако, Ментону, и поезд остановился на границе для осмотра багажа.

Хотя я не выношу плохо воспитанных людей, которые завтракают и обедают в вагоне, я все же накупил целый запас провизии, чтобы испытать последнее средство: сыграть на аппетите нашей спутницы. Я чувствовал, что эта девица в обычных условиях должна быть сговорчивее. Она была раздражена какой-то неприятностью, но, вероятно, достаточно было любого пустяка, угаданного желания, одного какого-либо слова, кстати сделанного предложения, чтобы развеселить ее, привлечь на нашу сторону и покорить.

Поезд отошел. Нас по-прежнему было только трое в вагоне. Я разложил на скамейке свои припасы, разрезал цыпленка, красиво разместил на бумаге ломтики ветчины, потом нарочно пододвинул поближе к спутнице наш десерт: клубнику, сливы, вишни, пирожное и конфеты.

Увидев, что мы принялись за еду, она, в свою очередь, вытащила из мешочка шоколад и две подковки и стала грызть красивыми острыми зубами хрустящий хлеб и шоколадную плитку.

Поль сказал мне вполголоса:

— Угости же ее!

— Я это и собираюсь сделать, мой милый, но начать не так-то просто.

Между тем соседка время от времени искоса поглядывала на наши припасы, и я понял, что, покончив со своими двумя подковками, она еще не утолит голода. Я дал ей время завершить ее скромный обед, а затем сказал:

— Не окажете ли нам честь, сударыня, попробовать эти ягоды?

Она опять ответила «mica», но уже не таким сердитым тоном, как раньше. Я настаивал:

— В таком случае позвольте мне предложить вам немного вина. Я вижу, вы ничего не пили. Это вино вашей родины, вино Италии, и так как сейчас мы уже на вашей земле, нам было бы весьма приятно, если бы прелестный итальянский ротик принял подношение от соседей-французов.

Она тихонько покачала головой, упрямо отказываясь и в то же время готовая согласиться, и снова произнесла свое «mica», но почти вежливое «mica». Я взял бутылочку, оплетенную соломой на итальянский манер, наполнил стаканы и поднес ей.

— Выпейте, — сказал я, — пусть это будет приветствием по случаю приезда на вашу родину.

Она с недовольным видом взяла стакан и осушила его залпом, точно ее мучила жажда, после чего вернула его мне, даже не поблагодарив.

Тогда я предложил ей вишен:

— Кушайте, пожалуйста, сударыня. Вы же видите, что доставите нам большое удовольствие.

Она оглядела из своего угла фрукты, разложенные около нее, и проговорила так быстро, что я с трудом мог разобрать:

— A me non piacciono ne le ciliegie ne le susine; amo soltanto le fragole.

— Что она говорит? — тотчас же осведомился Поль.

— Она говорит, что не любит ни вишен, ни слив, а только клубнику.

Я положил ей на колени газету с клубникой. Она сейчас же с чрезвычайной быстротой принялась есть ягоды, захватывая их кончиками пальцев и подбрасывая себе в рот, который при этом весьма мило и кокетливо открывался.

Когда она покончила с красной кучкой, которая на наших глазах в течение каких-нибудь нескольких минут уменьшалась, таяла и совсем исчезла под ее проворными пальцами, я спросил:

— Что я еще могу вам предложить?

Она ответила:

— Я охотно съела бы кусочек цыпленка.

И она уписала, наверное, половину птицы, отгрызая огромные куски с ухватками плотоядного животного. Потом она решилась взять вишен, которых не любила, потом слив, потом пирожного, потом сказала: «Довольно» — и снова забилась в свой угол.

Это начинало меня забавлять; я хотел заставить ее съесть еще что-нибудь и удвоил комплименты и предложения, чтобы склонить ее к этому. Но она внезапно пришла в прежнюю ярость и выпалила мне прямо в лицо такое свирепое «mica», что я уже не осмеливался больше нарушать ее пищеварение.

Я обратился к приятелю:

— Бедняга Поль, мы, кажется, напрасно старались.

Медленно спускалась ночь, жаркая южная ночь, расстилая теплые тени по накаленной и усталой земле. Вдали, то тут, то там, со стороны моря, на мысах, на вершинах прибрежных скал зажигались огоньки, а на потемневшем горизонте начали появляться звезды, и я порой смешивал их с огнями маяков.

Аромат апельсиновых деревьев становился сильнее, и мы с упоением, глубоко, всей грудью

впивали его; какою-то негой, неземной отрадой, казалось, веяло в благовонном воздухе. И вдруг под деревьями, вдоль полотна, в темноте, теперь уже совсем сгустившейся, я увидел что-то вроде звездного дождя. Точно капельки света прыгали, порхали, резвились и перебегали в листве, точно крошечные звездочки упали с неба, чтоб поиграть на земле. То были светлячки, пылающие мушки, плясавшие в благоуханном воздухе причудливый огненный танец.

Один светлячок случайно залетел в наш вагон и стал порхать, мерцая своим перемежающимся светом, который то загорался, то угасал. Я задернул лампочку синей занавеской и следил за фантастической мушкой, носившейся взад и вперед по прихоти своего пламенеющего полета. Внезапно она уселась на черные волосы нашей соседки, уснувшей после обеда. И Поль замер в экстазе, не сводя взора с блестящей точки, которая сверкала на лбу спящей женщины, точно живая драгоценность.

Итальянка проснулась без четверти одиннадцать; светлячок все еще сидел у нее в волосах. Видя, что она зашевелилась, я сказал ей:

— Мы подъезжаем к Генуе, сударыня.

Не отвечая мне, она пробормотала, словно ее

преследовала навязчивая мысль:

— Что же мне теперь делать?

Потом вдруг спросила меня:

— Хотите, я поеду с вами?

Я был настолько поражен, что даже не понял.

— То есть как с нами? Что вы хотите сказать?

Она повторила, начиная еще больше раздражаться:

— Хотите, я поеду сейчас с вами?

— Ну, конечно; но куда же вы намерены ехать? Куда я должен отвезти вас?

Она пожала плечами с глубоким равнодушием.

— Куда вам будет угодно! Мне все равно.

И дважды повторила:

— Che mi fa?

— Но ведь мы едем в гостиницу.

Она презрительно проронила:

— Ну, что же, поедемте в гостиницу.

Я повернулся к Полю и сказал:

— Она спрашивает, желаем ли мы, чтобы она поехала с нами.

Мой друг был ошеломлен, и это помогло мне прийти в себя. Он пролепетал:

— С нами? Куда же? Зачем? Каким образом?

— Ничего не знаю! Она сделала мне это стран-

ное предложение самым раздраженным тоном. Я ответил ей, что мы едем в гостиницу; она заявила: «Ну, что же, поедемте в гостиницу!» У нее, наверное, совсем нет денег. Но как бы то ни было, она весьма своеобразно завязывает знакомства.

Поль, взволнованный, возбужденный, воскликнул:

— Ну, конечно, я согласен, скажи ей, что мы отвезем ее куда ей угодно!

Затем, после некоторого колебания, он с беспокойством добавил:

— Все-таки надо узнать, с кем она хочет ехать? С тобой или со мной?

Я повернулся к итальянке, которая впала в свое обычное равнодушие и, казалось, даже не слушала нас:

— Мы будем крайне счастливы, сударыня, взять вас с собой. Но только мой приятель хотел бы знать, на чью руку, мою или его, вы предпочли бы опереться?

Она посмотрела на меня, широко раскрыв большие черные глаза, и с легким изумлением проговорила:

— Che mi fa?

Я пояснил:

— Если я не ошибаюсь, у вас в Италии того

дружка, кто принимает на себя заботу о всех желаниях женщины, выполняет всякую ее прихоть и удовлетворяет всякий ее каприз, называют patito. Кого из нас хотели бы вы избрать своим patito?

Она, не колеблясь, ответила:

— Вас!

Я обернулся к Полю:

— Тебе не везет, мой милый, она выбирает меня.

Он с досадой проговорил:

— Тем лучше для тебя.

И после некоторого раздумья прибавил:

— Так ты в самом деле решил взять с собой эту девку? Она испортит нам все путешествие. Что мы станем делать с женщиной, которая бог знает на кого похожа? Да нас не пустят ни в одну порядочную гостиницу!

Но мне, как нарочно, итальянка начинала нравиться гораздо больше, чем вначале, и теперь я желал, да, желал непременно увезти ее с собой. Эта мысль приводила меня в восхищение, и я уже испытывал ту легкую дрожь ожидания, которая пробегает у нас по жилам в предвкушении ночи любви.

Я ответил:

— Мой милый, ведь мы согласились. Отступать уже поздно. Ты первый посоветовал мне дать ей утвердительный ответ.

Он проворчал:

— Это глупо! Впрочем, делай, как хочешь.

Поезд дал свисток, замедлил ход; мы приехали.

Я вышел из вагона и помог выйти моей новой подруге. Она легко спрыгнула на платформу, и я предложил ей руку, на которую она оперлась как будто с отвращением. Отыскав и получив багаж, мы отправились в город. Поль шагал молчаливо и нервно.

Я спросил его:

— Где же мы остановимся? Пожалуй, в «Город Париж» не очень-то удобно явиться с женщиной, в особенности с этой итальянкой.

Поль перебил меня:

— Именно, с итальянкой, которая больше смахивает на девку, чем на герцогиню. Ну да меня это не касается. Поступай, как знаешь!

Я стал в тупик. Я заранее написал в «Город Париж», чтобы за нами оставили помещение… но теперь… я уж и не знал, как мне быть.

Двое носильщиков несли за нами чемоданы. Я продолжал:

— Тебе следовало бы пойти вперед. Ты скажешь,

что мы сейчас придем. И, кроме того, ты дашь понять хозяину, что я с одной… приятельницей и что мы хотим получить совершенно отдельное помещение на троих, чтоб не встречаться с другими путешественниками. Он поймет, и, смотря по тому, что он нам ответит, мы и будем решать.

Но Поль проворчал:

— Благодарю, такие поручения и эта роль мне совершенно не подходят. Я приехал сюда не для того, чтобы заботиться о твоих апартаментах и удовольствиях.

Но я настойчиво убеждал:

— Да ну же, мой милый, не сердись. Гораздо лучше устроиться в хорошей гостинице, чем в плохой, и разве так уж трудно попросить у хозяина три отдельные комнаты со столовой?

Я подчеркнул «три», и это его убедило.

Он проследовал вперед, и я видел, как он вошел в большой подъезд красивой гостиницы, пока я на другой стороне улицы тащил под руку свою молчаливую итальянку, а двое носильщиков следовали за мною по пятам.

Наконец Поль вернулся, и лицо у него было такое же угрюмое, как и у моей спутницы.

— Нам дают помещение, — сказал он, — но комнат только две. Устраивайся как знаешь.

И я пошел за ним, стыдясь, что вхожу в гостиницу в обществе подозрительной спутницы.

Действительно, нам дали две комнаты, отделенные друг от друга небольшой гостиной. Я попросил, чтобы нам принесли холодный ужин, и нерешительно повернулся к итальянке:

— Нам удалось достать только две комнаты, сударыня, выбирайте, какую вам угодно.

Она ответила своим обычным: «Che mi fa?» Тогда я поднял с пола ее маленький черный деревянный ящик, настоящий сундучок горничной, и отнес его в комнату направо, которую я выбрал для нее… для нас. На четырехугольном клочке бумаги, наклеенном на ящике, было написано по-французски: «Мадемуазель Франческа Рондоли, Генуя».

Я спросил:

— Вас зовут Франческа?

Она не ответила и только утвердительно кивнула головой.

Я продолжал:

— Сейчас мы будем ужинать. Может быть, вы желаете пока привести в порядок туалет?

Она ответила своим «mica» — словом, которое повторялось в ее устах так же часто, как и «Che mi fa?». Я настаивал:

— После поездки по железной дороге так ведь приятно немного почиститься.

Потом я подумал, что у нее, быть может, не было с собой необходимых женщине туалетных принадлежностей, так как мне казалось, что она в затруднительном положении или только что выпуталась из неприятного приключения, — и я принес ей свой несессер.

Я вынул оттуда все находившиеся в нем туалетные принадлежности: щеточку для ногтей, новую зубную щетку — я всегда вожу с собой целый набор зубных щеток, — ножницы, пилочки, губки. Я откупорил флакон с душистой лавандовой водой и флакончик с new mown hay, предоставляя ей выбрать, что пожелает. Открыл коробочку с пудрой, где лежала легкая пуховка. Повесил на кувшин с водой одно из моих тонких полотенец и положил рядом с тазом непочатый кусок мыла.

Она следила за моими движениями большими сердитыми глазами: мои заботы, казалось, нисколько не удивляли ее и не доставляли ей никакого удовольствия.

Я сказал ей:

— Вот все, что вам может понадобиться. Когда ужин будет готов, я скажу вам.

И я вернулся в гостиную. Поль завладел другою

комнатой и заперся в ней, так что мне пришлось дожидаться в одиночестве.

Лакей то уходил, то приходил, принося тарелки, стаканы. Он медленно накрыл на стол, потом поставил холодного цыпленка и объявил, что все готово.

Я тихонько постучал в дверь мадемуазель Рондоли. Она крикнула: «Войдите». Я вошел. Меня обдал удушливый запах парфюмерии, резкий, густой запах парикмахерской.

Итальянка сидела на своем сундучке в позе разочарованной мечтательницы или уволенной прислуги. Я с первого же взгляда понял, что означало для нее привести в порядок свой туалет. Неразвернутое полотенце висело на кувшине, по-прежнему полном воды. Нетронутое сухое мыло лежало около пустого таза; но зато можно было подумать, что молодая женщина выпила по меньшей мере половину флаконов с духами. Правда, одеколон она пощадила, не хватало всего лишь трети бутылки; но она вознаградила себя неимоверным количеством лавандовой воды и new mown hay. Она так напудрила лицо и шею, что в воздухе, казалось, еще носился легкий белый туман, облако пудры. Ее ресницы, брови, виски были словно обсыпаны снегом; пудра ле-

жала на щеках словно штукатурка и толстым слоем заполняла все впадины на лице — крылья носа, ямочку на подбородке, уголки глаз.

Когда она встала, по комнате разнесся такой резкий запах, что я почувствовал приступ мигрени.

Сели ужинать. Поль был в отвратительном настроении. Я не мог вытянуть из него ничего, кроме воркотни, недовольных замечаний или ядовитых любезностей.

Мадемуазель Франческа поглощала еду, словно бездонная пропасть. Поужинав, она задремала на диване. Но я с беспокойством чувствовал, что приближается решительный час нашего размещения по комнатам. Решив ускорить события, я присел к итальянке и галантно поцеловал ей руку.

Она приоткрыла усталые глаза и бросила на меня из-под приподнятых век сонный и, как всегда, недовольный взгляд.

Я сказал ей:

— Так как у нас всего две комнаты, не разрешите ли мне поместиться в вашей?

Она ответила:

— Делайте, как вам угодно. Мне все равно. Che mi fa?

Это равнодушие укололо меня.

— Значит, вам не будет неприятно, если я пойду с вами?

— Мне все равно. Как хотите.

— Не желаете ли лечь сейчас?

— Да, я очень хочу спать.

Она встала, зевнула, протянула Полю руку, которую тот сердито пожал, и я посветил ей по дороге в нашу комнату.

Но беспокойство продолжало преследовать меня.

— Вот все, что вам может понадобиться, — повторил я снова.

И я самолично позаботился налить воды из кувшина в таз и положить полотенце около мыла.

Потом вернулся к Полю. Не успел я войти, как он объявил:

— Порядочную же дрянь ты притащил сюда!

Я засмеялся:

— Милый друг, не говори, что зелен виноград.

Он прибавил со скрытым ехидством:

— Смотри, дорогой мой, как бы не захворать от этого винограда!

Я вздрогнул, и меня охватила та мучительная тревога, которая преследует нас после подозрительных любовных приключений, тревога,

отравляющая нам самые очаровательные встречи, неожиданные ласки, случайно сорванные поцелуи. Однако я напустил на себя удальство:

— Ну, что ты, эта девушка не потаскуха.

Но теперь я был в руках этого мошенника! Он подметил на моем лице тень тревоги:

— Но ведь ты же о ней ничего не знаешь! Я поражаюсь тебе! Ты подбираешь в вагоне итальянку, путешествующую в одиночестве; с неподражаемым цинизмом она предлагает тебе провести с нею ночь в первой попавшейся гостинице. Ты берешь ее с собой. И еще утверждаешь, что это не девка! И уверяешь себя, будто не подвергаешься сегодня вечером такой же опасности, как если бы ты провел ночь в постели… женщины, больной оспой!

И он рассмеялся злым, раздраженным смехом. Я присел, терзаемый беспокойством. Что мне теперь делать? Ведь он прав. Во мне началась страшная борьба между желанием и страхом.

Он продолжал:

— Делай как знаешь, я тебя предупредил; только после не плакаться!

Но я уловил в его взгляде такую злую иронию, такую радость мести, он так дерзко издевался надо мною, что я не стал больше колебаться. Я

протянул ему руку.

— Спокойной ночи, — сказал я. — И ей-богу, милый мой, победа стоит опасности!

Где нет опасностей – там торжество без славы!

И я твердыми шагами вошел в комнату Франчески.

В изумлении, восхищенный, остановился я на пороге. Она уже спала на постели, совершенно нагая. Сон настиг ее, пока она раздевалась, и она лежала в прелестной величественной позе тициановской женщины.

Казалось, побежденная усталостью, она прилегла на кровать, когда снимала чулки — они лежали тут же на простыне; затем вспомнила о чем-то, должно быть о чем-нибудь приятном, потому что медлила вставать, а затем, незаметно закрыв глаза, тихо уснула. Вышитая по вороту ночная рубашка, купленная в магазине готовых вещей — роскошь начинающей, — валялась на стуле.

Она была очаровательна — молодая, крепкая и свежая.

Что может быть прелестнее спящей женщины! Это тело, все контуры которого так нежны, все

изгибы так пленительны, все мягкие округлости так смущают сердце, как будто создано для того, чтобы неподвижно покоиться в постели. Эта волнистая линия, которая, углубляясь у талии, приподнимается на бедре, а потом легко и изящно спускается по изгибу ноги, чтобы так кокетливо завершиться у кончиков пальцев, может обрисоваться во всей своей изысканной прелести лишь на простынях постели.

Одно мгновение, и я уже готов был позабыть благоразумные советы приятеля, но, повернувшись внезапно к туалетному столику, увидел, что все вещи находились на нем в том же положении, как я их и оставил; и я сел, томясь беспокойством, мучаясь своей нерешительностью.

По-видимому, я просидел так долго, очень долго, может быть, целый час, не отваживаясь ни на что — ни на атаку, ни на бегство. Впрочем, отступление было невозможно, и приходилось либо просидеть всю ночь на стуле, либо тоже улечься в постель на свой риск и страх.

Но там ли, тут ли — я все равно не мог и думать о сне: мысли мои были слишком возбуждены, а глаза слишком заняты.

Я вертелся во все стороны, дрожа, как в лихорадке, не находя себе места, взволнованный до

крайности. В конце концов я пошел на уступку: «Лечь в постель — еще ни к чему меня не обяжет. Во всяком случае, я с большим удобством отдохну на кровати, чем на стуле».

И я стал медленно раздеваться, а потом, перебравшись через спящую, растянулся вдоль стены, повернувшись спиной к искушению.

Так пролежал я долго, очень долго, не в силах уснуть.

Но вдруг соседка моя пробудилась. Она открыла удивленные и, как всегда, недовольные глаза, потом, заметив, что лежит голая, поднялась и стала преспокойно надевать ночную рубашку, точно меня там и не было.

Тогда... черт возьми... я воспользовался обстоятельствами, что ее, по-видимому, нисколько не смутило; она снова мирно уснула, склонив голову на правую руку.

А я долго еще размышлял о неблагоразумии и слабости человеческой. Затем наконец погрузился в сон.

Она поднялась рано, как женщина, привыкшая с утра работать. Вставая, она невольно разбудила меня, и я стал следить за нею из-под полуприкрытых век.

Она не спеша ходила по комнате, точно удив-

ляясь, что ей нечего делать. Потом решилась подойти к туалетному столику и в одно мгновение вылила на себя все духи, которые еще оставались в моих флаконах. Она воспользовалась, правда, и водой, но в весьма ограниченном количестве.

Одевшись, она уселась на свой сундук и, обняв руками колено, задумалась.

Я сделал вид, будто только что увидел ее, и сказал:

— С добрым утром, Франческа.

Но она, казалось, нисколько не стала любезнее со вчерашнего дня и проворчала:

— С добрым утром.

Я спросил:

— Вы хорошо спали?

Не отвечая, она утвердительно кивнула головой; я соскочил с кровати и подошел поцеловать ее.

Она нехотя подставила мне лицо, как ребенок, которого ласкают против его желания. Я нежно обнял ее (раз вино налито, надо его выпить) и медленно прикоснулся губами к ее большим сердитым глазам, которые она с досадой закрывала под моими поцелуями, к свежим щекам, к полным губам, которые она прятала от поцелуев.

Я сказал ей:

— Значит, вы не любите, когда вас целуют?

Она ответила:

— Mica.

Я сел рядом с ней на сундук и просунул свою руку под ее локоть:

— Mica! Mica! На все mica! Теперь я буду всегда называть вас мадемуазель Mica!

В первый раз я как будто заметил на ее губах тень улыбки, но она исчезла так быстро, что, может быть, я и ошибся.

— Но если вы всегда будете отвечать «mica», я совсем не буду знать, чем развлечь вас, чем доставить вам удовольствие. Вот сегодня, например, что мы будем делать?

Она поколебалась, словно какое-то подобие желания мелькнуло в ее сознании, и равнодушно проговорила:

— Мне все равно, что хотите.

— Хорошо, мадемуазель Mica, тогда мы возьмем коляску и поедем кататься.

Она пробурчала:

— Как хотите.

Поль ждал нас в столовой со скучающей физиономией третьего лица в любовном приключении. Я состроил восторженную мину и пожал ему руку

с энергией, полной торжествующих признаний.

Он спросил:

— Что ты намерен делать?

Я ответил:

— Сначала немного побродим по городу, а потом возьмем коляску и поедем куда-нибудь в окрестности.

Завтрак прошел в молчании, затем мы отправились по городу осматривать музеи. Я таскал Франческу под руку из одного дворца в другой. Мы побывали во дворце Спинола, во дворце Дориа, во дворце Марчелло Дураццо, в Красном дворце, в Белом дворце. Она ничем не интересовалась и лишь изредка окидывала шедевры искусства ленивым, безразличным взглядом. Поль сердито шел за нами и ворчал. Потом мы прокатились в коляске за город, причем все трое молчали.

Затем вернулись пообедать.

То же самое повторилось и назавтра и послезавтра.

На третий день Поль сказал:

— Знаешь, я намереваюсь расстаться с тобой; я не желаю сидеть здесь три недели и смотреть, как ты волочишься за этой девкой!

Я смутился и растерялся, так как, к моему величайшему изумлению, странным образом привя-

зался к Франческе. Человек слаб и неразумен, он увлекается пустяками и, когда его чувственность возбуждена или покорена, становится малодушным. Мне стала дорога эта девушка, которую я совсем не знал, эта девушка, молчаливая и вечно недовольная. Мне нравилось ее нахмуренное лицо, надутые губы, скучающий взгляд, нравились ее усталые движения, ее презрительная податливость на ласки, самое равнодушие ее ласк. Невидимые узы, те таинственные узы животной любви, та скрытая привязанность, которую порождает ненасытное желание, удерживали меня возле нее. Я все откровенно рассказал Полю. Он обозвал меня болваном, потом предложил:

— Ну что ж, возьми ее с собой.

Но она решительно отказалась уехать из Генуи и не желала объяснить причину. Я пустил в ход просьбы, обещания; ничего не помогло.

И я остался.

Поль объявил, что уезжает один. Он уложил даже свой чемодан, но тоже остался.

И вот прошло две недели.

Франческа, по-прежнему молчаливая и сердитая, жила скорее около меня, чем со мной, отвечая на все просьбы, на все мои предложения вечным своим «Che mi fa?» и не менее вечным «mica».

Мой приятель не переставал беситься. На все его гневные вспышки я неизменно отвечал:

— Если тебе здесь надоело, можешь уехать. Я тебя не удерживаю.

Тогда он начинал ругаться, осыпал меня упреками и кричал:

— Куда же прикажешь мне ехать? В нашем распоряжении было всего три недели, а две уже прошли! Уж нет времени теперь ехать дальше. И потом, я вовсе не собирался отправляться в Венецию, Флоренцию и Рим один! Но ты заплатишь мне за это, и гораздо дороже, чем думаешь. Незачем тащить человека из Парижа в Геную, чтобы запереть его в гостинице с итальянской потаскухой!

Я спокойно отвечал ему:

— Ну, что ж, тогда возвращайся в Париж.

И он вопил:

— Я так и сделаю, и не позже чем завтра!

Но и на следующий день, все так же злясь и ругаясь, он не уехал, как и накануне.

Нас теперь уже знали в городе, где мы бродили по улицам с утра до вечера, по узким улицам без тротуаров, придающим городу сходство с огромным каменным лабиринтом, прорезанным коридорами, которые напоминают подземные

ходы. Мы блуждали по этим проходам, где дует яростный сквозной ветер, по переулкам, сжатым между такими высокими стенами, что неба почти не видно. Встречные французы порой оглядывались на нас, с удивлением узнавая соотечественников, оказавшихся в обществе этой скучающей и крикливо одетой девицы, чьи манеры в самом деле казались странными, неуместными, компрометирующими.

Она шла, опираясь на мою руку, ничем не интересуясь. Почему же она оставалась со мной, с нами, если мы, по всей видимости, доставляли ей так мало удовольствия? Кто она? Откуда? Чем занимается? Есть ли у нее какие-нибудь планы, замыслы? Или она живет наудачу, случайными встречами и приключениями? Напрасно старался я понять ее, разгадать, объяснить себе. Чем больше я узнавал ее, тем больше она меня поражала и представлялась мне какой-то загадкой. Конечно, она не была распутницей, торгующей любовью. Скорее она казалась мне дочерью бедных родителей, которую соблазнили, обманом увезли, погубили, а теперь бросили. На что же она рассчитывала? Чего ожидала? Ведь она вовсе не старалась покорить меня или извлечь из меня какую-нибудь выгоду.

Я пытался расспрашивать ее, заговаривал с ней о ее детстве, о семье. Она не отвечала. И я оставался с ней, свободный сердцем, но плотью в плену, никогда не уставая держать в объятиях эту угрюмую и великолепную самку, соединяясь с нею, как животное, обуреваемый чувственностью, или, скорее, соблазненный и побежденный каким-то чувственным очарованием, молодым, здоровым, могучим очарованием, исходящим от нее, от ее ароматной кожи, от упругих линий ее тела.

Прошла еще неделя. Срок моего путешествия истекал: я должен был вернуться в Париж 11 июля. Поль теперь почти примирился с событиями, но продолжал браниться. Я же пытался изобретать удовольствия, развлечения, прогулки, чтобы позабавить любовницу и друга; я просто из кожи лез.

Однажды я предложил им экскурсию в Санта-Маргарета. Этот очаровательный, окруженный садами городок прячется у подножия скалистого берега, который выдается далеко в море, до самого поселка Порто-Фино. Мы отправились втроем по чудесной дороге, которая извивалась вдоль горы. Вдруг Франческа сказала мне:

— Завтра я не смогу с вами гулять. Я пойду к

родным.

И замолчала. Я не расспрашивал ее, так как был уверен, что она все равно ничего не ответит.

На следующий день она действительно встала очень рано. Так как я еще лежал, она села на постель у меня в ногах и робко, нерешительно проговорила:

— Если я вечером не вернусь, вы зайдете за мной?

— Ну, конечно. А куда мне зайти?

Она стала объяснять:

— Вы пойдете по улице Виктора-Эммануила, потом свернете в пассаж Фальконе и переулок Сан-Рафаэль и увидите дом торговца мебелью; в правом флигеле в глубине двора спросите госпожу Рондоли. Я буду там.

И она ушла. Мне показалось это весьма странным.

Увидев меня одного, Поль изумился и пробормотал:

— Где же Франческа?

Я рассказал ему все, что произошло.

Он воскликнул:

— Ну, мой дорогой, давай воспользуемся случаем и дадим тягу! Все равно нам уже пора. Двумя днями позже или раньше — это дела не меняет. В

путь, в путь, укладывай чемоданы! В путь!

Я не соглашался:

— Но, милый друг, не могу же я бросить так эту девушку, прожив с ней почти три недели. Я должен проститься с ней, уговорить ее принять от меня что-нибудь; нет, нет, иначе я оказался бы просто подлецом.

Но он ничего не хотел слушать, торопил меня, не давал мне покоя. Однако я не уступал.

Я не выходил из дома весь день, дожидаясь возвращения Франчески. Она не вернулась.

Вечером, за обедом, Поль торжествовал:

— Это она тебя бросила, дорогой мой. Вот забавно, ужасно забавно!

Признаюсь, я был удивлен и немного обижен. Он хохотал мне в лицо, насмехался надо мной.

— Способ хоть и простой, но придуман неплохо: «Подождите меня, я вечером вернусь». Долго ты намерен ее ждать? Да и как знать, ты, быть может, будешь так наивен, что еще пойдешь разыскивать ее по указанному адресу. «Здесь живет госпожа Рондоли?» — «Такой здесь нет, сударь». Держу пари, что ты собираешься идти.

Я протестовал:

— Да нет же, мой милый, уверяю тебя, что, если она не вернется завтра утром, я уеду в восемь

часов, скорым поездом. Я прожду ее двадцать четыре часа. Этого достаточно: моя совесть будет спокойна.

Весь вечер мне было не по себе; я немного тосковал, немного нервничал. Право же, я к ней привязался. В полночь я лег. Спал очень плохо.

В шесть часов я был уже на ногах. Я разбудил Поля, уложил чемодан, и два часа спустя мы ехали во Францию.

III

Вышло так, что на следующий год, в то же самое время, меня, подобно приступу перемежающейся лихорадки, снова охватило желание увидеть Италию. Я немедленно решил предпринять это путешествие, потому что для образованного человека посетить Венецию, Флоренцию и Рим, конечно, необходимо. Кроме того, это ведь дает много тем для разговора в обществе и возможность произносить избитые фразы об искусстве, которые всегда кажутся необычайно глубокомысленными.

На этот раз я отправился один и приехал в Геную в тот же час, что и в прошлом году, но уже без всяких дорожных приключений. Остановился я в той же гостинице и случайно оказался в той же

самой комнате!

Но едва я лег в постель, как воспоминание о Франческе, уже накануне смутно витавшее в моем сознании, стало преследовать меня с удивительной настойчивостью.

Знакома ли вам эта неотвязная мысль о женщине, преследующая вас при возвращении спустя долгое время в те места, где вы любили ее и обладали ею?

Это одно из самых сильных и самых тягостных ощущений, какие я только знаю. Чудится: вот она войдет, улыбнется, раскроет объятия. Ее образ, зыбкий и в то же время отчетливый, то возникает перед вами, то ускользает, овладевает вами, заполняет вам сердце, волнует ваши чувства своим призрачным присутствием. Ваш взор видит ее, вас преследует аромат ее духов, на губах вы ощущаете ее поцелуи, на коже — ласку ее тела. Вы сейчас один, вы это сознаете, но вас томит неизъяснимое волнение, порожденное этим призраком. И гнетущая, надрывающая душу тоска охватывает вас. Кажется, будто только что вас по-кинули навсегда. Все предметы приобретают мрачное значение и вселяют в сердце, в душу тягостное чувство одиночества и забвения. О, не возвращайтесь никогда в город, в дом, в комнату,

в лес, в сад, на скамью, где вы держали в объятиях любимую женщину!

Всю ночь меня преследовало воспоминание о Франческе, и мало-помалу желание увидеть ее вновь овладевало мной, желание сначала смутное, потом все более сильное, острое, жгучее. Я решил провести в Генуе следующий день и попытаться ее разыскать. Если это не удастся, я уеду с вечерним поездом.

И вот с утра я принялся за поиски. Я прекрасно помнил указания, которые она дала, расставаясь со мною. Улица Виктора-Эммануила — пассаж Фальконе — переулок Сан-Рафаэль — дом торговца мебелью — в глубине двора — правый флигель.

Я нашел дорогу, хоть и не без труда, и постучался в дверь ветхого домика. Открыла толстая женщина, должно быть, изумительно красивая когда-то, но теперь лишь изумительно грязная. Хотя она была чересчур жирна, в чертах ее лица все же сохранилось необыкновенное величие. Пряди ее растрепанных волос ниспадали на лоб и плечи, а под широким капотом, испещренном пятнами, колыхалось жирное, дряблое тело. На шее у нее было огромное позолоченное ожерелье, а на руках великолепные генуэзские филигран-

ные браслеты.

Она неприветливо спросила:

— Что вам нужно?

Я отвечал:

— Не здесь ли живет мадемуазель Франческа Рондоли?

— А на что она вам?

— Я имел удовольствие встретиться с нею в прошлом году, и мне хотелось бы вновь повидать ее.

Старуха изучала меня недоверчивым взглядом.

— А скажите, где вы с ней встретились?

— Да здесь же, в Генуе!

— Как вас зовут?

Я слегка замялся, но назвал себя. И лишь только я произнес свое имя, итальянка простерла руки, словно собираясь меня обнять.

— Ах, вы тот самый француз, как я рада вас видеть! Но до чего же вы огорчили бедную девочку! Она ждала вас целый месяц, сударь, да, целый месяц. В первый день она думала, что вы за ней зайдете. Она хотела знать, любите вы ее или нет! О, если бы вы знали, как она плакала, когда поняла, что вы уже не придете! Да, сударь, она все глаза выплакала! Потом она отправилась в гостиницу. Но вас уже не было. Тогда она подумала,

что вы поехали дальше по Италии и еще будете в Генуе на обратном пути и тогда зайдете за ней, потому что она-то ведь не хотела ехать с вами. И она прождала вас больше месяца, — да, сударь! — и скучала, уж как скучала! Я ведь ее мать!

По правде сказать, я пришел в некоторое замешательство. Но оправился и спросил:

— А сейчас она здесь?

— Да нет, сударь, она в Париже, с одним художником, прекрасным молодым человеком, который очень любит ее, сударь, уж так любит, и дарит ей все, чего она только ни захочет. Вот посмотрите, что она мне посылает, своей матери. Правда, красивые?

И с чисто южной живостью она показала свои широкие браслеты и тяжелое ожерелье. Она продолжала:

— У меня есть еще двое серег с камнями, и шелковое платье, и кольца; но по утрам я их не ношу, а вот только когда приоденусь куда-нибудь. Она сейчас очень счастлива, сударь, очень счастлива. Вот уж она будет рада, когда я ей напишу, что вы были! Да зайдите же, сударь, присядьте. Зайдите, выпейте чего-нибудь.

Я отказывался, — теперь мне хотелось уехать с первым же поездом. Но она схватила меня за

руку и потащила в дом, приговаривая:

— Зайдите, сударь, должна же я ей написать, что вы побывали у нас.

И я очутился в небольшой, довольно темной комнате, где стояли стол и несколько стульев.

Итальянка снова заговорила:

— О, сейчас она очень счастлива, очень счастлива! Когда вы повстречали ее на железной дороге, у нее было большое горе. Ее дружок бросил ее в Марселе. И она возвращалась домой одна, бедняжка. Вы ей сразу же очень понравились, но, понимаете, она ведь тогда еще немножко грустила. Теперь она ни в чем не нуждается; она пишет мне обо всем, что делает. Его зовут господин Бельмен. Говорят, он у вас известный художник. Он встретил ее на улице, да, сударь, так прямо на улице, и тут же влюбился в нее. Но не хотите ли стаканчик сиропу? Очень вкусный сироп. А вы что же, совсем одни в этом году?

Я ответил:

— Да, совсем один.

После сообщений г-жи Рондоли мое первое разочарование рассеялось, и я чувствовал теперь все большее и большее желание расхохотаться. Сироп пришлось выпить.

Она продолжала:

— Вы так-таки совсем одни? О, как жаль, что больше нет Франчески: она составила бы вам компанию, пока вы здесь. Разгуливать одному совсем не весело; она тоже будет очень жалеть.

Затем, когда я поднимался из-за стола, она воскликнула:

— А не хотите ли, чтобы с вами пошла Карлотта? Она прекрасно знает все места для прогулок. Это моя вторая дочь, сударь, вторая.

По-видимому, она приняла мое изумление за согласие и, бросившись к двери, крикнула в темноту невидимой лестницы:

— Карлотта! Карлотта! Сойди сюда, доченька, скорее, скорее.

Я пытался возражать, но она настаивала на своем:

— Нет, нет, она составит вам компанию; она очень покладистая и гораздо веселее той; это хорошая девушка, прекрасная девушка, я ее очень люблю.

Я услышал шарканье шлепанцев на ступеньках лестницы, и появилась высокая черноволосая девушка, тоненькая и хорошенькая, но тоже растрепанная; под старым материнским платьем я угадывал молодое, стройное тело.

Г-жа Рондоли тотчас же ознакомила ее с моим

положением:

— Это француз Франчески, знаешь, тот, прошлогодний. Он пришел за ней; он нынче, бедненький, совсем один. И я сказала ему, что ты пойдешь с ним, чтобы составить ему компанию.

Карлотта посмотрела на меня красивыми карими глазами и, улыбаясь, прошептала:

— Если он хочет, я с удовольствием.

Как я мог отказаться? Я объявил:

— Ну, конечно, очень хочу.

Г-жа Рондоли подтолкнула ее к двери:

— Иди оденься, только скорей, скорей. Надень голубое платье и шляпу с цветами, да поторапливайся!

Когда дочь вышла, она пояснила:

— У меня есть еще две, но они моложе. Каких денег стоит, сударь, вырастить четырех детей! Хорошо, что хоть старшая теперь устроилась.

Потом она стала рассказывать мне о своей жизни, о покойном муже, служившем на железной дороге, и о всех достоинствах своей второй дочери, Карлотты.

Девушка скоро вернулась; она была одета во вкусе своей старшей сестры — в яркое и нелепое платье.

Мать оглядела ее с ног до головы, нашла, что

все в порядке, и сказала нам:

— Ну, теперь ступайте, дети мои!

Потом обратилась к дочери:

— Смотри, только не возвращайся позже десяти часов; ты ведь знаешь, что дверь заперта.

Карлотта ответила:

— Не беспокойся, мама!

Она взяла меня под руку, и мы пошли с ней бродить по улицам, как в прошлом году с ее сестрой.

К завтраку я вернулся в гостиницу, потом повез мою новую подругу в Санта-Маргарета, повторяя мою последнюю прогулку с Франческой.

А вечером она не вернулась домой, помня, что дверь после десяти часов была, наверно, заперта.

И в течение двух недель, бывших в моем распоряжении, я гулял с Карлоттой по окрестностям Генуи. Она не заставила меня пожалеть о своей сестре.

Я покинул ее в день своего отъезда всю в слезах, оставив подарок для нее и четыре браслета для матери.

В ближайшие дни я собираюсь снова съездить в Италию и с некоторым беспокойством, но и с надеждой думаю о том, что у г-жи Рондоли есть еще две дочери.

Отшельник

Вместе с моими друзьями я отправился взглянуть на старого отшельника, который поселился на древнем могильном холме, поросшем большими деревьями посреди широкой равнины между Каннами и Напулем.

Возвращаясь, мы говорили об этих странных мирских пустынниках, ранее столь многочисленных, но почти вымерших в наши дни. Мы искали, мы пытались определить, какие моральные причины, какого рода несчастья побуждали людей в былые времена спасаться в одиночестве.

Один из моих спутников сказал вдруг:

— Я знал двух отшельников, мужчину и женщину. Женщина, должно быть, еще жива. Она жила лет пять тому назад среди развалин, на вершине совершенно необитаемой горы, на побережье Корсики, в пятнадцати или двадцати километрах от всякого жилья. Она жила там со своей служанкой; я посетил ее. В прошлом это была несомненно изящная светская женщина. Она приняла меня вежливо и даже приветливо, но я ничего о ней не знаю и ни о чем не мог

догадаться.

Что же касается мужчины, то я вам расскажу, какой с ним произошел ужасный случай.

Обернитесь назад. Видите вон там, за Напулем, острую, поросшую лесом гору, которая выступает перед вершинами Эстереля? Здесь ее зовут Змеиной горой. На ней-то, в маленьком античном храме, и спасался мой отшельник лет двенадцать тому назад.

Прослышав о нем, я решил с ним познакомиться и вот в одно прекрасное мартовское утро отправился туда из Канн верхом. Оставив лошадь на постоялом дворе в Напуле, я начал взбираться пешком на этот странный конус, вышиной, вероятно, в полтораста или двести метров, поросший ароматическими растениями, по преимуществу ладанником, крепкий и резкий запах которого дурманит и вызывает недомогание. По каменистому склону то и дело скользят длинные ужи, исчезающие в траве. Отсюда вполне заслуженное название Змеиной горы. Бывают дни, когда змеи как бы рождаются у вас под ногами при подъеме по склону, залитому солнцем. Их так много, что боишься ступить и испытываешь какое-то странное беспокойство — не страх, потому что ужи безвредны, но что-то вроде мистического ужаса.

У меня много раз появлялось удивительное ощущение, будто я поднимаюсь на священную гору древности, на необычайный холм, благоуханный и таинственный, поросший ладанником, населенный змеями и увенчанный храмом.

Этот храм существует и поныне. То есть меня уверили, что это храм. А я и не пытался узнать больше, чтобы не испортить себе впечатления.

Итак, в одно мартовское утро я взобрался на эту гору полюбоваться видом. Дойдя до вершины, я действительно увидел стены храма и человека, сидевшего на камне. Ему было никак не более сорока пяти лет, хотя волосы у него уже совсем поседели; но борода была еще почти черная. Он гладил кошку, свернувшуюся у него на коленях, и, казалось, не обратил на меня никакого внимания. Я обошел вокруг развалин, часть которых, перекрытая ветками, соломой, травой и отгороженная камнями, служила этому человеку жильем, и снова вернулся к тому месту, где он сидел.

Оттуда открывался изумительный вид. Справа причудливые остроконечные вершины Эстереля, за ними безбрежное море, простирающееся до далеких, изрезанных бухтами берегов Италии, и прямо против Канн — острова Лерин, зеленые,

плоские, как бы плывущие по морю; на последнем из них, со стороны моря, высокий старинный замок, с зубчатыми башнями, поднимается прямо из воды.

А над зеленым берегом, над длинными четками белых вилл, над белыми городами, выстроенными среди деревьев и похожими издали на бесчисленные яйца, снесенные на берегу, встают Альпы, с вершинами, покрытыми снежными шапками.

Я прошептал:

— Боже, какая красота!

Человек поднял голову и сказал:

— Да, но когда видишь это зрелище изо дня в день, оно надоедает.

Так, значит, он разговаривал, этот отшельник, он мог беседовать и скучал. Тогда он в моих руках.

В этот день я пробыл с ним недолго и попытался только определить характер его мизантропии. Он произвел на меня прежде всего впечатление человека, уставшего от людей, пресыщенного всем, безнадежно разочарованного и полного отвращения к себе и к окружающему.

Я расстался с ним после получасовой беседы. Неделю спустя я вернулся опять, потом пришел

еще через неделю и наконец стал ходить еженедельно, так что не прошло двух месяцев, как мы сделались друзьями.

И вот, как-то вечером, в конце мая, я решил, что нужный момент настал, и, захватив с собой провизию, отправился на Змеиную гору пообедать вместе с отшельником.

Был один из тех благоуханных вечеров юга, страны, где цветы разводят, как на севере — рожь, где изготовляют почти все душистые эссенции для женских тел и женских платьев; один из тех вечеров, когда ароматы бесчисленных апельсиновых деревьев в каждом саду, в каждом уголке долины волнуют и навевают истому, пробуждая даже в стариках мечты о любви.

Мой пустынник, видимо, обрадовался мне и охотно согласился разделить со мной обед.

Я уговорил его выпить немного вина, от которого он успел отвыкнуть; он оживился и начал рассказывать мне о своем прошлом. Он постоянно жил в Париже и, насколько я мог понять, вел веселую жизнь.

Неожиданно я спросил его:

— Почему, собственно, вам вздумалось взобраться на эту гору?

Он тотчас же ответил:

— Я пережил самое сильное потрясение, какое только может испытать человек. Но к чему скрывать от вас мое несчастье? Может быть, оно пробудит в вас жалость ко мне. И потом… я никогда еще никому об этом не рассказывал… никогда… и хотел бы знать… в конце концов… что подумают другие… как они на это посмотрят…

Я родился в Париже, получил образование в Париже, вырос и прожил всю жизнь в этом городе. Родители оставили мне ренту в несколько тысяч франков, а по протекции я получил спокойную и скромную должность, так что для холостяка был довольно богатым человеком.

С самых ранних лет я вел холостяцкую жизнь. Вы понимаете, что это значит. Свободный, без семьи, твердо решив не обзаводиться супругой, я проводил три месяца с одной женщиной, полгода с другой, а иногда жил по году без любовницы, выбирая себе случайных подруг среди множества доступных или продажных женщин.

Это банальное и, если хотите, пошлое существование вполне подходило мне, так как удовлетворяло мою природную склонность к переменам и к праздности. Я проводил жизнь на бульварах, в театрах и в кафе, всегда на людях, почти как бездомный, хотя имел хорошую

квартиру. Я был один из множества тех людей, которые плывут по течению, как пробка по воде, для которых стены Парижа — это стены мира и которые не заботятся ни о чем, потому что ничего не любят. Я был, что называется, славный малый, без достоинств и без недостатков. Вот и все. Я даю себе вполне точную оценку.

Так протекала моя жизнь с двадцати до сорока лет, медленно и стремительно, без особых событий. Как быстро пролетают они, эти однообразные годы парижской жизни, не оставляя в памяти никаких воспоминаний, отмечающих даты, эти долгие и быстротечные, банальные и веселые годы, когда пьешь, ешь, смеешься, сам не зная почему, когда тянешься губами ко всему, что можно отведать или поцеловать, — и ничего, в сущности, не желаешь! Уж молодость прошла, уже старишься, так и не сделав ничего, что делают другие, не приобретя никаких привязанностей, никаких корней, никаких связей, почти без друзей, и нет у тебя ни родных, ни жены, ни детей!

Итак, я безмятежно достиг сорокалетнего возраста и, чтобы отпраздновать день своего рождения, угостил сам себя хорошим обедом в большом кафе. Я был одинок, и мне показалось за-

бавным отпраздновать этот день в одиночестве.

После обеда я начал раздумывать, что делать дальше. Сперва мне захотелось пойти в театр, но потом я решил совершить паломничество в Латинский квартал, где когда-то изучал право. И вот я отправился туда через весь Париж и случайно зашел в пивную, где прислуживали девушки.

Та, которая подавала за моим столиком, была еще совсем молоденькая, хорошенькая и веселая. Я предложил ей выпить со мной, и она тотчас же согласилась. Она уселась напротив меня и, желая узнать, с каким типом мужчины имеет дело, окинула меня опытным взглядом. Это была совсем светлая блондинка, свежее, ослепительно свежее создание; под натянутой материей корсажа угадывалось розовое, упругое тело. Я наговорил ей множество пустых любезностей, какие обычно говорят подобным женщинам, но так как она действительно была очаровательна, мне пришла вдруг мысль увести ее с собой… опять-таки, чтобы отпраздновать мое сорокалетие. Уговорить ее удалось быстро и без труда. Она была свободна… вот уже две недели, по ее словам… и для начала согласилась поужинать со мной, после окончания работы, в кабачке возле Крытого рынка.

Боясь, что она меня обманет, — ведь не угада-

ешь, что может случиться, кто может зайти в пивную или что взбредет в голову женщине, — я просидел в этой пивной весь вечер, поджидая ее.

Я тоже был свободен уже месяц или два и, глядя, как переходила от столика к столику эта прелестная дебютантка на поприще Любви, подумывал, не заключить ли мне с нею контракт на некоторое время. Я ведь вам рассказываю сейчас одно из самых пошлых и обыденных приключений парижанина.

Извините за эти грубые подробности. Те, кому не довелось испытать поэтическую любовь, выбирают женщину, как котлету в мясной, не заботясь ни о чем, кроме качества товара.

Итак, мы отправились к ней, потому что собственная постель для меня священна. Это была комнатка работницы, на пятом этаже, чистенькая и бедная; я приятно провел здесь два часа. Она оказалась на редкость милой и привлекательной, эта девочка!

Перед уходом я условился о следующем свидании с девушкой, еще лежавшей в постели, подошел к камину, чтобы оставить на нем традиционный подарок, и окинул беглым взглядом часы под стеклянным колпаком, две вазы с цветами и две фотографии, одна из которых, очень

старая, представляла собою отпечаток на стекле — так называемый дагерротип. Случайно нагнувшись над ней, я замер от удивления, я был настолько поражен, что ничего не мог понять… Это был мой собственный портрет, первый из моих портретов… снятый давным-давно, когда я, еще студентом, жил в Латинском квартале.

Я порывисто схватил карточку, чтобы разглядеть ее поближе. Да, сомнений быть не могло… Я чуть не расхохотался, до того все это показалось мне неожиданным и забавным.

Я спросил:

— Что это за господин?

Она ответила:

— Это мой отец; я никогда его не видела. Мама оставила мне карточку и сказала, чтобы я ее берегла, что она мне когда-нибудь еще может пригодиться.

Она помолчала, потом засмеялась и продолжала:

— По правде сказать, я не знаю, на что она может пригодиться. Не думаю, чтобы отец объявился и признал меня.

Сердце мое билось с бешеной скоростью; так мчится лошадь, закусившая удила. Я положил портрет обратно на камин и, плохо понимая, что

делаю, накрыл его сверху двумя бумажками по сто франков, оказавшимися у меня в кармане, и убежал, крикнув ей:

— До свидания… до скорого свидания… дорогая.

И слышал, как она ответила:

— До вторника.

Я очутился на темной лестнице и ощупью спустился по ней.

Выйдя из подъезда, я заметил, что идет дождь, и быстро свернул в первую попавшуюся улицу.

Я шел куда глаза глядят, ошеломленный, потрясенный, роясь в своих воспоминаниях. Возможно ли это? Да! Я вспомнил вдруг об одной девушке, которая приблизительно через месяц после нашего разрыва написала мне, что она беременна от меня. Я разорвал или сжег ее письмо и забыл о нем. Надо было взглянуть на женский портрет, стоявший у девочки на камине. Впрочем, мне вряд ли удалось бы ее узнать. Это, кажется, был портрет старой женщины.

Я дошел до набережной. Увидел скамейку и сел. Дождь не прекращался. Изредка мимо проходили люди под зонтами. Жизнь представилась мне во всей своей низости и подлости, полная позора и горя, сознательной и бессознательной

гнусности. Моя дочь!.. Быть может, я в самом деле только что обладал собственной дочерью!.. Париж, огромный Париж, мрачный, угрюмый, грязный, печальный, черный, за запертыми дверями своих домов был полон подобных ужасов, прелюбодеяний, кровосмесительства, растления детей. Я вспомнил рассказы об омерзительных развратниках, которые бродят под мостами.

Не ведая того, не желая, я поступил хуже этих негодяев. Я спал с собственной дочерью!

Я чуть не бросился в реку. Я обезумел! Я бродил по улицам до утра, потом вернулся домой, чтобы все обдумать.

Далее я поступил так, как мне казалось всего благоразумнее: поручил нотариусу вызвать девушку и расспросить ее, при каких обстоятельствах мать передала ей портрет того, кого считала ее отцом; я сказал нотариусу, что действую от имени друга.

Нотариус исполнил мое поручение. Женщина открыла дочери, кто ее отец, лишь на смертном ложе и в присутствии священника, имя которого мне указали.

Тогда от имени того же неизвестного друга я перевел на девушку половину моего состояния, около ста сорока тысяч, с тем чтобы она могла

пользоваться только рентой, потом подал в отставку и очутился тут.

Скитаясь вдоль побережья, я набрел на этот холм и остался здесь… Надолго ли?.. Не знаю!

Что вы думаете обо мне… и о том, что я сделал?

Я протянул ему руку и ответил:

— Вы поступили так, как надо. Большинство людей не придало бы такого значения этой ужасной роковой случайности.

Он ответил:

— Это так, но я-то, я чуть не сошел с ума. Оказалось, что у меня очень чувствительная душа, о чем я никогда не подозревал. А теперь я боюсь Парижа, как, должно быть, верующие боятся ада. Меня это оглушило, оглушило, как будто мне на голову свалилась черепица. В последнее время я чувствую себя несколько лучше.

Я расстался с моим отшельником. Рассказ его сильно взволновал меня.

Мы виделись еще два раза, потом я уехал, так как никогда не остаюсь на юге позже мая.

Когда я вернулся на следующий год, его уже не было на Змеиной горе, и больше я никогда о нем не слыхал.

Вот вам история моего отшельника.

Грезы

Происходило это после дружеского обеда, обеда старых друзей. Их было пятеро: писатель, врач и трое богатых холостяков, ничем не занятых.

Переговорили уже обо всем, и наступила усталость, обычная после пиршества и побуждающая к разъезду. Один из собеседников, молча смотревший на волнующийся, шумный бульвар, освещенный газовыми рожками, вдруг сказал:

— Когда ничего не делаешь с утра до вечера, дни тянутся без конца.

— И ночи также, — добавил его сосед. — Я совсем не сплю, развлечения меня утомляют, а разговоры все об одном и том же надоедают. Никогда не встречаю я новых мыслей и, прежде чем завязать беседу с кем бы то ни было, испытываю страстное желание совсем не говорить и ничего не слышать. Просто не знаю, куда мне девать вечера.

Третий бездельник провозгласил:

— Дорого дал бы я за средство приятно проводить хотя бы часа два в день.

К ним подошел писатель, уже перекинувший

через руку пальто.

— Человек, — сказал он, — который изобрел бы новый порок и преподнес его своим ближним, пусть даже это сократило бы их жизнь наполовину, оказал бы большую услугу человечеству, нежели тот, кто нашел бы средство обеспечить вечное здоровье и вечную юность.

Доктор рассмеялся и произнес, пожевывая сигару:

— Да, но не так-то просто это изобрести. Тем не менее, с тех пор как создан мир, человечество неутомимо ищет. Первые же люди сразу достигли в этом отношении больших успехов. Но нам не сравниться с ними.

Один из трех бездельников пробормотал:

— Жаль.

И тут же добавил:

— Получить бы только возможность спать, крепко спать, не ощущая ни жары, ни холода, спать с чувством того изнеможения, какое бывает после утомительных вечеров, спать без сновидений!

— Почему без сновидений? — спросил сосед.

Тот отвечал:

— Потому что сны не всегда приятны: они причудливы, неправдоподобны, бессвязны, и, когда

спишь, нет даже возможности по своему вкусу насладиться лучшим из них. Стало быть, надо грезить наяву.

— Кто же вам мешает? — спросил писатель.

Доктор бросил свою сигару.

— Мой милый, для того чтобы грезить наяву, необходимы внутренняя собранность и большая работа воли, а это вызывает сильную усталость. Настоящая греза наша, мысленная прогулка по миру очаровательных видений, несомненно, самое восхитительное, что есть на свете, но она должна возникать естественно, без напряжения; кроме того, она должна сопровождаться чувством физического блаженства. Такую грезу я могу вам предложить, но при условии, что вы дадите обещание не злоупотреблять ею.

Писатель пожал плечами:

— Ну да, знаю, это гашиш, опиум, зеленое варенье, искусственный рай. Бодлера я читал и даже отведал пресловутого зелья, от которого не на шутку расхворался.

Но доктор прочно расположился в кресле.

— Нет, это эфир, только эфир, и добавлю даже, что вам, писателям, не мешало бы иногда применять это средство.

Трое холостяков подошли ближе.

— Объясните нам его действие, — попросил один из них.

Доктор продолжал:

— Оставим в стороне громкие слова, не так ли? Я не говорю ни о медицине, ни о нравственности: я говорю о наслаждении. Вы ежедневно предаетесь излишествам, сокращающим вашу жизнь. Я же хочу обратить ваше внимание на новое ощущение, доступное лишь людям интеллекта, скажу даже, большого интеллекта; оно вредно, как все, что чрезмерно возбуждает наши органы, но восхитительно. Добавлю, что вам понадобится некоторая подготовка, то есть некоторая привычка, для того чтобы воспринять в полной мере своеобразное действие эфира.

Оно не похоже на действие, производимое гашишем, опиумом или морфием, и сразу же прекращается, как только прервано впитывание лекарства, тогда как другие возбудители грез продолжают действовать в течение многих часов.

Теперь я постараюсь как можно обстоятельнее разобраться в том, что ощущаешь при этом. Но задача эта не из легких, до того тонки, почти неуловимы эти ощущения.

Я применял это средство во время приступов ужаснейшей невралгии и с тех пор, быть может,

немного им злоупотреблял.

У меня была страшная головная боль, болела шея, а кроме того, был нестерпимый жар, лихорадочное состояние. Я взял большой пузырек эфира, улегся и начал медленно его вдыхать.

Через несколько минут мне послышался смутный шум, который вскоре перешел в какое-то гудение, и мне показалось, что все тело становится легким, легким, как воздух, и словно растворяется.

Затем наступило нечто вроде душевного оцепенения, приятное состояние дремоты, несмотря на продолжавшиеся боли, которые перестали, однако, быть мучительными. Это были уже такие страдания, с которыми примиряешься, а не та ужасная пытка, против которой восстает все наше измученное тело.

Своеобразное и восхитительное ощущение пустоты в груди вскоре расширилось; оно перешло на конечности, которые, в свою очередь, стали такими легкими, будто тело и кости растаяли и осталась одна кожа, для того чтобы я мог воспринять всю сладость этого дивного состояния. Я заметил, что больше не страдаю. Боль исчезла, как-то растаяла, растворилась. И я услышал голоса, четыре голоса, два диалога, но не мог

разобрать слов. То это были неясные звуки, то до меня как будто доходило какое-то слово. Но я понял, что это просто усилившийся шум в ушах. Я не спал, я бодрствовал: я понимал, чувствовал, рассуждал ясно, глубокомысленно, с необычайной силой и легкостью ума, испытывая странное упоение оттого, что мои умственные способности удесятерились.

Это не была греза, как под действием гашиша, это не были болезненные видения, вызываемые опиумом; это было чудесное обострение мышления, новый способ видеть мир, судить о нем, оценивать жизненные явления и при всем этом уверенность, убежденное сознание, что этот способ и есть самый настоящий.

И вдруг в моем уме возник библейский образ. Мне представлялось, что я вкусил от древа познания, что все тайны раскрыты передо мною, настолько я находился во власти новой, своеобразной, неопровержимой логики. И доводы, умозаключения, доказательства так и толпились в моем уме, а на смену им, опровергая их, тотчас же приходили другие доводы, умозаключения, доказательства, еще более сильные. Моя голова стала полем битвы идей. А я становился высшим существом, вооруженным непобедимейшей спо-

собностью мышления, и я наслаждался безумной радостью от сознания своего могущества…

Это продолжалось долго-долго. Я все еще вдыхал эфир из горлышка пузырька. Вдруг я заметил, что он пуст. И это ужасно меня огорчило.

Четверо слушателей в один голос запросили:

— Доктор, скорее рецепт на литр эфира!

Но доктор надел шляпу и ответил:

— Ну, нет: пусть вас отравляют другие!

И он ушел.

Милостивые государыни, милостивые государи, неужели вашему сердцу ничего не скажут эти строки?

Исповедь женщины

Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей, следовательно, я вольна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени.

Меня много любили, вы это знаете, и я сама часто любила. Я была очень красива; я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух — жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мною. Женщины нередко утверждают, что всей силой сердца любили только раз в жизни; мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу; тем не менее она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров.

Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно

неповинна, но которое повлекло за собою все дальнейшие.

Ужасная месть этого отвратительного аптекаря из Пека напомнила мне жуткую драму, которой я была невольной участницей.

Всего год, как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрве де Кер, бретонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь нуждается — так я, по крайней мере, полагаю — в свободе и одновременно в препятствиях. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом и церковью, — это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным.

Муж мой был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный, он высказывал суждения, рубившие, как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему

не имеют доступа те идеи, которые обновляют и оздоровляют ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна.

Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями; мох, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли «волчьей ямой», а на самом конце парка, на краю ланды, находились два больших пруда, заросших тростником и водорослями. Между ними на берегу соединявшего их ручья мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток.

Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданный моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за пять до того я привезла ее из Испании. Это был брошенный родителями ребенок. Темноглазая, со смуглым цветом лица, волосами, густыми, как лес, и постоянно растрепанными, она напоминала цыганку. В то время ей было шестнадцать лет, но на вид можно было дать двадцать.

Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя, и я обратила внимание на одного молодого

человека, барона де С., который зачастил к нам в замок. Затем он перестал приезжать, и я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось.

Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня, и, несмотря на то что он не входил более ко мне, — я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного одной, — я часто слышала по ночам осторожные шаги: они доходили до моей двери и через несколько минут удалялись.

Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказала об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил:

— Ничего, это сторож.

Однажды вечером, когда мы заканчивали обед, Эрве, казавшийся необычайно веселым, хотя веселость эта была притворной, спросил меня:

— Не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур.

Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со странной настойчивостью, я в конце концов ответила:

— Ну, разумеется, друг мой.

Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов. И предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным.

Но странно, что муж мой пришел вдруг в нервное состояние: он волновался весь вечер и был крайне возбужден, он то вскакивал с места, то снова садился. Около десяти часов он сказал мне:

— Вы готовы?

Я встала и, так как он сам принес мне мое ружье, спросила:

— Заряжать пулей или дробью?

Он удивился, затем ответил:

— О, одной дробью, этого будет достаточно, уверяю вас.

Затем спустя минуту добавил странным тоном:

— Вы можете похвалиться замечательным хладнокровием.

Я рассмеялась:

— Я? Почему? Хладнокровием, чтобы пойти и пристрелить лисицу? Что вам пришло в голову, друг мой?

И вот мы бесшумно двинулись к парку. Весь дом спал. Полная луна, казалось, окрашивала в желтый цвет старинное мрачное здание с блестевшей

шиферной кровлей. На коньках двух башенок по обеим сторонам замка отражался свет луны, и ни малейший шум не нарушал тишины этой светлой и печальной, нежной и душной ночи; она казалась мертвой. Ни малейшего движения воздуха, ни кваканья лягушки, ни гуканья совы; над всем нависло мрачное оцепенение.

Когда мы очутились под деревьями парка, на меня повеяло свежестью и ароматом прелых листьев. Муж не говорил ни слова, но вслушивался, вглядывался, внюхивался, охваченный с головы до ног страстью охотника.

Мы скоро дошли до прудов.

Тростник, которым они заросли, не колыхался, ни малейший ветерок не ласкал его, но еле заметное движение иногда пробегало по воде. По временам на поверхности воды показывалась точка, и от нее разбегались легкие круги, подобно светящимся морщинам, которые расширялись без конца.

Когда мы дошли до шалаша, где должны были устроить засаду, муж пропустил меня вперед, затем не спеша зарядил свое ружье; сухое щелканье затвора произвело на меня странное впечатление. Он почувствовал, что я дрожу, и сказал:

— Может быть, этого испытания для вас уже

достаточно? Тогда уходите.

Я ответила, изумившись до крайности:

— Нисколько. Я не для того явилась сюда, чтобы возвратиться ни с чем. Что с вами сегодня?

Он пробормотал:

— Как вам угодно.

И мы продолжали стоять неподвижно.

Прошло приблизительно полчаса, и, так как ничто не нарушало тягостного покоя этой светлой осенней ночи, я спросила шепотом:

— Вполне ли вы уверены, что зверь пройдет именно здесь?

Эрве вздрогнул, точно я его укусила, и, прижав губы к моему уху, ответил:

— Вполне уверен.

И молчание возобновилось.

Кажется, я уже стала дремать, когда мой муж сжал мне руку, и его голос, шипящий, изменившийся, произнес:

— Видите его, там, под деревьями?

Как я ни вглядывалась, я ничего не различала. Эрве медленно вскинул ружье к плечу, пристально глядя мне в глаза. Я и сама приготовилась стрелять, и вот внезапно, в тридцати шагах от нас, показался озаренный луною человек, удалявшийся быстрыми шагами, согнувшись, как

бы спасаясь бегством.

Я была так поражена, что громко вскрикнула; но прежде чем я успела обернуться, перед моими глазами вспыхнуло пламя, выстрел оглушил меня, и я увидела, что этот человек рухнул на землю, как волк, сраженный пулей.

Охваченная ужасом, обезумев, я пронзительно закричала, но рука взбешенного Эрве схватила меня за горло. Он повалил меня на землю, затем поднял своими сильными руками. Держа меня на весу, он подбежал к телу, распростертому на траве, и швырнул меня на него изо всей силы, точно хотел разбить мне голову.

Я почувствовала, что погибаю: он готовился убить меня. И он уже занес над моим лбом свой каблук, когда, в свою очередь, внезапно был схвачен и опрокинут, прежде чем я могла понять, что происходит.

Я быстро вскочила на ноги: на нем стояла на коленях Пакита, моя горничная; вцепившись в Эрве, подобно взбесившейся кошке, со сведенным судорогой лицом, вне себя, она рвала на нем бороду и усы, разрывала кожу на лице.

Затем, как бы внезапно охваченная другой мыслью, она вскочила и, упав на труп, сжала его в своих объятиях, целуя его глаза, рот, раскрывая

своими губами мертвые губы, стараясь найти в них дыхание — высшая степень любовной ласки.

Поднявшись на ноги, муж смотрел на нее. Он понял все и, упав к моим ногам, воскликнул:

— О, прости, дорогая, я заподозрил тебя и убил любовника этой девушки! Сторож ввел меня в заблуждение.

Я же глядела на страшные поцелуи, которыми живая женщина осыпала мертвеца, слушала ее рыдания, видела порывы ее отчаявшейся любви.

И с этого момента я поняла, что буду изменять мужу.

Лунный свет

Г-жа Жюли Рубер поджидала свою старшую сестру, г-жу Генриетту Леторе, возвращавшуюся из путешествия по Швейцарии.

Супруги Леторе уехали около пяти недель тому назад, Генриетта предоставила мужу одному возвратиться в их имение Кальвадос, куда его призывали дела, а сама приехала в Париж провести несколько дней у сестры.

Наступал вечер. В небольшой, погруженной в сумерки гостиной, убранной в буржуазном вкусе, г-жа Рубер рассеянно читала, при малейшем шорохе поднимая глаза.

Наконец раздался звонок, и вошла сестра в широком дорожном платье. И сразу, даже не разглядев друг друга, они бросились в объятия, отрываясь друг от друга лишь для того, чтобы обняться снова.

Затем начался разговор, и пока г-жа Леторе развязывала вуаль и снимала шляпку, они справлялись о здоровье, о родных, о множестве всяких подробностей, болтали, недоговаривая фраз, перескакивая с одного на другое.

Стемнело. Г-жа Рубер позвонила и приказала подать лампу. Когда зажгли свет, она взглянула на сестру, собираясь снова ее обнять, но остановилась, пораженная, растерянная, безмолвная. На висках г-жи Леторе она увидела две большие седые пряди. Волосы у нее были черные, блестящие, как вороново крыло, и только по обеим сторонам лба извивались как бы два серебристых ручейка, тотчас же пропадавшие в темной массе прически. А ей не было еще двадцати четырех лет, и произошло это внезапно, после ее отъезда в Швейцарию. Г-жа Рубер смотрела на нее в изумлении, готовая зарыдать, как будто ее сестру поразило какое-то таинственное, ужасное несчастье.

— Что с тобой, Генриетта? — спросила она.

Улыбнувшись грустной, болезненной улыбкой, та ответила:

— Ничего, уверяю тебя. Ты смотришь на мою седину?

Но г-жа Рубер стремительно обняла ее за плечи и, пытливо глядя ей в глаза, повторяла:

— Что с тобой? Скажи, что с тобой? И если ты солжешь, я сейчас же почувствую.

Они стояли лицом к лицу, и в опущенных глазах Генриетты, смертельно побледневшей, показались слезы.

Сестра повторяла:

— Что случилось? Что с тобой? Отвечай же!

Побежденная этой настойчивостью, та прошептала:

— У меня… у меня любовник.

И, прижавшись лицом к плечу младшей сестры, она разрыдалась.

Когда она немного успокоилась, когда в ее груди стихли судорожные всхлипывания, она вдруг заговорила, как бы желая освободить себя от этой тайны, излить свое горе перед дружеским сердцем.

Держась за руки и сжимая их, женщины опустились на диван в темном углу гостиной, и младшая сестра, обняв старшую, прижав ее голову к своей груди, стала слушать.

— О, я не ищу для себя никаких оправданий, я сама себя не понимаю и с того дня совершенно обезумела. Берегись, малютка, берегись: если б ты знала, до чего мы слабы и податливы, как быстро мы падаем! Для этого достаточно какого-нибудь пустяка, малейшего повода, минуты умиления, внезапно налетевшего приступа меланхолии или потребности раскрыть объятия, приласкаться, поцеловать, которая порой находит на нас.

Ты знаешь моего мужа и знаешь, как я его люб-

лю; но он уж немолод, он человек рассудка, и ему непонятны все эти нежные, трепетные переживания женского сердца. Он всегда ровен, всегда добр, всегда улыбается, всегда любезен, всегда безупречен. О, как иной раз хотелось бы мне, чтоб он вдруг схватил меня в объятия, чтоб он целовал меня теми долгими сладостными поцелуями, которые соединяют два существа подобно немому признанию; как бы я хотела, чтобы и он почувствовал себя одиноким, слабым, ощутил бы потребность во мне, в моих ласках, в моих слезах! Все это глупо, но таковы уж мы, женщины. В этом мы не властны.

И, однако, мне ни разу не приходила мысль обмануть его. Теперь это произошло — и без любви, без повода, без смысла; только потому, что была ночь и над Люцернским озером сияла луна.

В течение месяца, как мы путешествовали вдвоем, мой муж подавлял во мне своим безмятежным равнодушием всякое проявление пылкой восторженности, охлаждал все мои порывы. Когда мы на заре в дилижансе, запряженном четверкой лошадей, мчались с горы и когда я, увидя сквозь прозрачный утренний туман широкие долины, леса, реки, селения, в восторге хлопала в ладоши и говорила: «Как это

прекрасно, мой друг, поцелуй меня!» — он слегка пожимал плечами и отвечал с добродушной и невозмутимой улыбкой:

— Ну, стоит ли целоваться потому только, что вам нравится вид местности?

Это обдавало меня холодом до глубины души. Мне кажется, что когда любишь, то хочется любить еще сильнее при виде всего прекрасного, что нас волнует.

Наконец бывали во мне и поэтические порывы, но он их тут же останавливал. Как бы тебе сказать? Я была похожа на котел, наполненный паром, но герметически закрытый.

Однажды вечером (мы жили уже четыре дня в одном из отелей Флюэлена) Робер, чувствуя легкий приступ мигрени, тотчас же после обеда поднялся к себе в спальню, а я пошла в одиночестве прогуляться по берегу озера.

Ночь была сказочная. На небе красовалась полная луна; высокие горы с их снеговыми вершинами казались покрытыми серебром, волнистую поверхность озера бороздила легкая серебристая рябь. Мягкий воздух был напоен той расслабляющей теплотой, которая доводит вас до изнеможения и вызывает непонятную негу. Как восприимчива и отзывчива в такие мгновения

душа, как быстро возбуждается она, как сильно чувствует!..

Я села на траву, глядела на это большое меланхолическое, очаровательное озеро, и что-то странное происходило во мне: я почувствовала неутолимую потребность любви и возмущение унылым однообразием моей жизни. Неужели я так никогда и не пройдусь под руку с возлюбленным по крутому берегу, озаренному луною? Неужели мне никогда не испытать тех долгих, бесконечно сладостных, сводящих с ума поцелуев, которые дарят друг другу в эти нежные ночи, как бы созданные самим богом для ласк? Неужели ни разу не обовьют меня страстные руки в светлом сумраке летнего вечера?

И я разрыдалась, как безумная.

Послышался шорох. За мною стоял мужчина и смотрел на меня. Когда я оглянулась, он узнал меня и подошел поближе:

— Вы плачете, сударыня?

Это был молодой адвокат; он путешествовал с матерью, и мы несколько раз с ним встречались. Его глаза нередко следили за мной!

Я была так потрясена, что не знала, что ответить, что придумать. Я поднялась и сказала, что мне нездоровится.

Он пошел рядом со мной с почтительной непринужденностью и заговорил о нашем путешествии. Он выражал словами все, что я чувствовала; все, что заставляло меня содрогаться, он понимал все так же, как я, лучше меня. И вдруг он стал мне читать стихи, стихи Мюссе. Я задыхалась, охваченная непередаваемым волнением. Мне казалось, что само озеро, горы, лунный свет пели что-то невыразимо нежное…

И это произошло, не знаю как, не знаю почему, в состоянии какой-то галлюцинации…

А он… с ним я свиделась только на следующий день, в момент отъезда.

Он дал мне свою карточку…

И г-жа Леторе в полном изнеможении упала в объятия сестры; она стонала, она почти кричала.

Сосредоточенная, серьезная, г-жа Рубер сказала с нежностью:

— Видишь ли, сестра, очень часто мы любим не мужчину, а самую любовь. И в тот вечер твоим настоящим любовником был лунный свет.

Страсть

Спокойное море сверкало, еле колеблемое приливом, и весь Гавр смотрел с мола на входящие в порт суда.

Они были видны издали, и их было много: то большие пароходы, окутанные дымом, то влекомые почти невидимыми буксирами парусники с их голыми мачтами, походившими на деревья без сучьев и с ободранной корой.

Со всех концов горизонта спешили они к узкому устью мола, которое поглощало эти чудовища, а они стонали, рычали, свистели, выпуская клубы пара, как прерывистое дыхание.

Два молодых офицера прогуливались по молу, заполненному народом, они отдавали честь, отвечали на приветствия, иногда останавливались, чтобы кое с кем поболтать.

Вдруг один из них, который был повыше ростом, Поль д'Анрисель, сжал руку своего товарища, Жана Ренольди, и шепнул:

— Смотри, вот госпожа Пуансо: вглядись хорошенько, уверяю, что она строит тебе глазки.

Она шла под руку с мужем, богатым судовла-

дельцем. Это была женщина лет под сорок, еще очень красивая, немного дородная, но благодаря этой миловидной полноте сохранившая свежесть двадцатилетнего возраста. В кругу друзей ее звали «богиней» за гордую осанку, за большие черные глаза, за благородство всей ее внешности. Она была безупречной; ни малейшее подозрение ни разу не коснулось ее. На нее ссылались как на образец уважаемой, простой женщины, столь почтенной, что ни один мужчина не осмеливался мечтать о ней.

И вот уж целый месяц, как Поль д'Анрисель уверял своего друга Ренольди, что г-жа Пуансо нежно поглядывает на него.

— Будь уверен, я не ошибаюсь, — настаивал он. — Я прекрасно вижу: она любит тебя страстно, как целомудренная женщина, которая никогда не любила. Сорок лет — это критический возраст для порядочных женщин, если они чувственны; тут они сходят с ума и совершают безумства. Эта женщина уже поражена любовью, мой милый; она уже падает, как раненая птица, и упадет в твои объятия… Да вот она, смотри…

Навстречу им шла высокая женщина с двумя дочерьми, двенадцати и пятнадцати лет. Увидев офицера, она внезапно побледнела. Она устре-

мила на него горящий, пристальный взор и, казалось, никого уже более не замечала вокруг себя: ни своих детей, ни мужа, ни толпы. Она ответила на поклон молодых людей, не опуская взора, в котором пылало такое пламя, что в голову лейтенанта Ренольди наконец закралось сомнение.

А друг его пробормотал:

— Я был в этом уверен. Убедился ты теперь? Она все еще лакомый кусочек, черт возьми!

Но Жана Ренольди вовсе не привлекала светская интрижка. Не будучи особенным охотником до любовных похождений, он прежде всего стремился к спокойной жизни и довольствовался теми случайными связями, которые всегда попадаются молодому человеку. Та сентиментальность, те знаки внимания и любви, которых требует хорошо воспитанная женщина, нагоняли на него тоску. Как бы ни были легки цепи, всегда налагаемые подобного рода приключениями, эти цепи пугали его. Он рассуждал так: «К концу месяца я буду сыт по горло, а следующие шесть месяцев придется терпеть из вежливости». Вдобавок его пугал самый разрыв с неизбежными сценами, намеками, навязчивостью покинутой женщины.

Он избегал встреч с г-жой Пуансо.

Но вот как-то вечером он очутился рядом с нею за столом на званом обеде и беспрестанно ощущал на своем лице, в своих глазах, в самом сердце жгучий взгляд соседки; их руки встретились и почти невольно сомкнулись в пожатии. Это было уже началом связи.

Он снова встретился с ней, и опять-таки вопреки своему желанию. Он чувствовал, что его любят, он смягчался, охваченный чем-то вроде тщеславного сострадания к бурной страсти этой женщины. И он позволил себя обожать, продолжая быть только любезным и твердо надеясь остаться таким же и в своем чувстве.

Как-то она назначила ему свидание, чтобы, по ее словам, встретиться и свободно поболтать. Но она вдруг почувствовала себя дурно, упала в его объятия, и ему поневоле пришлось стать ее любовником.

Это тянулось полгода. Она любила его необузданной, захватывающей дух любовью. Порабощенная этой исступленной страстью, она ни о чем больше не помышляла; она отдалась ему целиком: тело, душу, доброе имя, положение, благополучие — все бросила она в это пламя своего сердца, как некогда бросали в жертвенный

костер драгоценности.

А ему уже давным-давно все надоело, и он с сожалением вспоминал о своих легких победах красавца-офицера. Но он был связан, его удерживали, он чувствовал себя пленником. Она беспрестанно говорила ему:

— Я отдала тебе все; чего же тебе еще надо?

И ему ужасно хотелось ответить:

— Но ведь я ничего не требовал и прошу тебя: возьми обратно то, что ты мне дала.

Не беспокоясь о том, что ее могут заметить, ославить, погубить, г-жа Пуансо приходила к нему каждый вечер, все более и более воспламеняясь. Она бросалась к нему на шею, сжимала его в объятиях, замирала в пылких поцелуях, которые смертельно ему надоедали. Он говорил усталым голосом:

— Да ну же, будь благоразумна.

Она отвечала: «Я люблю тебя», опускалась к его ногам и подолгу, с умилением любовалась им. В конце концов под этим упорным взглядом он выходил из себя и пытался поднять ее.

— Да сядь же, наконец, поговорим.

Она шептала: «Нет, оставь меня» — и продолжала сидеть у его ног в каком-то экстазе.

Он говорил своему другу д'Анриселю:

— Знаешь, я ее просто побью. Я не желаю больше, не желаю! Надо положить этому конец, и немедленно!

Затем добавил:

— Что ты мне посоветуешь?

Тот ответил:

— Порви с ней.

Ренольди, пожимая плечами, возразил:

— Тебе легко говорить. Ты думаешь, так просто разойтись с женщиной, которая изводит тебя вниманием, истязает услужливостью, преследует нежностью, заботится лишь о том, чтобы нравиться тебе, и виновна лишь в том, что отдалась тебе вопреки твоей воле?

Но вот в одно прекрасное утро стало известно, что полк переводится в другой гарнизон. Ренольди танцевал от радости. Он был спасен! Спасен без сцен, без криков! Спасен!.. Оставалось потерпеть только два месяца… Спасен!..

Вечером она вошла к нему, возбужденная более обычного. Она узнала ужасную новость. Не снимая шляпки, она схватила его за руки, нервно сжала их, смотря ему в глаза, и произнесла дрожащим, но твердым голосом:

— Ты уедешь, я знаю. В первый момент я пришла в отчаяние, но затем поняла, как должна

поступить, и больше не колеблюсь. Я приношу тебе величайшее доказательство любви, какое только может дать женщина; я последую за тобой. Для тебя я брошу мужа, детей, семью. Я гублю себя, но я счастлива: мне кажется, что я снова отдаюсь тебе. Это моя последняя и величайшая жертва: я твоя навсегда!

Холодный пот выступил у него на спине, глухая, бешеная ярость, бессильный гнев охватили его. Однако он взял себя в руки; бесстрастным тоном, с нежностью в голосе он отверг ее жертву, пытался ее успокоить, урезонить, дать ей понять ее безумие. Она слушала с презрительной усмешкой на губах, не возражая, глядя ему в лицо своими черными глазами. Когда же он умолк, она только спросила:

— Неужели ты окажешься подлецом, одним из тех, кто, обольстив женщину, затем бросает ее по первому капризу?

Он побледнел и пустился в рассуждения; он указал ей на неминуемые последствия подобного поступка, которые будут их преследовать до самой смерти: жизнь их будет разбита, общество закроет для них свои двери… Она упорно отвечала:

— Что за важность, когда любишь друг друга!

И вдруг он не выдержал:

— Ну, так нет же! Не хочу. Слышишь? Не хочу, запрещаю тебе.

И, срывая свою давнишнюю злобу, он выложил все, что было у него на душе.

— Довольно уж, черт возьми, ты любишь меня против моей воли! Недостает, чтоб я тебя еще увез. Благодарю покорно!

Она ничего не ответила, но по ее мертвенно-бледному лицу пробежала еле заметная болезненная судорога, как будто все нервы и мускулы ее сжались. И она ушла, не попрощавшись.

В ту же ночь она отравилась. В течение целой недели ее считали погибшей. В городе сплетничали, жалели ее, оправдывая ее поступок силой страсти: ведь чувства, доведенные до крайности и ставшие поэтому героическими, всегда заставляют простить то, что было бы в другом случае достойно осуждения. Женщина, которая себя убивает, перестает, так сказать, быть виновной в прелюбодеянии. И вскоре оказалось, что все осуждали и единодушно порицали лейтенанта Ренольди за отказ повидаться с г-жой Пуансо.

Рассказывали, что он ее бросил, изменил ей, бил ее. Полковник, почувствовав сострадание к ней, намекнул об этом своему офицеру. Поль

д'Анрисель зашел к другу.

— Однако, черт возьми, мой милый, нельзя же доводить женщину до самоубийства: это подло.

Тот возмутился и заставил замолчать своего товарища, произнесшего слово *подлость*. Они дрались. Ренольди, к общему удовлетворению, был ранен и долго пролежал в постели.

Она узнала об этом и, предположив, что он дрался из-за нее, почувствовала к нему еще большую любовь. Но, прикованная к постели, она так и не увиделась с ним до ухода полка.

Ренольди жил уже три месяца в Лилле, когда однажды утром его посетила молодая дама, сестра его бывшей любовницы.

Не в силах преодолеть долгих страданий и отчаяния, г-жа Пуансо умирала. Она была обречена, безнадежна. Ей хотелось увидеться с ним один-единственный раз, прежде чем навсегда сомкнуть глаза.

Разлука и время дали успокоиться гневу и пресыщенности молодого человека; он смягчился, всплакнул и поехал в Гавр.

Она была, казалось, в агонии. Их оставили наедине, и тут, у постели умирающей, которую он невольно убил, его охватил приступ ужасной скорби. Он рыдал, осыпал ее нежными, страст-

ными поцелуями, какими никогда раньше не целовал. Он лепетал:

— Нет, нет, ты не умрешь, ты выздоровеешь, мы будем любить друг друга… любить… вечно…

Она шептала:

— Правда ли это? Ты меня любишь?

И он, охваченный отчаянием, давал ей клятвы, обещал ждать ее выздоровления и, полный жалости, долго целовал исхудавшие руки бедной женщины, сердце которой лихорадочно билось. На следующий день он возвратился в свой гарнизон.

Через шесть недель г-жа Пуансо приехала к нему, до неузнаваемости постаревшая и влюбленная сильнее прежнего.

Он растерялся и принял ее. А затем, так как они жили вдвоем, словно люди, соединенные законом, тот самый полковник, который когда-то вознегодовал на него за то, что он ее покинул, возмутился этими неподобающими отношениями, не совместимыми с добрым примером, который обязаны подавать в полку офицеры. Полковник предупредил своего подчиненного, затем стал с ним резок, и Ренольди подал в отставку. Они поселились в вилле, на берегу Средиземного моря, классического моря влюбленных.

Прошло еще три года. Она поседела. Ренольди, покорившийся игу, был порабощен и свыкся с этой упорной любовью.

Он считал себя человеком конченым, погибшим. Надежда на будущее, какая бы то ни было карьера, чувство удовлетворенности или радости — все это отныне было ему заказано.

И вот однажды утром ему подали карточку: «Жозеф Пуансо, судовладелец. Гавр». Муж! Муж, который дотоле молчал, понимая, что нельзя бороться с безнадежным упорством женщины. Что ему было нужно?

Г-н Пуансо дожидался в саду, отказавшись войти в дом. Он вежливо поклонился, не захотел даже сесть на скамью в одной из аллей и заговорил обстоятельно, не торопясь.

— Я приехал сюда, сударь, не для того, чтобы упрекать вас; я слишком хорошо знаю, как все произошло. Надо мною… над нами… тяготело… нечто… вроде… злого рока. Я никогда не потревожил бы вас в вашем уединении, если бы не изменившиеся обстоятельства. У меня две дочери, сударь. Одна из них, старшая, любит одного молодого человека и любима им. Но семья этого юноши противится браку, ссылаясь на положение… матери моей дочери. Во мне нет ни гнева,

ни злобы, но я обожаю своих детей, сударь. И вот я приехал просить вас возвратить мне мою… мою жену; надеюсь, что теперь она согласится вернуться ко мне… к себе. Со своей стороны, я сделаю вид, что забыл все, ради… ради моих дочерей.

У Ренольди сильно забилось сердце, его охватил необузданный восторг, как приговоренного к смерти при известии о помиловании.

Он пробормотал:

— Да, да… конечно, сударь… я сам… верьте мне… без сомнения… это справедливо, вполне справедливо…

Ему хотелось схватить руки этого человека, сжать его в объятиях, расцеловать в обе щеки.

Он продолжал:

— Войдите же. Вам будет удобнее в гостиной, я позову ее.

На этот раз г-н Пуансо не противился и сел. Ренольди взбежал по лестнице, постарался успокоиться перед дверью и вошел к любовнице совершенно спокойно.

— Тебя просят сойти вниз, — сказал он, — хотят что-то сообщить по поводу твоих дочерей.

Она поднялась:

— Моих дочерей? Что? Что именно? Не умерли же они?

Он ответил:

— Нет, но создалось серьезное положение, которое ты одна можешь разрешить.

Дальше она не слушала и быстро спустилась по лестнице.

Сильно взволнованный, он бросился в кресло и стал ждать.

Прождал он долго, очень долго. Затем, когда до него снизу донеслись гневные голоса, он решил спуститься.

Г-жа Пуансо, раздраженная до крайности, готовилась уйти, а муж удерживал ее за платье, повторяя:

— Поймите же, вы губите наших дочерей, своих дочерей, наших детей!

Она упорно отвечала:

— Я не вернусь к вам.

Потрясенный Ренольди понял все, выступил вперед и спросил шепотом:

— Как? Она отказывается?

Она повернулась в его сторону и, стесняясь говорить с ним на «ты» в присутствии законного супруга, сказала:

— Знаете, о чем он меня просит? Он требует, чтобы я вернулась к нему, под его кров!

И она усмехнулась с безграничным пренебре-

жением к этому человеку, который упрашивал ее чуть ли не на коленях.

Тогда Ренольди с решимостью человека, доведенного до отчаяния и ставящего на карту последнюю ставку, в свою очередь, заговорил в защиту бедных девушек, мужа и самого себя. Когда он прервал свою речь, подыскивая какой-нибудь новый довод, то г-н Пуансо, уже исчерпавший все средства убеждения, пробормотал, машинально обратившись к ней на «ты» по старой привычке:

— Послушай, Дельфина, подумай о своих дочерях.

Окинув их обоих взглядом величайшего презрения, она бросилась к лестнице, выкрикнув:

— Вы оба — негодяи!

Оставшись наедине, они переглянулись, одинаково удрученные, убитые горем. Г-н Пуансо поднял свою упавшую шляпу, стряхнул рукою пыль с колен и, прощаясь с Ренольди, провожавшим его до двери, произнес в полном отчаянии:

— Мы с вами очень несчастливы, сударь!

И, тяжело шагая, удалился.

Плутня

— Это женщины-то?

— Ну, и что же? Что — женщины?

— А вот что: нет более искусных фокусников, которые сумели бы провести нас по любому случаю, с тем или иным умыслом или без всякого умысла, и нередко обмануть из одного только удовольствия. И они обманывают с невероятной простотой, с поразительной смелостью, с неоспоримой тонкостью. Они плутуют с утра до вечера, и все решительно, все, вплоть до самых честных, самых правдивых, самых умных.

Добавлю, что иной раз их к этому вынуждают. Мужчина всегда упрям, как дурак, и прихотлив, как тиран. У себя дома муж ежеминутно нелепо капризничает. Он полон вздорных причуд; обманывая, жена лишь потворствует им. Она уверяет его, что та или иная вещь стоит столько-то, так как он завопил бы, если бы она стоила дороже. И обычно она ловко выпутывается из беды с помощью таких легких и хитроумных средств, что мы руками разводим, когда случайно обнаруживаем обман. И в изумлении спрашиваем себя: «Да как

же это мы не заметили?»

Говорил это бывший министр империи, граф Л..., по слухам, большой повеса и человек выдающегося ума.

Группа молодежи слушала его.

Он продолжал:

— Меня обманула смешным, но и поучительным образом одна скромная мещаночка. Я расскажу эту историю вам в назидание.

Я был тогда министром иностранных дел и имел привычку подолгу гулять каждое утро по Елисейским Полям. Дело было весной, и я прохаживался, жадно вдыхая чудный аромат первой листвы.

Вскоре я заметил, что ежедневно встречаю прелестную женщину, одно из тех поразительных и грациозных созданий, что носят на себе отпечаток Парижа. Была ли она красива? И да и нет. Хорошо ли сложена? Нет, лучше того. Пусть ее талия была слишком тонка, плечи слишком прямы, грудь слишком выпукла, но я предпочитаю таких прелестных пухленьких куколок крупному остову Венеры Милосской.

К тому же они неподражаемо семенят ножками, и одно только подрагивание их турнюра вызывает в нас страстные вожделения. Казалось,

будто она мимоходом меня оглядывает. Но в подобных женщинах мало ли что покажется, и никогда нельзя быть ни в чем уверенным…

Однажды утром я увидел, что она сидит на скамье с раскрытой книгою в руках. Я поспешил сесть рядом с нею. Не прошло и пяти минут, как мы подружились. В последующие дни после сопровождаемого улыбкой приветствия: «Добрый день, сударыня», «Добрый день, сударь» — завязывалась беседа. Она рассказала мне, что замужем за чиновником, что жизнь ее уныла, что развлечений мало, а забот много, и так далее.

Я сказал ей, кто я такой; это вышло случайно, а быть может, из тщеславия; она весьма удачно притворилась удивленной.

На другой день она зашла ко мне в министерство и стала затем приходить так часто, что курьеры, узнав, кто она такая, сообщали друг другу при ее появлении имя, которым ее окрестили: «Мадам Леон». Так зовут меня.

Я встречался с ней ежедневно, по утрам, в течение трех месяцев, ни на минуту не пресытившись ею, так умела она разнообразить и обострять свои ласки. Но однажды я заметил в ее глазах страдальческое выражение и блеск от сдерживаемых слез, заметил, что она еле говорит, охваченная

какой-то скрытой тревогой.

Я просил, заклинал ее поведать мне причину беспокойства, и в конце концов она, вздрагивая, пролепетала:

— Я… я беременна.

И разрыдалась. О, я скорчил ужасную гримасу и, надо полагать, побледнел, как обычно бледнеют при таких известиях. Вы и не представляете себе, какой неприятный удар в грудь получаешь при сообщении о подобном нежданном отцовстве. Но рано или поздно вы познаете все это. Я пролепетал:

— Но… но… ведь ты же замужем, не так ли?

Она ответила:

— Да, но муж месяца два как в Италии и еще долго не возвратится.

Я хотел во что бы то ни стало избавиться от ответственности. Я сказал:

— Надо сейчас же ехать к нему.

Она покраснела до корней волос и, опустив глаза, ответила:

— Да… но…

Она не решалась или не хотела договорить.

Я понял и деликатно вручил ей конверт с деньгами на путевые расходы.

Неделей позже она прислала мне письмо из

Женевы. На следующей неделе я получил письмо из Флоренции. Затем из Ливорно, Рима, Неаполя. Она писала мне: «Я чувствую себя хорошо, дорогой мой, любимый, но выгляжу ужасно. Не хочу показываться тебе на глаза, пока все это не кончится; ты меня разлюбишь. Муж ничего не подозревает. Командировка удержит его в этой стране еще надолго, и я возвращусь во Францию только после родов».

Приблизительно в конце восьмого месяца я получил из Венеции только два слова: «Это мальчик».

Несколько позже, как-то утром, она стремительно вошла в мой кабинет, свежее и красивее, чем когда-либо, и бросилась в мои объятия.

И наша былая любовь возобновилась.

Я покинул министерство. Она стала приходить в мой особняк на улице Гренелль. Она часто говорила со мной о ребенке, но я еле слушал ее: это меня не касалось. По временам я вручал ей довольно крупную сумму, говоря только:

— Положи это на его имя.

Прошло еще два года, и все чаще и настойчивее заговаривала она со мной о мальчике, о Леоне. Иногда она плакала:

— Ты не любишь его; не хочешь даже повидать

его; если бы ты знал, какое горе ты мне этим причиняешь!

Наконец она до того извела меня, что однажды я обещал ей пойти на следующий день на Елисейские Поля, в тот час, когда она поведет гулять сына.

Но в тот момент, когда мне надо было идти, меня удержал страх. Человек слаб и глуп; кто знает, что произойдет в моем сердце? А вдруг я полюблю это маленькое существо, рожденное от меня, моего сына?

Я стоял в шляпе, с перчатками в руках. Я кинул перчатки на письменный стол и шляпу на кресло: «Нет, решено, не пойду, это будет благоразумнее».

Дверь распахнулась. Вошел мой брат. Он протянул мне полученное утром анонимное письмо: «Предупредите графа Л..., вашего брата, что дамочка с улицы Кассет нагло издевается над ним. Пусть-ка он наведет о ней справки».

Я никогда никому не говорил об этой давнишней любовной связи. Я был поражен и рассказал брату все, с начала до конца, добавив:

— Я лично не хочу этим заниматься, но будь ты так любезен, пойди и разузнай.

Когда мой брат ушел, я подумал: «В чем же

она могла меня обманывать? Имеет другого любовника? А какое мне дело? Она молода, свежа, красива; ничего большего от нее я и не требую. Она, по-видимому, любит меня и, в конце концов, не слишком дорого мне обходится. Право, ума не приложу».

Мой брат возвратился быстро. В полиции ему сообщили прекрасные сведения о муже. «Чиновник министерства внутренних дел, корректен, на хорошем счету, благонадежен, но женат на очень красивой женщине, издержки которой, кажется, не вполне соответствуют его скромному положению». Вот и все.

Тогда брат мой разыскал ее квартиру и, узнав, что ее нет дома, развязал деньгами язык привратнице.

— Госпожа Д… — прекрасная дама, и муж ее — прекрасный человек; не богаты, но и не мелочны.

Брат спросил, чтобы сказать что-нибудь:

— Сколько теперь лет ее маленькому сыну?

— Да у ней вовсе нет сына, сударь.

— Как нет? А маленький Леон?

— Нет, сударь, вы ошибаетесь.

— Тот, который родился у нее во время ее путешествия по Италии, года два тому назад?

— Она никогда не бывала в Италии, сударь, и не покидала этого дома в течение всех пяти лет, что проживает здесь.

Мой брат, пораженный, продолжал расспрашивать, выведывать, вести дальше свои расследования. Ни ребенка, ни путешествия не оказалось.

Я был чрезвычайно удивлен, но не понимал конечного смысла всей этой комедии.

— Я хочу вполне удостовериться и успокоиться. Я попрошу ее прийти сюда завтра. Прими ее вместо меня; если она меня обманула, вручи ей эти десять тысяч франков, и больше я с ней не увижусь. Да и на самом деле все это начинает мне надоедать.

Поверите ли, всего лишь накануне сознание, что у меня есть ребенок от этой женщины, приводило меня в отчаяние, теперь же я был раздражен, пристыжен, оскорблен тем, что его у меня уже нет. Я оказался свободным, избавленным от всяких обязательств и беспокойств и тем не менее приходил в бешенство.

На другой день мой брат поджидал ее в моем кабинете. Она вошла, по обыкновению оживленная, подбежала к нему с раскрытыми объятиями и остановилась, разглядев его.

Он поклонился и извинился:

— Прошу извинения, сударыня, что нахожусь здесь вместо моего брата, но он поручил мне попросить у вас объяснений, лично получить которые ему было бы тяжело.

Затем, глядя ей в глаза, он резко произнес:

— Нам известно, что у вас не было от него ребенка.

После первого изумления она овладела собой, села, улыбнувшись, взглянула на своего судью и спокойно ответила:

— Да, у меня нет ребенка.

— Нам известно также, что вы никогда не бывали в Италии.

На этот раз она рассмеялась от всей души:

— Да, я никогда не бывала в Италии.

Мой брат, ошеломленный, продолжал:

— Граф поручил мне передать вам эти деньги и сказать вам, что все кончено.

Она снова сделалась серьезной, спокойно сунула деньги в карман и простодушно спросила:

— Значит… я больше не увижу графа?

— Нет, сударыня.

Это, видимо, раздосадовало ее, и она совершенно спокойно добавила:

— Тем хуже: я его очень любила.

Видя, что она так быстро примирилась с судь-

бой, мой брат, улыбнувшись, спросил ее в свою очередь:

— Скажите мне теперь, для чего вы придумали всю эту долгую и сложную плутню с путешествием и ребенком?

Она удивленно взглянула на моего брата, как будто он задал глупый вопрос, и ответила:

— Ах, это просто хитрость! Уж не полагаете ли вы, что бедная, ничтожная мещаночка, вроде меня, способна была бы в течение трех лет удерживать графа Л..., министра, важного господина, светского человека, богатого и обольстительного, если бы она чем-нибудь не привязывала его к себе? Теперь все кончено. Тем хуже. Вечно так быть не могло. Но в продолжение трех лет мне все же удавалось удержать его. Передайте ему мой искренний привет.

Она поднялась. Мой брат продолжал спрашивать:

— Ну а... ребенок? Он был у вас подставной?

— Конечно, ребенок моей сестры. Она давала его мне на время. Держу пари, что это она вам выдала меня.

— Хорошо, а все эти письма из Италии?

Она снова села, чтобы вволю посмеяться.

— О, эти письма, это целая поэма. Ведь недаром

же граф был министром иностранных дел.

— Ну… а дальше?

— Дальше — это мой секрет. Я никого не хочу компрометировать.

И, поклонившись, с несколько насмешливой улыбкой, она вышла, ничуть не смущаясь, подобно актрисе, роль которой окончилась.

И граф Л… добавил в виде нравоучения:

— Вот и доверяйте подобным птичкам.

Пышка

В течение нескольких дней через город проходили остатки разбитой армии. Это было уже не войско, а беспорядочная орда. Люди с длинными грязными бородами, в мундирах, превратившихся в лохмотья, плелись вяло, без знамен, растеряв свои части. Видно было, что все подавлены, измучены, утратили способность соображать и принимать какие-либо решения, — и шли они лишь по привычке, падая от усталости, как только останавливались. Здесь были, главным образом, мобилизованные запасные, миролюбивые люди, спокойные рантье, сгибавшиеся теперь под тяжестью ружья; были еще молодые солдатики подвижной гвардии[4], легко воодушевляющиеся, но и легко поддающиеся страху, одинаково готовые и к атаке и к бегству. Среди них попадались группы солдат в красных штанах — остатки какой-нибудь дивизии, разбитой в большом сражении; артиллеристы в темных мундирах, затерявшиеся в массе разномастных

[4] Сноски: 4
Особый вид ополчения, созданный в франко-прусскую войну 1870–1871 гг.

пехотинцев; а кое-где сверкала и каска тяжело ступавшего драгуна, с трудом поспешавшего за более легким шагом пехоты.

Проходили отряды похожих на бандитов вольных стрелков, носившие героические клички: «Мстители за поражение», «Граждане могилы», «Союзники в смерти».

Их командиры — бывшие торговцы сукном, зерном, салом или мылом, случайные воители, получившие звание офицеров кто за деньги, кто за длинные усы, — люди, обвешанные оружием, одетые в тонкое сукно, расшитое галунами, говорили громовыми голосами, обсуждали план кампании и хвастливо утверждали, что они одни держат на своих плечах погибающую Францию; а между тем они побаивались подчас даже собственных солдат, бродяг и грабителей, нередко отчаянно храбрых, и отпетых мазуриков.

Ходили слухи, что не сегодня завтра пруссаки вступят в Руан.

Национальная гвардия, в течение двух месяцев с большой осторожностью производившая разведку в окрестных лесах, иногда подстреливая при том своих же часовых и готовясь к бою всякий раз, как где-нибудь в кустах зашевелится кролик, — теперь разошлась по домам. Сразу

исчезло оружие, мундиры, все смертоносные атрибуты, еще недавно наводившие страх на межевые столбы по большим дорогам на три мили вокруг.

Наконец последние французские солдаты перешли Сену, направляясь через Сен-Север и Бур-Ашар в Понт-Одемер. Позади всех между двумя адъютантами шел пешком генерал, впавший в полное отчаяние. Он ничего не мог предпринять с этими жалкими разрозненными остатками армии, да и сам потерял голову среди полного разгрома нации, привыкшей побеждать, а теперь, несмотря на свою легендарную храбрость, терпевшей столь катастрофическое поражение.

Над городом нависла глубокая тишина, молчаливое, полное ужаса ожидание. Многие из ожиревших буржуа, обабившихся за своими прилавками, с тоскливой тревогой ожидали победителей, дрожа от страха, боясь, как бы их вертела и большие кухонные ножи не были приняты за оружие.

Жизнь словно остановилась: лавки были закрыты, улица нема и пустынна. Лишь изредка какой-нибудь обыватель, напуганный этим безмолвием, торопливо пробирался вдоль стен.

Ожидание было до того томительно, что мно-

гие желали скорейшего прихода неприятеля.

На следующий день после ухода французских войск небольшой отряд улан, неизвестно откуда явившийся, быстро промчался через город. Спустя короткое время со склонов Сент-Катрин скатилась на город черная лавина, а со стороны Дарнеталя и Буагильома показались два других потока завоевателей. Авангарды всех трех корпусов одновременно сошлись на площади у городской ратуши, а из всех соседних улиц надвигалась германская армия, развертывая свои батальоны, под тяжелым и мирным шагом которых гудела мостовая.

Команда на незнакомом гортанном языке разносилась вдоль домов, которые казались покинутыми, вымершими; но из-за закрытых ставен множество глаз следило за этими победителями, которые по «праву войны» получили теперь власть над городом, над имуществом и жизнью граждан. Жители в темноте своих комнат были охвачены тем паническим ужасом, который сопутствует стихийным бедствиям, несущим гибель, великим катаклизмам, перед которыми бессильна вся человеческая мудрость и мощь. Такое ощущение появляется всегда, когда ниспровергается установленный порядок

вещей, когда безопасности больше не существует, когда все, что охранялось законами людей или природы, отдано на произвол бессмысленной, жестокой и грубой силы. Землетрясение, погребающее целое население под рухнувшими домами; вышедшая из берегов река, уносящая трупы людей вместе с тушами быков и вырванными из крыш балками; или покрытая славой армия, которая истребляет тех, кто защищается, и уводит в плен остальных, которая грабит во имя меча и под грохот орудий возносит хвалу богу, — все это одинаково грозные бедствия, подрывающие всякую веру в извечную справедливость, всю ту веру, которую внушают нам, в покровительство неба и могущество человеческого разума.

Между тем в каждый дом стучались и затем входили небольшие отряды. После вторжения началась оккупация. Теперь на побежденных возлагалась обязанность угождать победителям.

Через некоторое время первый страх прошел и восстановилось спокойствие. Во многих домах прусский офицер обедал за одним столом с хозяевами. Иногда он оказывался человеком благовоспитанным и из вежливости выражал сочувствие Франции, уверяя, что ему тяжело участвовать в этой войне. Такие чувства вы-

зывали признательность. К тому же ведь не сегодня-завтра могло понадобиться его покровительство. Ухаживая за ним, можно было, пожалуй, избавиться от нескольких лишних солдатских ртов. Да и к чему оскорблять тех, от кого всецело зависит наша участь? Это было бы не столько смелостью, сколько безрассудством. А безрассудная отвага уже не является больше недостатком руанских буржуа, как некогда, во времена героической обороны, прославившей их город. Наконец, приводился самый убедительный довод, продиктованный французской учтивостью: быть вежливым с иностранным солдатом у себя дома вполне допустимо, лишь бы не проявлять дружеской близости по отношению к нему публично. На улице делали вид, что незнакомы с постояльцем, а дома с ним охотно беседовали, и с каждым вечером немец все дольше засиживался, греясь у общего очага.

Город мало-помалу принял свой обычный вид. Французы все еще почти не показывались, но улицы кишели прусскими солдатами. В конце концов, командиры голубых гусар, надменно волочившие по мостовой свои длинные орудия смерти, выказывали по отношению к простым гражданам не многим больше презрения, чем

командиры французских стрелков, посещавшие год назад те же кафе.

И, однако, в воздухе носилось что-то неуловимое, неведомое, ощущалась какая-то невыносимо чуждая атмосфера, словно какой-то запах, разносящийся всюду запах вторжения. Он наполнял общественные места и жилища, придавал какой-то привкус пище, создавал впечатление, будто путешествуешь где-то далеко, среди диких и опасных племен.

Завоеватели требовали денег, много денег. Жители неизменно платили. Правда, они были достаточно богаты; но чем нормандский купец состоятельнее, тем тяжелее ему всякая жертва, тем сильнее он страдает, когда какая-нибудь частица его богатства переходит в руки другого.

А между тем за городом, в двух-трех лье вниз по течению, возле Круассе, Дьепдаля или Бьессара, лодочники и рыбаки не раз вылавливали с речного дна вздувшиеся трупы немцев в мундирах то убитых ударом кулака, то зарезанных, то с проломленной камнем головой, то просто сброшенных в воду с моста. Речной ил окутывал саваном эти жертвы тайной, дикой и законной мести, безвестного героизма, бесшумных нападений, более опасных, чем сражения среди бела

дня, и лишенных ореола славы.

Ибо всегда найдется несколько отчаянных смельчаков, вдохновляемых ненавистью к чужеземцу и готовых умереть за идею.

Так как немцы хотя и подчинили город железной дисциплине, но не совершали вовсе тех зверств, которые приписывала им молва на протяжении всего их победного шествия, жители Руана приободрились, и местные коммерсанты снова затосковали по своей торговле. У некоторых из них были крупные дела в Гавре, занятом французскими войсками, и они решили сделать попытку добраться до этого порта, проехав сухим путем до Дьепа, а дальше — морем.

Пустили в ход знакомства с немецкими офицерами, и от командующего армией было получено разрешение на выезд.

Для этой поездки решили воспользоваться большим четырехконным дилижансом, и десять человек заказали места у его владельца. Решено было выехать во вторник пораньше, до рассвета, чтобы избежать стечения народа.

Земля уже с некоторого времени была скована морозом, а в понедельник около трех часов дня с севера надвинулись тяжелые черные тучи и принесли снег, который шел не переставая весь

вечер и всю ночь.

Утром, в половине пятого, путешественники собрались во дворе гостиницы «Нормандия», откуда отправлялся дилижанс.

Все были еще полусонные и дрожали от холода под своими пледами. В темноте трудно было разглядеть друг друга; и все эти фигуры, закутанные в тяжелые зимние одежды, напоминали тучных священников в длинных сутанах. Но вот два человека узнали друг друга, к ним подошел третий. Разговорились.

— Я еду с женой, — сказал один.

— Я тоже.

— И я.

Первый добавил:

— Мы не вернемся в Руан; если пруссаки дойдут до Гавра, мы переберемся в Англию.

У всех были одинаковые планы, так как все это были люди одного склада.

Дилижанс все еще не закладывали. По временам из темной двери конюшни показывался свет от небольшого фонаря в руках конюха и тотчас же исчезал в другой двери. В конюшне слышен был стук копыт, приглушенный раскиданной в стойлах подстилкой, а из глубины доносился чей-то голос, покрикивавший на лошадей. Сла-

бое позвякивание бубенчиков возвестило, что расправляют сбрую. Это позвякивание скоро перешло в непрерывный, отчетливый звон, который в такт с движениями лошади то замирал, то звучал снова, внезапно и резко, сопровождаемый глухим стуком подков о землю.

Вдруг дверь конюшни захлопнулась, и шум сразу затих. Молчали и окоченевшие от холода пассажиры, застыв в неподвижных позах.

Белые хлопья снега все падали и падали на землю. Их сплошная блестящая завеса сглаживала все очертания, обволакивала предметы как бы ледяной пеной. И в глубокой тишине города, безмолвного под этим зимним саваном, слышался лишь смутный, неуловимый, трепетный шорох падающего снега, скорее ощущение, чем звук, шелест движущихся легких пушинок, наполнявших, казалось, все пространство, засыпавших весь мир.

Наконец снова появился человек с фонарем. Он вел на поводу лошадь, которая шла нехотя, с унылым видом. Поставив ее в дышло и подвязав постромки, он долго возился около нее, пока приладил сбрую, так как ему приходилось действовать только одной рукой — другая была занята фонарем. Отправляясь за второй лошадью,

он заметил неподвижную группу пассажиров, уже совсем белых от снега, и сказал:

— Отчего вы не сядете в дилижанс? По крайней мере, укроетесь от снега…

Никому из них, очевидно, это раньше не приходило в голову, и теперь все поспешили к карете. Трое мужчин усадили своих жен и влезли вслед за ними; оставшиеся места заняли другие укутанные фигуры, едва видные в темноте, не обменявшись при том ни словом.

Пол дилижанса был устлан соломой, в которой утопали ноги. Дамы, сидевшие в глубине, зажгли захваченные ими с собой медные грелки с бездымным углем и в течение некоторого времени вполголоса перечисляли все их достоинства, повторяя то, что всем было давно известно.

В дилижанс впрягли ввиду трудной дороги шесть лошадей вместо обычной четверки, и наконец голос снаружи спросил:

— Все пассажиры сели?

— Все, — ответили изнутри, и дилижанс тронулся.

Ехали очень медленно, шагом. Колеса увязали в снегу; весь кузов кряхтел и глухо поскрипывал; ноги лошадей скользили, они храпели, от них поднимался пар. Огромный бич кучера беспре-

станно щелкал, взлетая то с одной, то с другой стороны, свиваясь и развиваясь, как тонкая змея, и вдруг неожиданно обрушивался на один из колыхавшихся впереди крупов, после чего тот напрягался в новом усилии.

Между тем незаметно наступало утро. Легкие снежные хлопья, которые один из путешественников, истый руанец, сравнил с дождем из хлопка, перестали падать. Мутный рассвет просачивался сквозь тяжелые темные облака, от мрака которых еще ослепительнее казалась снежная белизна полей, где мелькал то ряд высоких деревьев, одетых инеем, то хижина под шапкой снега.

При печальном свете занимающейся зари пассажиры в дилижансе с любопытством разглядывали друг друга.

В самой глубине, на лучших местах дремали, сидя друг против друга, супруги Луазо, оптовые виноторговцы с улицы Гран-Пон.

Луазо, бывший когда-то приказчиком, откупил у своего хозяина, когда тот разорился, его предприятие и разбогател. Он продавал мелким сельским лавочникам по очень дешевой цене очень плохое вино и слыл среди друзей и знакомых ловким пройдохой, настоящим нормандцем,

плутом и весельчаком.

Репутация жулика так прочно за ним установилась, что, когда на одном вечере в префектуре местная знаменитость, г-н Турнель, сочинитель песенок и басен, человек острого и язвительного ума, видя, что дамы скучают, предложил им сыграть в «L'oiseau vole»[5], острота эта облетела залы префектуры, затем пошла гулять по всем салонам города, и еще целый месяц над ней хохотали во всей округе.

Луазо славился еще всевозможными проделками и шутками, иногда удачными, иногда плоскими. Говоря о нем, непременно добавляли: «Уморительный этот Луазо!»

Коротенький, с большим животом, он походил на шар, увенчанный багровой физиономией с седеющими бакенбардами.

Жена его, рослая, сильная, с громким голосом и решительным характером, представляла элемент порядка и точности в их торговом деле, тогда как муж оживлял его своей веселой энергией.

Рядом с четой Луазо восседал полный достоинства г-н Карре-Ламадон, представитель более высокого сословия, важное лицо, игравшее видную

---

[5] Сноски: 5

Игра слов: L'oiseau vole — птица летит (название игры), Loiseau vole — Луазо ворует.

роль в текстильной промышленности, владелец трех бумагопрядильных фабрик, офицер ордена Почетного легиона и член Генерального совета. За все время Империи он оставался вождем благожелательной оппозиции с той единственной целью, чтобы получить поддержку со стороны того режима, с которым он, по его собственному выражению, всегда боролся лишь рыцарским оружием. Г-жа Карре-Ламадон, бывшая значительно моложе своего мужа, служила отрадой и утешением для всех офицеров из хороших семей, попадавших в руанский гарнизон.

Она сидела против супруга, прелестная, миниатюрная, вся утопая в своих мехах, и с сокрушением оглядывала убогую внутренность экипажа.

Ее соседи, граф Юбер де Бревиль с супругой, принадлежали к одной из самых старинных и знатных фамилий Нормандии. Граф, старый аристократ с величественной осанкой, старался путем разных ухищрений в туалете подчеркнуть свое природное сходство с Генрихом IV, которого славное семейное предание называло виновником беременности одной из дам рода де Бревиль. Муж ее получил за это графский титул и был сделан губернатором провинции.

Граф Юбер, как и Карре-Ламадон, был членом

Генерального совета, в котором он представлял партию орлеанистов своего округа. История его женитьбы на дочери мелкого нантского судовладельца навсегда осталась загадкой. Но, так как графиня держала себя с достоинством знатной дамы, лучше всех умела принимать гостей и даже, как говорили, была некогда возлюбленной одного из сыновей Луи-Филиппа, вся знать носила ее на руках, и салон ее считался первым во всем крае, единственным, где еще сохранилась былая галантность и куда далеко не все имели доступ.

Состояние Бревилей, заключавшееся в землях и поместьях, приносило им, как говорили, до пятисот тысяч ливров годового дохода.

Эти шесть человек, занявшие всю глубину кареты, составляли обеспеченную, влиятельную и благонамеренную часть общества. То были люди почтенные, пользовавшиеся авторитетом, люди религии и принципов.

По странной случайности все три женщины оказались на одной скамье, и рядом с графиней де Бревиль сидели две монахини, все время перебиравшие четки и бормотавшие молитвы. У одной из них, старухи, лицо было так изрыто оспой, словно в него выпустили в упор целый заряд дроби. Другая, слабенькая и тщедушная,

с красивым болезненным лицом и чахоточной грудью, казалась иссушенной всепожирающей верой, которая создает мучеников и фанатиков.

Сидевшие против монахинь мужчина и женщина привлекали к себе общее внимание.

Мужчина был хорошо известный демократ Корнюде, предмет ужаса всех почтенных людей. В течение двадцати лет он купал свои длинные рыжие усы в пивных кружках всех демократических кабачков. С компанией друзей и соратников он проел довольно большое состояние, оставленное ему отцом, бывшим кондитером, и с нетерпением ожидал республики, чтобы занять наконец подобающее положение, заслуженное столь обильными революционными возлияниями. В день 4 сентября, вероятно в результате чьей-то шутки, он вообразил, что назначен префектом; но когда он хотел приступить к исполнению обязанностей, то чиновники, оставшиеся единственными хозяевами канцелярии, отказались его признать, и ему пришлось ретироваться. В общем, Корнюде был славный малый, безобидный и услужливый. В последнее время он очень рьяно занялся организацией обороны. Он приказал рыть ямы на полях и срубить все молодые деревья в окрестных рощах, усеять западнями все

дороги и, вполне удовлетворенный этими приготовлениями, при приближении неприятеля поспешно отступил к городу. Сейчас он полагал, что будет более полезен в Гавре, где, вероятно, также понадобится обнести город окопами.

Женщина, сидевшая рядом с ним, принадлежала к числу особ легкого поведения и славилась своей чрезмерной для ее возраста полнотой, за которую ее прозвали Пышкой. Маленькая, круглая, как шар, заплывшая жиром, с пухлыми, перехваченными в суставах пальцами, напоминавшими связку коротеньких сосисок, с тугой и лоснящейся кожей, с огромной грудью, выступающей под платьем, она тем не менее была весьма привлекательна и пользовалась большим успехом благодаря своей привлекательной свежести. Лицо ее походило на румяное яблоко, на готовый распуститься пион; в верхней части этого лица выделялась пара великолепных черных глаз, осененных густыми и длинными ресницами, бросавшими тень на щеки, а в нижней — прелестный ротик, маленький, влажный, словно созданный для поцелуя, с мелкими и блестящими зубками.

Как уверяли, она обладала еще и другими неоценимыми достоинствами.

Как только ее узнали, между порядочными женщинами началось шушуканье и слова «проститутка», «позор» послышались так явственно, что Пышка подняла голову. Она обвела соседей таким смелым и вызывающим взглядом, что сразу воцарилось молчание и все опустили глаза. Один только Луазо игриво поглядывал на нее.

Но вскоре между тремя дамами, которых присутствие этой особы сразу сблизило, превратив чуть ли не в интимных подруг, снова завязался разговор. Они почувствовали, что им, добродетельным супругам, следует заключить союз против этой лишенной стыда продажной твари. Ибо законная любовь всегда с презрением смотрит на свою свободную сестру.

Трое мужчин, которых инстинкт консерватизма тоже объединил при виде Корнюде, завели беседу о денежных делах, в которой звучало некоторое высокомерие по отношению к беднякам. Граф Юбер рассказывал о больших убытках, которые он потерпел из-за пруссаков, — о расхищенном скоте, погибшем урожае, но в голосе его слышалась уверенность крупного землевладельца и миллионера, которого эти потери могли стеснить разве на какой-нибудь год, не больше, г-н Карре-Ламадон, крупная величина

в текстильной промышленности, позаботился на всякий случай перевести в Англию шестьсот тысяч франков, чтобы не бояться сюрпризов в это смутное время. Что касается Луазо, то он сумел сбыть французскому интендантству все оставшиеся у него в погребах простые вина, и теперь ему причиталась от казны огромная сумма, которую он и рассчитывал получить в Гавре.

Все трое дружески переглядывались. Несмотря на разницу в общественном положении, они чувствовали себя как бы братьями по богатству, членами одного великого масонского союза — союза тех, кто владеет, тех, у кого в карманах звенит золото.

Дилижанс подвигался так медленно, что к десяти часам утра они не проехали и четырех миль. Мужчинам пришлось три раза вылезать и идти в гору пешком. Пассажиры начали беспокоиться, так как они рассчитывали завтракать в Тоте, а между тем теперь уже нечего было надеяться добраться туда раньше ночи. Все смотрели на дорогу в надежде увидеть какой-нибудь кабачок, как вдруг дилижанс завяз в снежном сугробе, и понадобилось два часа, чтобы вытащить его оттуда.

Голод усиливался, портил всем настроение;

а на дороге — ни одного трактира, ни одного кабачка: близость пруссаков и проходившие здесь голодные французские солдаты разогнали всех торговцев.

В поисках чего-нибудь съестного мужчины обегали все придорожные фермы, но не достали даже хлеба. Недоверчивые крестьяне, опасаясь грабежей, попрятали все запасы, так как изголодавшиеся солдаты отнимали у них силой все, что находили.

Около часу дня Луазо объявил, что у него положительно подвело живот. Другие давно уже испытывали такие же муки; голод все сильнее давал себя знать и заставил умолкнуть все разговоры.

Время от времени кто-нибудь зевал, и почти тотчас же другой следовал его примеру. Каждый зевал по-своему, в зависимости от характера, воспитания и общественного положения: кто — широко и шумно, кто — тихонько, быстро прикрывая рукой разинутый рот, из которого шел пар.

Пышка несколько раз нагибалась, как бы ища что-то на полу, под своими юбками. Но всякий раз она с минутку колебалась, взглядывала на соседей и снова выпрямлялась. Все лица вокруг

побледнели и вытянулись. Луазо объявил, что он охотно заплатил бы тысячу франков за маленький окорок. Жена его сделала невольный жест, как бы собираясь протестовать, но потом успокоилась. Ей всегда было тяжело слышать, что люди сорят деньгами, и даже шуток на этот счет она не понимала.

— Должен сознаться, что я чувствую себя не особенно хорошо, — сказал граф. — Как это я не догадался захватить чего-нибудь съестного?!

Остальные мысленно упрекали себя в том же.

У Корнюде нашлась полная фляжка рому; он предложил ее спутникам, но все холодно отказались. Только Луазо отхлебнул из фляжки два раза и, возвращая ее владельцу, с благодарностью сказал:

— Это очень недурно: и согревает, и заглушает голод.

Выпитый ром привел его в хорошее настроение, и он предложил сделать так, как рассказывается в известной песне о корабле: съесть самого жирного из путешественников. Этот намек на Пышку пришелся не по вкусу благовоспитанной компании. Никто не откликнулся на шутку, один только Корнюде улыбнулся. Монахини перестали бормотать молитвы и, спрятав руки в длинные

рукава, сидели неподвижно, упорно не поднимая глаз и, вероятно, взывая к небу о помощи в ниспосланном им испытании.

Наконец в три часа, когда экипаж находился среди бесконечной равнины, где не видно было ни единой деревушки, Пышка быстро нагнулась и достала из-под скамьи корзину, покрытую белой салфеткой.

Сначала она вынула оттуда фаянсовую тарелочку и красивый серебряный бокал, затем большую миску, где лежали в застывшем соусе два цыпленка, разрезанные на куски; в корзине виднелись еще другие вкусные вещи, завернутые в бумагу: пирожки, фрукты, сласти — провизия, запасенная дня на три с таким расчетом, чтобы не было надобности пользоваться кухней постоялых дворов. Среди свертков с провизией торчали горлышки четырех бутылок. Пышка взяла из миски крылышко цыпленка, достала маленький хлебец — из тех, что в Нормандии называют «режанс», и принялась аккуратно есть.

Все взгляды устремились на нее. От аппетитного запаха раздувались ноздри, рты наполнялись слюной, и мучительно сжимались челюсти. Презрение дам к «этой девке» превратилось в яростную злобу. Казалось, они готовы были ее

убить, выбросить вон из кареты в снег вместе с ее бокалом, с ее корзинкой и со всей провизией.

Между тем Луазо пожирал глазами миску с цыплятами. Он сказал:

— Вот это отлично, сударыня!.. Вы оказались предусмотрительнее нас. Есть же люди, которые всегда обо всем подумают!

Пышка, подняв голову, обратилась к нему:

— Не угодно ли и вам, сударь? Ведь нелегко поститься с самого утра.

Луазо поклонился:

— Честное слово, не откажусь; я не в силах больше терпеть. На войне — как на войне! Не правда ли, сударыня?

И, бросив на окружающих взгляд, прибавил:

— Как отрадно в такие минуты встретить услужливого человека.

Он разложил на коленях газету, чтобы не запачкать брюк, захватил ножиком, который всегда носил в кармане, цыплячью ножку, покрытую желе, вонзил в нее зубы и стал жевать с таким явным наслаждением, что по дилижансу пронесся глубокий мучительный стон.

Тогда Пышка с ласковым смирением предложила монахиням разделить с нею завтрак. Обе тотчас же согласились и, не поднимая глаз, про-

бормотав какую-то благодарность, стали быстро есть. Корнюде также не отказался от предложенного соседкой угощенья и вместе с монахинями устроил нечто вроде общего стола, разостлав на коленях газеты.

Рты беспрестанно открывались и закрывались, жадно поглощая пищу, жевали, глотали. Луазо в своем углу старался вовсю и тихонько уговаривал жену последовать его примеру. Она долго отказывалась, но наконец, после сильного спазма в желудке, не выдержала. Тогда муж, подбирая изысканные выражения, спросил у «очаровательной попутчицы», не разрешит ли она предложить кусочек чего-нибудь г-же Луазо.

Пышка, приветливо улыбаясь, ответила:

— Ну, конечно, сударь, — и протянула ему миску с цыплятами.

Когда откупорили первую бутылку бордо, произошло некоторое замешательство: на всех имелся только один бокал. Из него пили по очереди, всякий раз вытирая его. Только Корнюде — вероятно из учтивости — прикоснулся губами к краю, еще влажному от губ своей соседки.

Окруженные жующими людьми, вдыхая запахи пищи, граф и графиня де Бревиль вместе с супругами Карре-Ламадон терпели ту ужасную

пытку, которую называют «муками Тантала». Вдруг молодая жена фабриканта испустила такой глубокий вздох, что все повернулись к ней. Она была бледна как снег, расстилавшийся вокруг экипажа; глаза ее закрылись, голова склонилась на грудь; она лишилась чувств. Муж в отчаянии умолял о помощи. Все растерялись, но тут старшая из монахинь, поддерживая голову больной, поднесла к ее губам бокал Пышки и влила ей в рот несколько капель вина. Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон зашевелилась, открыла глаза, улыбнулась и голосом умирающей объявила, что ей уже гораздо лучше. Все же монахиня, боясь, как бы обморок не повторился, заставила ее выпить целый стакан вина, заметив:

— Это от голода, только и всего.

Тогда Пышка, покрасневшая и смущенная, пролепетала, глядя на ничего еще не евших четырех пассажиров:

— Ах, боже мой, если бы только я смела, я бы предложила этим господам…

И замолчала, боясь услышать оскорбительный отказ. Но тут вмешался Луазо:

— Право же, в подобных случаях все люди братья и обязаны помогать друг другу. Да ну же, сударыни, бросьте церемонии, берите, черт

возьми! Кто знает, доберемся ли еще мы до места, где можно будет получить ночлег? При этакой езде мы будем в Тоте не раньше чем завтра в полдень.

Однако они все еще колебались. Ни у кого из них не хватало духу принять на себя ответственность и сказать «да».

Наконец граф положил этому конец. Обратясь к оробевшей толстухе, он сказал с величественным видом вельможи:

— Мы принимаем ваше предложение с благодарностью, сударыня.

Труден первый шаг. Лишь только Рубикон был перейден, все перестали стесняться. Корзинка Пышки быстро опорожнилась. В ней кроме цыплят был еще страсбургский пирог, паштет из жаворонков, кусок копченого языка, красанские груши, пряники, пирожные и полная банка маринованных огурчиков и лука. Пышка, как все женщины, обожала эти неудобоваримые яства.

Так как, истребляя запасы этой девушки, неудобно было ее не замечать, то с ней заговорили, сперва несколько сдержанно, потом, так как Пышка держала себя прекрасно, беседа стала более непринужденной. Графиня де Бревиль и г-жа Карре-Ламадон, обладавшие большим свет-

ским тактом, выказали по отношению к Пышке изысканную любезность. Особенно очаровательна была графиня со своей благосклонной снисходительностью знатной дамы, которой не может коснуться никакая грязь. И только толстая г-жа Луазо, грубая, как жандарм, оставалась все такой же нелюбезной: она мало говорила, но зато много ела.

Разговор шел, разумеется, о войне. Рассказывали о зверствах пруссаков, о храбрости французов; и все эти люди, бежавшие сами от врага, превозносили чужую доблесть. Затем перешли к личным делам каждого, и тут Пышка с неподдельным волнением и с той горячностью, с какой такие девушки выражают иногда свои естественные порывы, рассказала, почему она уехала из Руана.

— Сперва я думала остаться, — говорила она. — Дом у меня был полон всяких запасов, и я предпочла бы кормить нескольких солдат, чем уезжать из родных мест бог весть куда. Но как только я увидела этих пруссаков — чувствую: нет, не стерпеть! Кровь во мне так и закипела. Целый день я плакала от стыда. Эх, будь я мужчина, я бы им показала!.. Если бы моя горничная не держала меня за руки, когда я смотрела из окна на

этих жирных боровов в остроконечных касках, я бы всю свою мебель перешвыряла им в спину... Потом несколько человек из них пришло ко мне на постой, но я первому же вцепилась в горло. Что ж, разве немца не так же легко задушить, как и всякого другого? Я бы его прикончила, если бы меня не оттащили за волосы. Ну а после этого пришлось прятаться... И как только представился случай, я уехала.

Пышку осыпали похвалами. Она выросла в глазах своих спутников, далеко не проявивших такой отваги. А Корнюде слушал ее с одобрительной и благосклонной улыбкой — как священник внимает верующему, который славит господа. Ведь длиннобородые демократы считают патриотизм своей монополией, так же как люди в рясах — религию. Он, в свою очередь, заговорил тоном проповедника, напыщенными фразами тех воззваний, которые ежедневно расклеивались на стенах, и закончил красноречивой тирадой, в которой разносил в пух и прах «этого негодяя Баденге»[6].

Но тут Пышка возмутилась, так как она была

[6] Сноски: 6

Насмешливая кличка, которую дали Наполеону III его противники, так как он скрывался под этой фамилией после одной из своих политических авантюр.

бонапартисткой. Покраснев, как вишня, она прокричала, заикаясь от негодования:

— Хотела бы я видеть, что бы вы сделали на его месте, вы! Могу себе представить! Ведь это вы предали его!.. Если бы нами стали управлять такие болтуны, как вы, пришлось бы всем бежать из Франции.

Корнюде невозмутимо выслушал это, усмехаясь с видом презрительного превосходства, но чувствовалось, что сейчас начнется перебранка; тогда вмешался граф, который не без труда успокоил расходившуюся девушку, заявив авторитетным тоном, что всякое искреннее убеждение достойно уважения.

Однако графиня и жена фабриканта, питавшие органическую ненависть так называемых «приличных людей» к республике и свойственную женщинам инстинктивную любовь к внешнему блеску деспотических монархий, почувствовали невольную симпатию к этой сохранившей достоинство проститутке, взгляды которой были так похожи на их собственные.

Корзина Пышки опустела. Десять человек без труда уничтожили ее содержимое, сожалея, что она не оказалась еще больших размеров. Разговор некоторое время еще продолжался, но после того,

как все наелись, — уже с меньшим оживлением.

Надвигалась ночь, становилось все темнее, и, несмотря на свою полноту, Пышка дрожала от холода, который всегда ощущается нами сильнее во время пищеварения. Госпожа де Бревиль предложила ей свою грелку, которую в течение дня уже несколько раз наполняли углем, и девушка тотчас же взяла ее, так как у нее закоченели ноги. Г-жа Карре-Ламадон и г-жа Луазо дали свои грелки монахиням.

Кучер зажег у кареты фонари. Их яркий свет озарил облако пара над потными крупами коренников и снежную пелену по обеим сторонам дороги, словно развертывавшуюся под этим движущимся светом.

Внутри дилижанса уже ничего нельзя было различить. Вдруг между Пышкой и Корнюде поднялась какая-то возня. И Луазо, рыскавшему глазами в темноте, показалось, что длиннобородый сосед Пышки быстро откинулся назад, как если бы его бесшумно угостили увесистым тумаком.

Впереди на дороге замелькали какие-то светлые точки. Это был Тот. Путешествие продолжалось уже одиннадцать часов, а считая еще два часа, потраченные на четыре остановки, чтобы дать

лошадям поесть и передохнуть, — тринадцать часов. Дилижанс въехал в местечко и остановился перед «Коммерческой гостиницей».

Дверца распахнулась — и вдруг хорошо знакомый звук заставил всех пассажиров содрогнуться. То был звон волочащейся по земле сабли. Вслед за этим грубый голос что-то прокричал по-немецки.

Несмотря на то что дилижанс остановился, никто из пассажиров не вылезал. Они как будто боялись, что их зарежут тут же, при выходе. Но появился кучер с фонарем и внезапно осветил всю внутренность кареты и два ряда ошеломленных лиц с разинутыми ртами и вытаращенными от ужаса и удивления глазами.

Рядом с кучером, ярко освещенный фонарем, стоял немецкий офицер — высокий молодой человек, очень тонкий и белокурый, затянутый в мундир, как барышня в корсет. Надетая набекрень плоская лакированная фуражка делала его похожим на рассыльного в английском отеле. Непомерно длинные прямые усы свисали по обе стороны рта, все более и более утончаясь и заканчиваясь одним белокурым шнурком, столь тонким, что конец его был совсем незаметен. Эти усы, казалось, давили на углы рта, оттягивали

щеки, а у губ образовывали складку.

Офицер по-французски, но с эльзасским акцентом предложил приехавшим выйти из кареты, сказав властным тоном:

— Не угодно ли вам выйти, господа?

Первыми вышли монахини с покорным видом праведниц, привыкших к послушанию. За ними — граф и графиня, потом фабрикант с женой и Луазо, подталкивавший впереди себя свою грузную половину. Едва ступив на землю, он не столько из вежливости, сколько из осторожности сказал офицеру:

— Здравствуйте, сударь.

Но тот с дерзким высокомерием всесильного человека взглянул на него, не отвечая.

Пышка и Корнюде, несмотря на то что они сидели у самой дверцы, вышли последними, гордые и надменные перед лицом врага. Толстушка пыталась овладеть собой и казаться спокойной. Демократ трагическим движением слегка дрожавшей руки теребил свою длинную рыжую бороду. Оба старались сохранить достоинство, сознавая, что в подобных случаях каждый до некоторой степени является представителем своей родины. Оба они были возмущены приниженностью своих спутников. Пышка старалась

выказать больше гордости, чем ее спутницы, эти порядочные женщины, а Корнюде, считая, что должен служить примером, всем своим видом как бы продолжал ту миссию сопротивления, которую он начал, роя на дорогах окопы.

Все приехавшие вошли в просторную кухню гостиницы, и немец потребовал, чтобы ему предъявили подписанные командующим разрешения на выезд, в которых были указаны имя, занятие и приметы каждого. Он долго рассматривал всех, сличая эти приметы, потом сказал отрывисто:

— Все в порядке, — и исчез.

Только теперь путешественники вздохнули свободно. Они были еще голодны и заказали ужин. Его обещали приготовить через полчаса, и, пока две служанки хлопотали на кухне, все общество отправилось осматривать свои комнаты. Комнаты эти выходили в длинный коридор, кончавшийся дверью с выразительным номером на матовом стекле.

Когда наконец стали садиться за стол, появился сам хозяин гостиницы.

Это был страдавший одышкой толстяк, бывший лошадиный барышник; он постоянно хрипел, сипел, покашливал от скопления мокроты в груди.

От отца он унаследовал фамилию Фоланви.

Он спросил:

— Кто здесь мадемуазель Элизабет Руссе?

Пышка вздрогнула и обернулась:

— Это я.

— Мадемуазель, прусский офицер желает немедленно переговорить с вами.

— Со мной?

— Да, с вами, если вы действительно Элизабет Руссе.

Она смутилась, подумала с минуту, потом решительно объявила:

— Хоть бы и так, но я к нему не пойду.

Все заволновались. Приказ обсуждали на все лады, искали объяснений. Граф подошел к Пышке.

— Вы не правы, сударыня, так как ваш отказ может навлечь серьезные неприятности не только на вас, но и на всех ваших спутников. Никогда не следует противиться людям, которые сильнее нас. И, право же, это вам ничем не грозит: вернее всего, дело идет о какой-нибудь упущенной формальности.

Все дружно поддержали графа: стали просить ее, убеждать ее, увещевать, опасаясь осложнений, которые могло вызвать ее упорство. В конце концов ее уговорили. Она сказала:

— Я это делаю только ради вас, честное слово.

Графиня пожала ей руку:

— И мы все вам за это благодарны.

Пышка вышла. Ее дожидались, не приступая к ужину. Каждый сокрушался, зачем не потребовали его вместо этой девушки, такой резкой и вспыльчивой, и мысленно готовил шаблонные фразы на случай, если бы и его вызвали к офицеру.

Через десять минут Пышка вернулась, багрово-красная, задыхаясь от гнева. Она бормотала, тяжело дыша:

— Ах, негодяй!.. Вот негодяй!..

Все окружили ее, желая узнать, в чем дело. Но она упорно отмалчивалась. Когда же граф стал настаивать, она ответила с большим достоинством:

— Нет, я не могу рассказать. Это никого не касается.

Все уселись вокруг высокой суповой миски, из которой распространялся запах капусты. Несмотря на только что пережитую тревогу, ужин прошел весело. Сидр оказался превосходным. Но только супруги Луазо и монахини из экономии пили его. Остальные заказали вино; Корнюде потребовал пива. У него была своя особенная манера

откупоривать бутылки, вспенивать жидкость и разглядывать ее, наклоняя стакан, который он затем поднимал к свету, чтобы лучше определить цвет пива. Когда он пил, его длинная борода, одного цвета с его любимым напитком, казалось, вздрагивала от наслаждения. Он скашивал глаза, не отрывая их от кружки, и имел вид человека, выполняющего свое единственное назначение в этом мире. Можно было подумать, что он в это время мысленно старался связать воедино две великие страсти своей жизни — светлое пиво и революцию. И в самом деле, он не мог наслаждаться первым, не думая о второй.

Супруги Фоланви ужинали в конце стола. Муж, хрипевший, как испорченный паровоз, настолько задыхался, что не мог разговаривать во время еды. Зато жена ни на минуту не умолкала. Она описывала все свои впечатления от прихода пруссаков, подробно рассказывала, что они делали, что говорили. Она с ненавистью говорила о них, прежде всего потому, что они ей стоили денег, а во-вторых, потому, что ее два сына были в армии. Рассказывая, она обращалась главным образом к графине, довольная тем, что может побеседовать со знатной дамой.

Потом, понизив голос, она перешла к некото-

рым щекотливым темам. Муж время от времени останавливал ее:

— Ты бы лучше придержала язык, мадам Фоланви…

Но она, не обращая на него внимания, продолжала:

— Да, сударыня, эти люди только и делают, что жрут картошку да свинину, свинину да картошку. И не верьте, когда вам будут говорить про их опрятность. Все это вздор. Пакостят повсюду, с позволения сказать… А посмотрели бы вы, как у них идет учение целые дни напролет. Соберутся все в поле — и давай маршировать: то вперед, то назад, то туда, то сюда. Сидели бы лучше у себя дома да землю пахали или чинили бы дороги, что ли! Но от этих военных, скажу я вам, сударыня, никому никакой пользы. Их только тому и учат, что убивать, а бедный народ корми их. Я женщина старая, необразованная, но и я, видя, как они тут из сил выбиваются, топчутся до упаду с утра до вечера, не раз думаю: вот ведь есть люди — чего только не придумают, стараясь пользу принести, а другие в это время из кожи лезут, чтобы причинить побольше вреда. Нет, разве это не мерзость — убивать людей, все равно кто бы они ни были — пруссаки, англичане, поляки

или французы? Когда вы мстите кому-нибудь за зло, то считают, что это дурно, и вас за это судят. А когда наших сыновей бьют, как дичь, из ружей — это, видно, хорошо, раз награждают крестами того, кто перебил больше народу! Нет, что ни говорите, а мне этого не понять!

Раздался голос Корнюде:

— Война — варварство, когда нападают на мирных соседей. Но она — священный долг, когда защищают отечество.

Старая женщина покачала головой.

— Да, когда приходится защищаться — тогда другое дело. Но не лучше ли было бы убить всех королей, которые затевают войну для собственного удовольствия?

У Корнюде засверкали глаза.

— Браво, гражданка! — воскликнул он.

Карре-Ламадон глубоко задумался. Он был горячим поклонником знаменитых полководцев, и тем не менее здравые суждения этой крестьянки навели его на размышления о том, какое богатство могли бы принести стране все эти праздные и, следовательно, разорительные для нее руки, все эти силы, которые теперь расходуются непроизводительно; а если бы их применить в промышленности, они могли бы создать то, на

завершение чего требуются века.

Луазо тем временем, встав со своего места, подсел к трактирщику и начал о чем-то с ним шептаться. Толстяк смеялся, плюясь и кашляя. Его огромное брюхо тряслось от хохота при шуточках собеседника. В заключение он заказал ему шесть бочек бордо к весне, когда пруссаки уйдут.

Как только ужин окончился, все пошли спать, так как были разбиты усталостью.

Но Луазо, кое-что заметивший, предоставил своей супруге улечься в кровать, а сам принялся прикладывать то ухо, то глаз к замочной скважине, стараясь, как он называл это, «проникнуть в тайны коридора».

Приблизительно через час он услышал шорох, поскорее прильнул глазом к скважине и увидел Пышку, казавшуюся еще полнее в голубом кашемировом пеньюаре, обшитом белыми кружевами. Со свечой в руке она направлялась к двери с круглой цифрой в конце коридора. Вслед за тем приоткрылась одна из боковых дверей, и, когда Пышка спустя несколько минут возвращалась обратно к себе в комнату, Корнюде в подтяжках последовал за ней. Они тихо обменялись несколькими словами, потом остановились. Пышка, видимо, решительно защищала вход в

свою комнату. Луазо, к своему огорчению, не мог ничего расслышать, но под конец они заговорили громче, и ему удалось уловить несколько фраз. Корнюде с жаром настаивал:

— Да ну же, оставьте глупости… Что вам стоит?

Пышка с негодующим видом возразила:

— Нет, мой милый, бывают минуты, когда подобные вещи не делаются. К тому же здесь это был бы просто срам…

Он, очевидно, ничего не понимал и спросил:

— Почему?

Тогда она вышла из себя и еще более повысила голос:

— Почему? Вам непонятно почему? Когда пруссаки здесь, в доме, может быть, даже в соседней комнате?

Корнюде замолчал. Эта стыдливость проститутки, из патриотизма не желающей предаваться ласкам, когда рядом неприятель, должно быть, вновь пробудила в его душе заснувшее чувство чести. Он только поцеловал Пышку и на цыпочках вернулся к себе.

Луазо, возбужденный этой сценой, отошел от скважины, сделал антраша, потом повязал голову на ночь шелковым платком, приподнял одеяло, под которым скрывалась мощная фигура

его спутницы жизни, и разбудил ее поцелуем, прошептав:

— Ты меня любишь, дорогая?

Во всем доме наступила наконец тишина. Но скоро откуда-то — не то из погреба, не то с чердака — стал доноситься могучий храп, ровный, монотонный; протяжный и глухой звук этот напоминал пыхтение парового котла. Это храпел господин Фоланви.

Так как накануне было решено выехать в восемь часов утра, то на следующий день все общество к этому часу собралось на кухне. Однако дилижанс, занесенный снегом, торчал сиротливо посреди двора, без лошадей и без кучера. Последнего тщетно искали в конюшне, на сеновале, в каретном сарае. Тогда все мужчины решили отправиться на розыски в деревню. Выйдя из гостиницы, они очутились на площади, в конце которой виднелась церковь. По обеим сторонам тянулись ряды низеньких домов, около которых они заметили прусских солдат. Первый попавшийся им на глаза чистил картошку. Второй, подальше, убирал лавку парикмахера. Третий, обросший бородой чуть не до самых глаз, ласкал плачущего ребенка и, чтобы успокоить его, укачивал на руках. А толстые крестьянки, мужья

которых были в действующей армии, знаками объясняли своим послушным победителям, что они должны сделать — наколоть ли дров, заправить ли суп или намолоть кофе. Один солдат даже стирал белье для своей хозяйки, совсем дряхлой и беспомощной.

Граф, удивленный тем, что увидел, обратился с расспросами к причетнику, выходившему из церковного дома. Старая церковная крыса ответила:

— Да, эти — народ неплохой. Говорят, это будто бы и не пруссаки: они из каких-то мест еще подальше, хорошо даже не знаю откуда. И у всех у них дома остались жены и дети. Не очень-то радует эта война, можете мне поверить! Уж верно, там, так же как здесь, плачут по мужьям. Им тоже война принесет только нищету да горе, как и нам. Здесь у нас пока не так еще худо, потому что они никого не обижают и работают, точно у себя дома. Видите ли, сударь, бедным людям приходится помогать друг другу. Это богатые затевают войны.

Корнюде был так возмущен этой картиной дружеского согласия между победителями и побежденными, что предпочел вернуться в гостиницу и больше оттуда не выходить. Луазо сострил насчет пруссаков, что они «пополняют

убыль населения». Карре-Ламадон посмотрел на дело серьезнее: «Они восстанавливают то, что разрушили».

Однако кучера они все же не находили. Наконец его отыскали в кабачке, где он с денщиком немецкого офицера по-братски угощался за одним столом.

Граф спросил его:

— Разве вам не было приказано запрягать к восьми часам?

— Так-то оно так, да я получил после другой приказ.

— Какой?

— Не запрягать вовсе.

— Кто же вам это приказал?

— Прусский капитан, вот кто!

— Но почему же?

— А мне откуда знать? Подите спросите его. Мне запрещено запрягать, я и не запрягаю — вот и все.

— Он сам вам это сказал?

— Нет, сударь, мне хозяин передал приказ от его имени.

— Когда?

— Вчера вечером, когда я собирался идти спать.

Трое путешественников возвратились в гостиницу сильно встревоженные.

Они потребовали трактирщика, но служанка ответила, что хозяин из-за своей одышки никогда не встает раньше десяти часов. Ей строго запрещено будить его до этого часа, разве только если случится пожар.

Тогда они пожелали переговорить с офицером, но оказалось, что это совершенно невозможно, несмотря на то что он жил тут же, в гостинице: только одному Фоланви было предоставлено право обращаться к нему по всяким частным делам. Оставалось ждать. Дамы разошлись по своим комнатам и занялись разными пустяками.

Корнюде расположился в кухне у большого очага, в котором пылал яркий огонь. Он попросил принести маленький столик и бутылку пива, достал свою трубку, которая пользовалась среди демократов почти таким же почетом, как и ее хозяин, как будто, служа ему, она тем самым служила и отечеству. Это была отличная пенковая трубка, замечательно обкуренная, такая же черная, как зубы ее хозяина, благоухающая, изогнутая, блестящая, как бы приспособившаяся к руке Корнюде и дополнявшая его физиономию. Он сидел неподвижно, глядя то на огонь очага,

то на шапку пены в своей кружке. И, отхлебнув глоток пива, он всякий раз с довольным видом проводил своими длинными худыми пальцами по жирным волосам и обсасывал пену с усов.

Луазо под предлогом того, что ему хочется размять ноги, отправился сбывать свои вина местным торговцам. Граф и фабрикант беседовали о политике. Они пытались предугадать, что ожидает Францию. Один возлагал все надежды на Орлеанский дом, другой верил, что в минуту полного отчаяния придет неведомый избавитель, герой, новый Дюгеклен[7], или новая Жанна д'Арк, может быть, или новый Наполеон I. Ах если бы наследный принц не был так молод! Корнюде слушал разговор с усмешкой человека, посвященного в тайны судеб. Его трубка наполняла своим ароматом всю кухню.

Но вот пробило десять часов, и появился Фоланви. К нему кинулись с расспросами. Но он только повторил несколько раз одну и ту же фразу:

— Офицер мне сказал: «Господин Фоланви, запретите завтра закладывать карету для приезжих. Я не желаю, чтобы они уехали, пока я не дам им разрешения. Слышали? Это все».

---

[7] Сноски: 7

Бертан Дюгеклен — французский полководец XIV в., разбивший вторгшихся во Францию англичан.

Тогда путешественники решили добиться свидания с самим офицером. Граф послал ему визитную карточку, на которой и Карре-Ламадон приписал свое имя, перечислив все свои титулы. В ответ немец велел передать, что примет этих двух господ, после того как позавтракает, то есть около часу дня.

Между тем пришли сверху дамы, и, несмотря на тревожное состояние, все немного закусили. Пышка казалась больной и чем-то удрученной.

Они кончали пить кофе, когда пришел денщик за графом и Карре-Ламадоном.

К ним присоединился Луазо. Они попытались привлечь и Корнюде, чтобы придать побольше торжественности их обращению к коменданту, но Корнюде с важностью объявил, что он не намерен ни при каких условиях вступать в какие-либо сношения с немцами. После этого он вернулся на свое место у очага и потребовал новую бутылку пива.

Трое мужчин поднялись наверх и были введены в лучшую комнату гостиницы, где офицер принял их, развалясь в кресле и положив ноги на камин, с длинной фарфоровой трубкой в зубах. На нем был крикливо яркий халат, захваченный, вероятно, в покинутом доме какого-нибудь буржуа

с дурным вкусом. Он не встал, не поздоровался с вошедшими, даже не взглянул на них. Он являл собой великолепный образец неприкрытой грубости солдата-победителя.

Наконец через несколько минут он произнес:

— Что вам угодно?

Граф ответил:

— Мы хотим уехать, сударь.

— Нет.

— Разрешите спросить, чем вызван ваш отказ?

— Тем, что я не желаю.

— Позвольте почтительно заметить вам, сударь, что ваш главнокомандующий выдал нам разрешение на проезд до Дьепа. И я не вижу, чем вызвана такая суровость с вашей стороны.

— Я не хочу — вот и все. Можете идти.

Все трое поклонились и вышли.

День прошел печально. Никто не понимал, чем вызван каприз немца, и в голову приходили самые странные догадки. Все собрались в кухне и вели бесконечные споры, придумывая самые неправдоподобные объяснения. Уж не хотят ли их задержать в качестве заложников? Но с какой целью? А может быть, их заберут в плен? Или, пожалуй, еще потребуют у них большой выкуп? Эта мысль привела их в ужас. Больше всего испу-

гались те, кто был богаче других. Они уже ясно представляли себе, как их заставят для спасения своей жизни отдать целые мешки золота в руки этого наглеца-солдата. Они ломали голову, придумывая, как бы поискуснее солгать, как бы скрыть свое богатство и выдать себя за неимущих, за последних бедняков. Луазо снял свою цепочку от часов и спрятал ее в карман. С наступлением темноты общее беспокойство еще усилилось. Зажгли лампу, и, так как до обеда оставалось еще два часа, г-жа Луазо предложила для развлечения сыграть в тридцать одно[8]. Все согласились. Даже Корнюде, потушив из вежливости свою трубку, принял участие в игре.

Граф перетасовал колоду и сдал карты. У Пышки сразу оказалось тридцать одно очко. Очень скоро увлечение игрой заглушило мучившую всех тревогу. Корнюде заметил даже, что чета Луазо начинает плутовать.

Наступило время обеда. Только что они собрались сесть за стол, как явился Фоланви и прохрипел:

— Прусский офицер приказал спросить у мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она

---

[8] Сноски: 8
Карточная игра.

своего решения?

Пышка вся побледнела, затем лицо ее покрылось густым румянцем. Гнев так душил ее, что некоторое время она не могла произнести ни слова. Наконец она разразилась:

— Скажите этому негодяю, этому скоту, этой прусской сволочи, что я никогда не соглашусь, слышите, никогда, никогда, никогда!

Хозяин ушел. Пышку все обступили, засыпали вопросами, стараясь выведать наконец, в чем дело. Сначала она упорно отмалчивалась, но скоро гнев развязал ей язык:

— Чего он хочет?.. Чего он хочет?.. Он хочет спать со мной! — закричала она.

Ее выражения даже никого не покоробили, настолько сильно было всеобщее возмущение. Корнюде с такой силой стукнул кружкой о стол, что она разбилась. Раздался общий вопль ярости против этого гнусного нахала-солдафона, поднялась буря негодования. Все объединялись для сопротивления, как будто каждому предстояло принести часть той жертвы, которая требовалась от Пышки. Граф с омерзением заявил, что эти господа ведут себя, как дикие варвары. Особенно горячее и нежное сочувствие выражали Пышке женщины. Монахини, появлявшиеся внизу лишь

в часы еды, молчали, не поднимая глаз.

После того как улеглось первое волнение, все же сели обедать, но за столом говорили мало; все размышляли.

После обеда дамы рано ушли к себе, а мужчины остались покурить и составили партию в экарте. Пригласили и Фоланви, надеясь как-нибудь незаметно выведать у него, каким путем можно победить упорство офицера. Но Фоланви, занятый только картами, ничего не слышал, ничего не отвечал. Он все время только твердил:

— Давайте не отвлекаться от игры, господа!

Он с таким вниманием следил за игрой, что даже забывал откашляться, и по временам грудь его уподоблялась органу: из свистящих легких его вырывалась вся звуковая гамма астмы — от глубоких и низких нот до пронзительных, напоминавших крик молодого петушка, который учится петь.

Он даже отказался идти спать, когда за ним пришла жена, от усталости едва державшаяся на ногах. В конце концов она ушла наверх без него: она «ранняя птичка», встает всегда на заре, а муж ее, «этот полуночник», всегда рад просидеть ночь с приятелями.

Фоланви крикнул ей вслед:

— Поставь у огня мой гоголь-моголь! — и снова углубился в игру. Когда стало ясно, что от него ничего не добьешься, все объявили, что уже поздно и пора спать, и разошлись по своим комнатам.

На следующее утро все опять встали довольно рано со смутной надеждой и с еще более сильным желанием уехать. Их ужасала мысль, что еще целый день, может быть, предстоит провести в этой ужасной харчевне.

Увы! Лошади по-прежнему стояли в конюшне и кучер не показывался. От нечего делать они побродили вокруг кареты.

Завтрак прошел очень уныло. По отношению к Пышке ощущался какой-то холодок. Как известно, утро вечера мудренее, и теперь все дело представлялось уже в несколько ином свете. Они уже начинали сердиться на Пышку за то, что она не побывала тайком у пруссака и не приготовила к утру приятный сюрприз своим попутчикам. Что могло быть проще? Да и кто бы узнал об этом? Для приличия она могла сказать офицеру, что делается это из жалости к ним. Что это составляло для такой женщины, как она?

Однако этих соображений никто пока не высказывал вслух.

После полудня, так как все умирали от скуки,

граф предложил прогуляться по окрестностям. Они хорошенько укутались и вышли всей компанией, за исключением Корнюде, который предпочел остаться у огня, и монахинь, проводивших все время в церкви или у священника.

Мороз, крепчавший с каждым днем, жестоко щипал нос и уши. Ноги так зябли, что каждый шаг причинял боль. И таким жутким унынием веяло на всех от расстилавшихся перед ними полей и бескрайней белизны снежного покрова, что они сразу повернули обратно со сжимавшимся от холода сердцем.

Четыре женщины шли впереди, за ними на некотором расстоянии — трое мужчин.

Луазо, уловив общее настроение, неожиданно спросил, долго ли им придется торчать в такой дыре из-за «этой девки»? Граф, как всегда, корректный, возразил, что нельзя требовать от женщины такой тяжелой жертвы и что во всяком случае это может исходить только от нее самой. Карре-Ламадон заметил, что если французы, как предполагается, пойдут в контрнаступление со стороны Дьепа, то столкновение с пруссаками, безусловно, произойдет именно здесь, в Тоте. Эта мысль встревожила обоих собеседников фабриканта.

— А не двинуться ли нам отсюда пешком? — предложил Луазо.

Граф пожал плечами:

— Мыслимо ли это? По такому снегу! Да еще с женщинами! И, кроме того, за нами сразу снарядят погоню, поймают через десять минут, и мы как пленники очутимся во власти солдат.

Это было верно; все замолчали.

Дамы тем временем беседовали о нарядах; но среди них ощущалась какая-то натянутость.

Неожиданно в конце улицы показался офицер. На фоне снега, замыкавшего горизонт, выделялась его высокая фигура в мундире с перетянутой осиной талией. Он шагал, широко расставляя ноги, той особенной походкой военных, которые боятся запачкать свои тщательно начищенные сапоги.

Проходя мимо дам, он поклонился им, мужчин же удостоил только презрительным взглядом. У тех, впрочем, хватило достоинства не поклониться ему. Только Луазо протянул было руку к своей шляпе.

При виде офицера Пышка вспыхнула до ушей. А три замужние женщины почувствовали острое унижение, оттого что этот солдат встретил их в обществе особы, по отношению к которой он

позволил себе такую дерзость.

Они заговорили о нем, о его фигуре, лице. Г-жа Карре-Ламадон, знавшая множество офицеров и понимавшая в них толк, нашла, что этот совсем не дурен. Она даже пожалела, что он не француз, так как из него вышел бы красавец-гусар, по которому все женщины сходили бы с ума.

Возвратясь в гостиницу, они не знали, чем бы заняться. Стали даже обмениваться колкостями из-за разных пустяков. Пообедали быстро, в молчании, и после этого сразу улеглись спать, чтобы как-нибудь убить время.

На следующее утро на всех лицах была написана усталость и скрытое озлобление. С Пышкой дамы почти не разговаривали.

Послышался колокольный звон: это звонили в церкви по случаю крестин. У Пышки был ребенок, отданный на воспитание в крестьянскую семью в Ивето. Она навещала его раз в год, а то и реже, и никогда о нем не вспоминала. Но мысль о крестинах этого чужого ребенка вдруг вызвала в ее сердце прилив горячей нежности к ее собственному, и ей захотелось присутствовать на обряде.

Как только она ушла, все переглянулись и подсели ближе друг к другу, чувствуя, что пора

наконец на что-нибудь решиться. Луазо вдруг осенила мысль: предложить офицеру, чтобы он задержал одну Пышку, а всех остальных отпустил.

Фоланви и на этот раз взялся выполнить поручение, но почти тотчас же возвратился: немец выгнал его вон. Зная человеческую натуру, он решил не выпускать всю компанию до тех пор, пока его желание не будет удовлетворено.

Тут уж г-жа Луазо, не вытерпев, дала волю своей природной вульгарности.

— Не сидеть же нам здесь до самой смерти, в самом деле! Раз у нее такое ремесло, у этой потаскушки, и она проделывает это со всеми мужчинами, какое право имеет она отказывать тому или другому? Ведь путалась же она, с позволения сказать, с каждым встречным и поперечным в Руане, даже с кучерами. Да, сударыня, с кучером префекта! Мне это отлично известно, потому что он покупает у нас вино. А теперь, когда нужно вывести нас из затруднения, эта дрянь разыгрывает из себя недотрогу!.. Я нахожу, что этот офицер ведет себя еще очень прилично. Очень может быть, что он просто изголодался по женщинам. И, конечно, он предпочел бы кого-нибудь из нас трех. Но, как видите, он довольствуется той, которая

доступна для всех. Он относится с уважением к замужним женщинам. Подумайте, ведь он здесь хозяин! Ему стоит только сказать «хочу» — и он может взять нас силой. Мало ли у него солдат?

Две другие дамы слегка вздрогнули. У хорошенькой г-жи Карре-Ламадон заблестели глаза, и она чуточку побледнела, как будто уже представила себе мысленно, как офицер насилует ее.

Подошли мужчины, до сих пор беседовавшие в стороне. Разъяренный Луазо готов был выдать немцу «эту негодяйку» связанной по рукам и по ногам. Но граф, насчитывавший в своем роду трех посланников и даже по наружности своей дипломат, был сторонником более осторожной и ловкой политики.

— Надо ее склонить к этому, — сказал он.

Стали вырабатывать план действий.

Дамы придвинулись ближе друг к другу и понизили голос. Разговор стал общим, каждый высказывал свои соображения. При этом вполне соблюдалось внешнее приличие. В особенности дамы умудрялись находить для самых скабрезных вещей тончайшие обороты и изящные выражения. Посторонний человек ничего бы не понял, настолько они были осторожны в выборе слов. Но так как броня целомудренной стыд-

ливости, в которую облачена каждая светская женщина, является лишь тонкой поверхностной оболочкой, то наши дамы упивались этой фривольностью и безмерно веселились в душе, чувствуя себя в своей стихии, смакуя любовные делишки со сладострастием лакомки-повара, стряпающего ужин для другого.

В конце концов эта история стала казаться им такой забавной, что к ним снова вернулось веселое настроение. Шутки графа, немного рискованные, но умело сказанные, вызывали у всех улыбки. Луазо, в свою очередь, отпустил несколько более откровенных непристойностей, но и они не смутили никого. Теперь у всех была на уме одна и та же мысль, грубо выраженная г-жой Луазо: «Раз у этой девки такое ремесло, с какой стати она отказывает именно этому офицеру?» Хорошенькая г-жа Карре-Ламадон, казалось, даже находила, что на месте Пышки она меньше всего стала бы сопротивляться ему.

Долго подготовлялась эта блокада, словно дело шло об осаде какой-нибудь крепости. Договорились, какую каждый из них возьмет на себя роль, какие доводы он будет приводить, какие маневры употребит. Выработали план атак, военных хитростей, которые следовало пустить в

ход, предусмотрены были все неожиданности, могущие возникнуть при штурме этой живой крепости, которую хотели заставить впустить неприятеля.

Один лишь Корнюде оставался в стороне, не принимая никакого участия в этой затее.

Все были так поглощены своими соображениями, что и не заметили прихода Пышки. Но легкое «тс-с», произнесенное графом, заставило всех поднять глаза. Она здесь. Все сразу замолчали. Сначала какое-то стеснение мешало заговорить с нею. Графиня, более других опытная в светском лицемерии, первая спросила:

— Ну что, интересно было на этих крестинах?

Толстушка, еще взволнованная, принялась рассказывать обо всем, что видела, описывала лица и манеры присутствовавших на крестинах и даже самую церковь. В заключение она заметила:

— Хорошо бывает иногда помолиться.

До завтрака дамы ограничились тем, что были с ней очень любезны, чтобы увеличить ее доверие и готовность следовать их советам.

Но, едва сели за стол, началось наступление. Сперва завели туманный разговор о самопожертвовании. Приводили примеры из древности: историю Юдифи и Олоферна, потом, неизвест-

но почему, Лукреции и Секста. Вспомнили и Клеопатру, которая, принимая на своем ложе всех вражеских полководцев, превращала их в покорных рабов. Потом пошла уже какая-то фантастическая история — плод воображения этих невежественных миллионеров — о римских гражданках, которые отправились в Капую, чтобы усыпить в своих объятиях Ганнибала, его военачальников и целые фаланги наемников. Припомнили всех женщин, которые задерживали наступление завоевателей, превращая свое тело в поле сражения, властвуя с его помощью, пользуясь им как оружием; женщин, которые своими геройскими ласками покоряли людей ненавистных или презренных, жертвуя своим целомудрием ради мести или преданности.

Рассказали даже в сдержанных выражениях об англичанке из знатной семьи, согласившейся привить себе ужасную заразную болезнь, с тем чтобы передать ее Бонапарту, который спасся каким-то чудом, почувствовав внезапную слабость в час рокового свидания.

Все это рассказывалось в приличной и осторожной форме, сквозь которую порою прорывался нарочитый энтузиазм, звучавший как призыв к подражанию.

В конце концов создавалось впечатление, что удел женщин в этом мире — постоянно жертвовать собой, предоставляя свое тело для удовлетворения грубых солдатских прихотей.

Благочестивые монахини, казалось, ничего не слышали, погруженные в глубокую задумчивость. Пышка хранила молчание.

Ее на весь остаток дня предоставили собственным размышлениям. Но теперь, обращаясь к ней, почему-то не говорили «сударыня», как бы желая несколько снизить степень уважения, которое она завоевала, дать ей почувствовать ее позорное положение.

За обедом, когда подавали суп, снова появился Фоланви и повторил тот же вопрос, что и накануне:

— Прусский офицер спрашивает мадемуазель Элизабет Руссе, не переменила ли она своего решения?

Пышка сухо ответила:

— Нет.

Во время обеда коалиция несколько ослабела. У Луазо вырвались три неосторожные фразы. Все старались привести новые примеры из истории, но не могли ничего придумать. Тут графиня, быть может, без всякой задней мысли, просто

побуждаемая смутной потребностью отдать дань религии, обратилась к старшей из монахинь с каким-то вопросом о подвижничестве святых. Ведь многие из них совершали деяния, которые в наших глазах являются преступными. Но церковь охотно прощает такие преступления, когда они совершаются во славу божию или ради блага ближнего. Это был сильный аргумент, и графиня им воспользовалась.

Было ли тут своего рода молчаливое соглашение, тайная снисходительность, которая свойственна всякому носящему церковную одежду, или просто пришедшаяся весьма кстати бестолковость и глупая услужливость, но старая монахиня оказала заговору весьма существенную поддержку. Ее считали застенчивой, а она неожиданно проявила смелость, красноречие и страстность. Она принадлежала к числу тех, кого мало смущают казуистические тонкости. Ее убеждения были крепче железа, вера никогда не колебалась, совесть не знала сомнений. Жертва Авраама казалась ей вполне естественной: она и сама не замедлила бы убить отца и мать, если бы на то было веление свыше. По ее мнению, ничто не могло быть неугодно господу, раз оно сделано с похвальным намерением. Воспользовавшись

религиозным авторитетом своей неожиданной союзницы, графиня постаралась получить от нее как бы толкование известного нравственного принципа: «Цель оправдывает средства».

Она спросила:

— Так вы, сестрица, полагаете, что господу богу угодны все пути и он простит всякий грех, если только побуждение чисто?

— Кто же мог бы в этом сомневаться, сударыня? Поступок, сам по себе достойный порицания, часто становится даже похвальным благодаря цели, которая его внушила.

Разговор продолжался в том же духе: толковали намерения Бога, предугадывали его решения, вынуждали его интересоваться тем, что, в сущности, его совершенно не касается.

Все это делалось осторожно, искусно, в замаскированной форме. Но каждое слово благочестивой женщины в монашеском уборе пробивало брешь в сопротивлении негодующей куртизанки. Затем беседа приняла несколько иное направление. Монахиня, перебирая четки, стала рассказывать о монастырях своего ордена, о настоятельнице, о себе самой, о своей милой спутнице, дорогой сестрице из монастыря Св. Никифора. Их вызвали в Гавр, чтобы ухаживать там в госпиталях за

сотнями солдат, больных оспой. Она говорила о положении этих несчастных, подробно описывала их болезнь. И вот теперь, из-за того, что по капризу этого пруссака они задержались в пути, обречены на смерть множество французов, которых они, быть может, спасли бы. Ухаживать за больными солдатами — ее специальность. Она была в Крыму, в Италии и в Австрии. В рассказах об этих кампаниях она неожиданно предстала перед слушателями как одна из тех воинственных монахинь, которые как бы созданы для того, чтобы следовать за армией, подбирать раненых в разгаре сражений и лучше иного командира усмирять одним словом самых непокорных буянов, — настоящая «полковая сестра», самое лицо которой, обезображенное, изрытое бесчисленными оспинами, казалось эмблемой опустошений, производимых войной.

Успех ее речей казался настолько несомненным, что после нее уже никто ничего не говорил.

Сразу после обеда все разошлись по своим комнатам и на другое утро собрались внизу довольно поздно.

Завтрак прошел молчаливо. Посеянному накануне зерну надо было дать время прорасти и

принести плоды.

Графиня предложила прогуляться до обеда. Когда все вышли, граф, как это было заранее условлено, взял Пышку под руку и вместе с нею немного отстал от остального общества.

Он заговорил с нею тем отечески фамильярным, слегка презрительным тоном, каким солидные мужчины говорят с девицами легкого поведения, называя ее «милое дитя», снисходя к ней с высоты своего положения в обществе и своей неоспоримой порядочности. Он сразу перешел к сути дела:

— Итак, вы предпочитаете, чтобы мы оставались здесь, где нам, как и вам самой, грозят всякие насилия в случае поражения прусских войск, вместо того чтобы согласиться на одну из тех любезностей, которые вы в своей жизни так часто оказывали?

Пышка ничего не отвечала.

Он действовал на нее лаской, убеждением, чувством. Он умел, оставаясь «господином графом», проявлять себя галантным там, где это было нужно, расточать комплименты, быть, наконец, даже любезным. Он превозносил услугу, которую она им окажет, говорил о всеобщей признательности. Затем, перейдя вдруг на «ты», весело прибавил:

— И знаешь ли, милочка, он мог бы потом хвастать тем, что полакомился такой красивой девушкой, каких на его родине вряд ли много найдется.

Пышка, ничего не отвечая, догнала остальных.

После прогулки она ушла к себе в комнату и больше не показывалась. Всеобщее беспокойство дошло до крайности. Как она поступит? Если она дальше будет упрямиться, что тогда делать?

Позвонили к обеду; Пышки все не было, ее напрасно ожидали. Наконец, пришел Фоланви и сообщил, что мадемуазель Руссе нездоровится и можно садиться за стол. Все навострили уши. Граф подошел к хозяину и тихонько спросил:

— Что, согласилась?

— Да.

Из чувства приличия граф ничего не сказал остальным, а только едва заметно кивнул головой. Тотчас же у всех вырвался глубокий вздох облегчения, и лица просветлели. Луазо воскликнул:

— Тысяча чертей! Ставлю шампанское, если только оно найдется в этом заведении!

И г-жа Луазо с тоской увидела, что трактирщик вернулся, неся в руках четыре бутылки. Все вдруг стали разговорчивы и шумливы. Бурная радость

наполнила сердца. Граф, кажется, только теперь заметил, как очаровательна г-жа Карре-Ламадон. Фабрикант стал отпускать комплименты графине. Разговор оживился, засверкал остроумием и весельем.

Вдруг Луазо сделал трагическое лицо и, подняв руки, рявкнул:

— Тише!

Все умолкли, недоумевая, почти испуганные. Тогда он насторожился, протянул обе руки, как бы призывая всех к молчанию, таинственно произнес: «Тс… с… с…», потом поднял глаза к потолку, снова прислушался и возвестил уже обыкновенным голосом:

— Успокойтесь, все идет хорошо.

Сначала все как будто не поняли, потом на лицах заиграли улыбки.

Через четверть часа он снова разыграл ту же комедию и в течение вечера много раз повторял ее. Он делал вид, что обращается к кому-то в верхнем этаже, давал двусмысленные советы с остроумием настоящего коммивояжера. То он шептал с печальным видом: «Бедняжка», то гневно цедил сквозь зубы: «Ах ты, прусская каналья!» Иногда в самые неожиданные моменты он вдруг выкрикивал дрожащим голосом несколько раз

подряд:

— Довольно!.. Довольно!..

И добавлял как бы про себя:

— Только бы нам довелось увидеть ее снова! Как бы он не уморил ее, этот мерзавец.

Эти шутки дурного тона забавляли всех, нисколько никого не шокируя, так как моральная брезгливость, как и все прочее, зависит от обстановки, а здесь мало-помалу создалась атмосфера скабрезных мыслей.

За десертом даже дамы позволили себе несколько остроумных и осторожных намеков. Глаза у всех блестели: было много выпито. Граф, и в минуты легкомыслия не терявший своей обычной важности, позволил себе сделать имевшее шумный успех сравнение их настроения с радостным чувством людей, потерпевших на Северном полюсе кораблекрушение, когда они видят, наконец, что зимовка кончилась и путь на юг открыт. Расходившийся Луазо встал со стаканом шампанского в руке:

— Пью за наше освобождение!

Все поднялись с возгласами одобрения. Даже обе монахини, уступив настояниям дам, согласились омочить губы в этом шипучем вине, которого они никогда еще не пробовали. Они

нашли, что оно похоже на лимонад, но только гораздо вкуснее.

Луазо выразил общее настроение, сказав:

— Какая жалость, что нет фортепиано: можно было бы отхватить кадриль.

Корнюде за все это время не проронил ни слова, не сделал ни одного жеста. Он, казалось, углубился в серьезные размышления и по временам сердито теребил свою длинную бороду, словно пытаясь еще больше удлинить ее. Наконец уже около полуночи, когда все стали расходиться, Луазо, который уже пошатывался, хлопнул его вдруг по животу и, запинаясь, сказал:

— Вы что-то не в духе сегодня, гражданин! Вы все молчите.

Корнюде резко поднял голову и окинул всю компанию сверкающим от негодования взглядом:

— Заявляю вам всем, что вы учинили гнусность!

Он встал, пошел к двери, снова повторил: «Гнусность...» — и скрылся.

Сначала это внесло холодную струю в атмосферу веселья. Луазо, опешив, имел преглупый вид. Но к нему сразу вернулась его обычная самоуверенность, и он с кривлянием произнес

несколько раз:

— Что, голубчик, зелен виноград?

Так как никто ничего не понял, он посвятил все общество в «тайну коридора». Последовал новый взрыв веселья. Дамы хохотали как сумасшедшие. Граф и Карре-Ламадон плакали от смеха. Они не могли поверить Луазо.

— Неужели? Вы уверены в этом? Так он хотел…

— Говорю же вам, что я видел собственными глазами.

— И она отказала?

— Да, оттого что немец был в соседней комнате.

— Не может быть!

— Клянусь вам.

Граф задыхался от смеха. Фабрикант обеими руками держался за живот. Луазо продолжал:

— Так что, понимаете, сегодня вечером ему не до шуток, совсем не до шуток.

И все трое, захлебываясь, изнемогая от хохота, продолжали твердить одно и то же.

Скоро все разошлись. Г-жа Луазо, женщина колючая, как шпилька, ложась спать, не преминула заметить мужу, что «эта злючка» Карре-Ламадон смеялась весь вечер скрепя сердце.

— Знаешь, когда женщина неравнодушна к

мундиру, ей безразлично, француз это или немец, честное слово. Господи боже, до чего это противно!

Всю ночь во мраке коридора слышались какие-то шорохи, легкие, едва уловимые звуки, походившие на вздохи, тихое шлепанье босых ног, слабое поскрипывание. Все заснули, должно быть, очень поздно, так как в щелях под дверьми долго мелькали полоски света. Таково действие шампанского. Говорят, оно разгоняет сон.

Наутро снег так и сверкал на ярком зимнем солнце. Дилижанс, наконец запряженный, ожидал у подъезда. Целая стая белых голубей с черными, в розовом ободке, глазами, раздувая пышное оперение, важно прохаживалась под ногами шести лошадей и рылась в дымящемся навозе, отыскивая себе корм.

Кучер в бараньей шубе уже сидел на козлах, покуривая трубку, и все пассажиры, сияя, торопливо укладывали провизию, запасенную на остаток пути.

Ждали только Пышку. Наконец она появилась.

Она казалась немного смущенной, пристыженной и робко подошла к своим спутникам. Все как один отвернулись, словно не замечая ее. Граф с достоинством взял под руку жену, как бы обере-

гая ее от соприкосновения с чем-то нечистым.

Пышка остановилась пораженная. Потом, собрав все свое мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно шепнула:

— Здравствуйте, сударыня.

Та ответила лишь легким высокомерным кивком головы, сопровождая его взглядом оскорбленной добродетели. Все делали вид, что заняты, и сторонились ее, как будто она в своих юбках принесла заразу. Затем все поспешили к карете. Пышка вошла последней и молча села на то же место, которое занимала в начале путешествия.

Ее как будто не видели, не были с ней знакомы. Г-жа Луазо, негодующе посматривая на нее издали, вполголоса сказала мужу:

— Какое счастье, что я не сижу рядом с ней.

Тяжелая карета тронулась — и прерванное путешествие возобновилось.

Некоторое время все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она негодовала на своих спутников и в то же время чувствовала себя униженной тем, что уступила, осквернённой поцелуями пруссака, в объятия которого ее с таким лицемерием толкнули.

Повернувшись к г-же Карре-Ламадон, графиня вскоре прервала тягостное молчание:

— Вы, кажется, знакомы с госпожой д'Этрель?

— Да, она моя приятельница.

— Какая обаятельная женщина!

— Да, она очаровательна! Вот подлинно избранная натура: высоко образованна и артистка до мозга костей. Она чудесно поет и рисует.

Фабрикант беседовал с графом, и сквозь дребезжание стекол слышались слова: «купон — срок платежа — премия — на срок».

Луазо, стянувший в гостинице старую колоду карт, засаленную от пятилетнего трения о плохо вытертые столы, играл с женой в безик.

Монахини, перебирая висевшие у пояса длинные четки, обе разом перекрестились и быстро зашевелили губами, все ускоряя свое невнятное бормотание, как будто состязаясь в быстроте чтения молитв. Время от времени они целовали образок, снова крестились и снова начинали быстро бормотать.

Корнюде не шевелился, о чем-то задумавшись.

Прошло три часа. Луазо, собрав карты, сказал:

— Хочется есть.

Тогда его жена достала перевязанный сверток и вынула из него кусок холодной телятины. Она аккуратно разрезала его на тонкие, но солидные ломтики, и оба принялись за еду.

— Не сделать ли и нам то же самое? — спросила графиня.

Остальные согласились, и она развернула провизию, приготовленную на обе семьи. В длинной миске с крышкой, на которой фаянсовый заяц как бы указывал, что под ней покоится нашпигованный заяц, лежал сочный паштет. Белые полоски сала пронизывали темное мясо дичи, начиненной различным мелко изрубленным фаршем. Завернутый в газету изрядный кусок швейцарского сыра еще хранил на своей маслянистой поверхности отпечаток слов: «Происшествия».

Монахини достали пахнувшую чесноком колбасу, а Корнюде, засунув одновременно обе руки в глубокие карманы своего пальто, вытащил из одного четыре крутых яйца, из другого — горбушку хлеба. Он разбил скорлупу, бросил ее в солому под ногами и принялся уписывать яйца, роняя на свою длинную бороду крошки желтка, похожие на звездочки.

Пышка второпях и в волнении сегодняшнего утра не успела ничем запастись. И теперь она смотрела с озлоблением, задыхаясь от гнева, на всех этих людей, спокойно занятых едой. Сначала в сильном раздражении она уже открыла было рот, чтобы прокричать этим людям то, что она

думала об их поступке, чтобы осыпать их градом ругательств, просившихся ей на язык. Но она не могла произнести ни слова — до такой степени душило ее возмущение.

Никто не смотрел на нее, не думал о ней. Она чувствовала, что ее словно захлестнуло презрение этих честных негодяев, которые сначала принесли ее в жертву своим интересам, а затем отшвырнули как грязную, ненужную ветошь. Потом она вспомнила о своей объемистой корзинке, полной вкусных вещей, которую они уничтожили с такой прожорливостью, о двух цыплятах, на которых блестело желе, о своих паштетах, грушах, о четырех бутылках бордо. Ее ярость внезапно упала, подобно тому как лопается и падает туго натянутая струна: она почувствовала, что сейчас заплачет. Она делала невероятные усилия над собой, давилась слезами, как ребенок, но слезы подступали, уже блестели на ресницах, и наконец две крупные капли выкатились из глаз и медленно потекли по щекам. За ними последовали другие, катясь все быстрее, подобно струйкам, сочащимся из скалы, и падая на ее высокую грудь. Она сидела выпрямившись, неподвижно глядя в одну точку, с бледным суровым лицом, надеясь, что слез ее никто не увидит.

Но графиня заметила и знаком указала на нее мужу. Тот пожал плечами, как бы говоря: «Что поделаешь, я тут ни при чем».

Г-жа Луазо торжествующе засмеялась про себя и прошептала:

— Она оплакивает свой позор.

Монахини, завернув в бумагу остатки колбасы, снова начали молиться.

А Корнюде, переваривавший свой завтрак, вытянул длинные ноги под скамью напротив, откинулся назад, скрестив руки, и с усмешкой человека, придумавшего хорошую шутку, принялся насвистывать «Марсельезу».

Все нахмурились. Очевидно, эта народная песня не пришлась по вкусу его соседям. Она действовала им на нервы, раздражала, у них был такой вид, словно сейчас они завоют, как собаки при звуках шарманки. Корнюде это заметил, но не перестал насвистывать. Время от времени он даже напевал вполголоса слова песни:

Любовь священная к народу,
Рукою мстителя води.
На бой, прекрасная свобода,
Своих защитников веди.

Снег стал тверже, и дилижанс теперь катился

быстрее. И всю дорогу, до самого Дьепа, в течение долгих, унылых часов путешествия, на всех ухабах, сначала в сумерках, а потом и в полной темноте, Корнюде со свирепым упорством продолжал свое монотонное и мстительное насвистывание, заставлявшее его усталых и раздраженных соседей невольно следить за песней от начала до конца, припоминать в такт мелодии каждое ее слово.

А Пышка все плакала, и по временам рыдания, которых она не в силах была сдержать, слышались в темноте между строфами «Марсельезы».

Ожерелье

Это была одна из тех изящных и очаровательных девушек, которые, словно по иронии судьбы, рождаются иногда в чиновничьих семействах. У нее не было ни приданого, ни надежд на будущее, никаких шансов на то, чтобы ее узнал, полюбил и сделал своей женой человек состоятельный, из хорошего общества, и она приняла предложение мелкого чиновника министерства народного образования.

Не имея средств на туалеты, она одевалась просто, но чувствовала себя несчастной, как пария, ибо для женщин нет ни касты, ни породы, — красота, грация и обаяние заменяют им права рождения и фамильные привилегии. Свойственный им такт, гибкий ум и вкус — вот единственная иерархия, равняющая дочерей народа с самыми знатными дамами.

Она страдала непрестанно, так как чувствовала себя рожденной для изящной жизни, для самой утонченной роскоши. Она страдала от бедности своего жилья, от убожества голых стен, просиженных стульев, полинявших занавесок. Все,

чего не заметила бы другая женщина того же круга, мучило ее и возмущало.

Один вид маленькой бретонки, которая вела их скромное хозяйство, рождал в ней горькие сожаления и несбыточные мечты. Ей снилась немая тишина приемных, задрапированных восточными тканями, освещенных высокими канделябрами старой бронзы, величественные лакеи в шелковых чулках, дремлющие в мягких креслах от расслабляющей жары калориферов. Ей снились затянутые старинным штофом просторные салоны, где тонкой работы столики уставлены неслыханной цены безделушками, кокетливые, раздушенные гостиные, где в пять часов за чаем принимают близких друзей-мужчин, прославленных и блестящих людей, внимание которых льстит каждой женщине.

Когда она садилась обедать за круглый стол, покрытый трехдневной свежести скатертью, напротив мужа, и он, снимая крышку с суповой миски, объявлял радостно: «Ага, суп с капустой! Ничего не может быть лучше!..» — она мечтала о тонких обедах, о сверкающем серебре, о гобеленах, украшающих стены героями древности и сказочными птицами в чаще феерического леса; мечтала об изысканных яствах, подаваемых на

тонком фарфоре, о любезностях, которые шепчут на ухо и выслушивают с загадочной улыбкой, трогая вилкой розовое мясо форели или крылышко рябчика.

У нее не было ни туалетов, ни драгоценностей, ровно ничего. А она только это и любила, она чувствовала, что для этого создана. Ей так хотелось нравиться, быть обольстительной и иметь успех в обществе, хотелось, чтобы другие женщины ей завидовали.

Изредка она навещала богатую подругу, с которой они вместе воспитывались в монастыре, и каждый раз, возвращаясь от этой подруги, она так страдала, что клялась не ездить туда больше. Целые дни напролет она плакала от горя, от жалости к себе, от тоски и отчаяния.

Однажды вечером ее муж вернулся домой с торжествующим видом и подал ей большой конверт.

— Вот возьми, — сказал он, — это тебе сюрприз.

Она быстро разорвала конверт и вытащила из него карточку, на которой было напечатано:

«Министр народного образования и г-жа Жорж Рампонно просят г-на и г-жу Луазель пожаловать на вечер в министерство, в понедельник

18 января».

Вместо того чтобы прийти в восторг, как ожидал ее муж, она с досадой швырнула приглашение на стол:

— На что оно мне, скажи, пожалуйста?

— Как же так, дорогая, я думал, ты будешь очень довольна. Ты нигде не бываешь, и это прекрасный случай, прекрасный. Я с большим трудом достал приглашение. Всем хочется туда попасть, а приглашают далеко не всех, мелким чиновникам не очень-то дают билеты. Там ты увидишь все высшее чиновничество.

Она сердито посмотрела на мужа и сказала с раздражением:

— В чем же я туда поеду? Мне надеть нечего!

Ему это в голову не приходило; он пробормотал:

— Да в том платье, что ты надеваешь в театр. Оно, по-моему, очень хорошее.

Тут он увидел, что жена плачет, и замолчал, растерянный и огорченный. Две крупные слезы медленно катились по ее щекам к уголкам рта. Он произнес, заикаясь:

— Что с тобой? Ну что?

Сделав над собой усилие, она подавила горе и ответила спокойным голосом, вытирая мокрые

щеки:

— Ничего. Только у меня нет туалета, и, значит, я не могу ехать на этот вечер. Отдай свой билет кому-нибудь из сослуживцев, у кого жена одевается лучше меня.

В отчаянии он начал уговаривать ее:

— Послушай, Матильда. Сколько это будет стоить — приличное платье, такое, чтобы можно было надеть и в другой раз, что-нибудь совсем простое?

Она помолчала с минуту, мысленно подсчитывая расходы и соображая, сколько можно попросить, чтобы экономный супруг не ахнул в испуге и не отказал ей наотрез.

Наконец она ответила с запинкой:

— Точно не знаю, но, по-моему, четырехсот франков мне хватило бы.

Он слегка побледнел: как раз такая сумма была отложена у него на покупку ружья, чтобы ездить летом на охоту в окрестности Нантера с компанией приятелей, которые каждое воскресенье отправлялись туда стрелять жаворонков.

Однако он ответил:

— Хорошо. Я тебе дам четыреста франков. Только постарайся, чтобы платье было нарядное.

Приближался день бала, а госпожа Луазель не

находила себе места, грустила, беспокоилась, хотя платье было уже готово. Как-то вечером муж заметил ей:

— Послушай, что с тобой? Ты все эти дни какая-то странная.

Она ответила:

— Мне досадно, что у меня ничего нет, ни одной вещицы, ни одного камня, нечем оживить платье. У меня будет жалкий вид. Лучше уж совсем не ездить на этот вечер.

Он возразил:

— Ты приколешь живые цветы. Зимой это считается даже элегантным. А за десять франков можно купить две-три великолепные розы.

Она не сдавалась:

— Нет, не хочу… это такое унижение — выглядеть нищенкой среди богатых женщин.

Но тут муж нашелся:

— Какая же ты дурочка! Поезжай к твоей приятельнице, госпоже Форестье, и попроси, чтобы она одолжила тебе что-нибудь из драгоценностей. Для этого ты с ней достаточно близка.

Она вскрикнула от радости:

— Верно! Я об этом не подумала.

На следующий день она отправилась к г-же Форестье и рассказала ей свое горе.

Та подошла к зеркальному шкафу, достала большую шкатулку, принесла ее, открыла и сказала г-же Луазель:

— Выбирай, дорогая.

Она увидела сначала браслеты, потом жемчуга, потом золотой с камнями крест чудесной венецианской работы. Она примеряла драгоценности перед зеркалом, колебалась, не в силах расстаться с ними, отдать их обратно. И все спрашивала:

— У тебя больше ничего нет?

— Конечно, есть. Поищи. Я же не знаю, что тебе может понравиться.

Вдруг ей попалось великолепное бриллиантовое ожерелье в черном атласном футляре, и сердце ее забилось от безумного желания. Она схватила его дрожащими руками, примерила прямо на платье с высоким воротом и замерла перед зеркалом в восхищении. Потом спросила нерешительно и боязливо:

— Можешь ты мне дать вот это, только это?

— Ну конечно, могу.

Госпожа Луазель бросилась на шею подруге, горячо ее поцеловала и убежала со своим сокровищем.

Настал день бала. Г-жа Луазель имела большой успех. Изящная, грациозная, веселая, словно

опьяневшая от радости, она была красивее всех. Все мужчины на нее смотрели, спрашивали, кто она такая, добивались чести быть ей представленными. Чиновники особых поручений желали вальсировать только с ней. Сам министр ее заметил.

Она танцевала с увлечением, со страстью, теряя голову от радости, не думая ни о чем, упиваясь триумфом своей красоты, фимиамом успеха, окутанная, словно облаком счастья, всем этим поклонением, всеми желаниями, пробужденными ею, торжествуя полную победу, всегда сладостную для женского сердца.

Они ушли только в четыре часа утра. Муж с полуночи дремал в маленьком, почти пустом салоне в обществе трех других чиновников, жены которых очень веселились.

Он набросил ей на плечи накидку, скромное будничное одеяние, убожество которого не вязалось с изяществом бального туалета. Она это чувствовала, и ей хотелось убежать, чтобы ее не заметили другие женщины, кутавшие плечи в пышные меха.

Луазель удержал ее:

— Да погоди же. Ты простудишься на улице. Я поищу фиакр.

Не слушая его, она бежала вниз по лестнице. На улице фиакра поблизости не оказалось, и они отправились на поиски, окликая всех извозчиков, проезжавших поодаль.

Они спустились к реке, прозябнув и уже ни на что не надеясь. Наконец на набережной им повстречался дряхлый экипаж ночного извозчика, какие в Париже показываются только ночью, словно среди дня они стыдятся своего убожества.

Он привез их домой, на улицу Мучеников, и они молча поднялись к себе. Для нее все было кончено. А он думал о том, что к десяти часам ему надо быть в министерстве.

Она снимала накидку перед зеркалом, чтобы еще раз увидеть себя во всем блеске. И вдруг вскрикнула. Ожерелья не было у нее на шее.

Муж, уже полураздетый, спросил:

— Что с тобой?

— Со мной… у меня… у меня пропало ожерелье госпожи Форестье.

Он растерянно вскочил с места:

— Как!.. Что такое? Не может быть!

Они стали искать в складках платья, в складках накидки, в карманах, везде. И не нашли.

Он спросил:

— Ты помнишь, что оно у тебя было, когда мы

уходили с бала?

— Да, я его трогала в вестибюле министерства.

— Но если б ты его потеряла на улице, мы бы услышали, как оно упало. Значит, оно в фиакре.

— Да. Скорее всего. Ты запомнил номер?

— Нет. А ты тоже не посмотрела?

— Нет.

Они долго смотрели друг на друга, убитые горем. Потом Луазель оделся.

— Пойду, — сказал он, — проделаю весь путь, который мы прошли пешком, посмотрю, не найдется ли ожерелье.

И он вышел. Она так и осталась в бальном платье, не зажигая огня, не в силах лечь, так и застыла на месте, словно мертвая.

Муж вернулся к семи часам утра. Он ничего не нашел.

Затем он побывал в полицейской префектуре, в редакциях газет, где дал объявление о пропаже, на извозчичьих стоянках — словом, всюду, куда его толкала надежда.

Она ждала весь день, все в том же отупении от страшного несчастья, которое над ними стряслось.

Луазель вернулся вечером, бледный, осунувшийся; ему не удалось ничего узнать.

— Напиши своей приятельнице, — сказал он, — что ты сломала замочек и отдала его исправить. Этим мы выиграем время, чтобы как-нибудь извернуться.

Она написала письмо под его диктовку.

К концу недели они потеряли всякую надежду, и Луазель, постаревший лет на пять, объявил:

— Надо возместить эту потерю.

На следующий день, захватив с собой футляр, они отправились к ювелиру, фамилия которого стояла на крышке. Тот порылся в книгах:

— Это ожерелье, сударыня, куплено не у меня; я продал только футляр.

Тогда они начали ходить от ювелира к ювелиру в поисках точно такого же ожерелья, припоминая, какое оно было, советуясь друг с другом, оба еле живые от горя и тревоги.

В одном магазине Пале-Рояля они нашли колье, которое им показалось точь-в-точь таким, какое они искали. Оно стоило сорок тысяч франков. Им его уступили за тридцать шесть тысяч.

Они попросили ювелира не продавать это ожерелье в течение трех дней и поставили условием, что его примут обратно за тридцать четыре тысячи франков, если первое ожерелье будет найдено до конца февраля.

У Луазеля было восемнадцать тысяч франков, которые оставил ему отец. Остальные он решил занять.

И он стал занимать деньги, выпрашивая тысячу франков у одного, пятьсот у другого, сто франков здесь, пятьдесят франков там. Он давал расписки, брал на себя разорительные обязательства, познакомился с ростовщиками, со всякого рода заимодавцами. Он закабалился до конца жизни, ставил свою подпись на векселях, не зная даже, сумеет ли выпутаться, и, подавленный грядущими заботами, черной нуждой, которая надвигалась на него, перспективой материальных лишений и нравственных мук, он поехал за новым ожерельем и выложил торговцу на прилавок тридцать шесть тысяч.

Когда г-жа Луазель отнесла ожерелье г-же Форестье, та сказала ей недовольным тоном:

— Что же ты держала его так долго? Оно могло мне понадобиться.

Она даже не раскрыла футляра, чего так боялась ее подруга. Что она подумала бы, что сказала бы, если бы заметила подмену?

Может быть, сочла бы ее воровкой?

Госпожа Луазель узнала страшную жизнь бедняков. Впрочем, она сразу же героически при-

мирилась со своей судьбой. Нужно выплатить этот ужасный долг. И она его выплатит. Рассчитали прислугу, переменили квартиру — наняли мансарду под самой крышей.

Она узнала тяжелый домашний труд, ненавистную кухонную возню. Она мыла посуду, ломая розовые ногти о жирные горшки и кастрюли. Она стирала белье, рубашки, полотенца и развешивала их на веревке; каждое утро выносила на улицу сор, таскала воду, останавливаясь передохнуть на каждой площадке. Одетая как женщина из простонародья, с корзинкой на руке, она ходила по лавкам — в булочную, в мясную, в овощную, торговалась, бранилась с лавочниками, отстаивала каждое су из своих нищенских средств.

Каждый месяц надо было платить по одним векселям, возобновлять другие, выпрашивать отсрочку по третьим. Муж работал вечерами, подводя баланс для одного коммерсанта, а иногда не спал ночей, переписывая рукописи по пяти су за страницу.

Такая жизнь продолжалась десять лет. Через десять лет они все выплатили, решительно все, даже грабительский рост, даже накопившиеся сложные проценты. Г-жа Луазель сильно постарела. Она стала шире в плечах, жестче, грубее,

стала такою, какими бывают хозяйки в бедных семьях. Она ходила растрепанная, в съехавшей на сторону юбке, с красными руками, говорила громким голосом, сама мыла полы горячей водой. Но иногда, в те часы, когда муж бывал на службе, она садилась к окну и вспоминала тот бал, тот вечер, когда она имела такой успех и была так обворожительна.

Что было бы, если бы она не потеряла ожерелье? Кто знает? Кто знает? Как изменчива и капризна жизнь! Как мало нужно для того, чтобы спасти или погубить человека.

Как-то в воскресенье, выйдя прогуляться по Елисейским Полям, чтобы отдохнуть от трудов целой недели, она вдруг увидела женщину, которая вела за руку ребенка. Это была г-жа Форестье, все такая же молодая, такая же красивая, такая же очаровательная.

Госпожа Луазель взволновалась. Заговорить с ней? Ну конечно! Теперь, когда она выплатила долг, можно все рассказать. Почему бы нет?

Она подошла ближе.

— Здравствуй, Жанна!

— Но… сударыня… я не знаю… Вы, верно, ошиблись.

— Нет. Я Матильда Луазель.

Ее приятельница ахнула:

— Бедная Матильда, как ты изменилась!

— Да, мне пришлось пережить трудное время, с тех пор как мы с тобой расстались. Я много видела нужды… и все из-за тебя!

— Из-за меня? Каким образом?

— Помнишь то бриллиантовое ожерелье, что ты дала мне надеть на бал в министерстве?

— Помню. Ну и что же?

— Так вот, я его потеряла.

— Как! Ты же мне вернула его.

— Я вернула другое, точно такое же. И целых десять лет мы за него выплачивали долг. Ты понимаешь, как нам трудно пришлось, у нас ничего не было. Теперь с этим покончено. И сказать нельзя, до чего я этому рада.

Госпожа Форестье остановилась как вкопанная.

— Ты говоришь, вы купили новое ожерелье взамен моего?

— Да. А ты так ничего и не заметила? Они были очень похожи.

И она улыбнулась торжествующе и простодушно.

Госпожа Форестье в волнении схватила ее за руки:

— Бедная моя Матильда! Ведь мои бриллианты были фальшивые! Они стоили самое большое пятьсот франков.

Бесполезная красота

I

У подъезда особняка стояла элегантная виктория, запряженная двумя великолепными воронымиБыл конец июня, около половины шестого вечера, и между крышами домов, замыкавших передний двор, виднелось небо, ясное, знойное, веселое.

Графиня де Маскаре показалась на крыльце в ту самую минуту, когда в ворота входил ее муж, возвращавшийся домой. Он приостановился, взглянул на жену и слегка побледнел. Она была очень красива, стройна, изящна; продолговатый овал лица, кожа цвета золотистой слоновой кости, большие серые глаза, черные волосы; не взглянув на мужа, как бы даже не заметив его, она села в коляску с такой непринужденной и благородной грацией, что сердце графа вновь сжалось от позорной ревности, так давно его терзавшей. Он подошел и поклонился.

— Вы едете кататься? — спросил он.

Она презрительно бросила два слова:

— Как видите.

— В Лес?

— Возможно.

— Мне разрешается сопровождать вас?

— Коляска ваша.

Не удивляясь тону жены, он поднялся, сел рядом с нею и приказал:

— В Лес.

Лакей вскочил на козлы рядом с кучером; лошади, как всегда, начали плясать на месте, вскидывая головой, и выравняли шаг, только повернув на улицу.

Супруги сидели рядом молча. Муж искал повода для разговора, но жена упорно сохраняла жестокое выражение лица, и он не решался начать.

Наконец он тихонько пододвинул руку к затянутым в перчатку пальцам графини и, словно нечаянно, прикоснулся к ним, но жест, которым жена отдернула руку, был так резок и выражал такое отвращение, что муж встревожился, несмотря на свою привычную властность, доходящую до деспотизма.

Он прошептал:

— Габриэль!

Не поворачивая головы, жена спросила:

— Что вам угодно?

— Вы прелестны.

Она ничего не ответила, откинувшись в коляске с видом разгневанной королевы.

Теперь они поднимались по Елисейским Полям к Триумфальной арке на площади Звезды. Огромный монумент в конце длинного проспекта возносился колоссальным сводом в багряное небо, и солнце как будто садилось прямо на него, рассеивая вокруг огненную пыль.

А река экипажей, сверкавшая медью и серебром сбруи, гранеными стеклами фонарей, текла по двум руслам: в сторону Леса и к городу.

Граф де Маскаре заговорил снова:

— Дорогая Габриэль!

И тогда, не выдержав, она ответила с досадой:

— Ах, оставьте меня в покое, прошу вас! Неужели я даже не имею права побыть одна в коляске?

Он притворился, будто не слышит, и продолжал:

— Вы никогда не были так хороши, как сегодня.

Она явно потеряла терпение и ответила, уже не сдерживая гнева:

— Напрасно вы это замечаете; клянусь вам, я никогда больше не буду вашей.

Он был изумлен и потрясен, однако привычка повелевать взяла верх, и его слова: «Что это зна-

чит?» — прозвучали не вопросом влюбленного, а скорее окриком грубого хозяина.

Она отвечала полушепотом, хотя за оглушительным стуком колес слуги все равно ничего не могли слышать:

— Ах, что это значит? Что это значит? Вы все тот же! Вы хотите, чтобы я сказала?

— Да.

— Сказала все?

— Да.

— Все, что лежит у меня на сердце с тех пор, как я стала жертвой вашего жестокого эгоизма?

Он побагровел от удивления и злобы. И, стиснув зубы, пробормотал:

— Да, говорите!

Это был высокий, широкоплечий человек с большой рыжей бородой, красивый мужчина, дворянин, светский человек, считавшийся безукоризненным супругом и прекрасным отцом.

В первый раз после выезда из дома она повернулась к мужу и посмотрела ему прямо в лицо:

— О, вы услышите неприятные вещи. Но знайте, что я готова на все, что я пойду на все, что я не боюсь ничего, а вас теперь — меньше чем кого бы то ни было.

Он тоже взглянул ей в глаза, уже содрогаясь от

ярости. И прошептал:

— Вы с ума сошли!

— Нет, но я больше не желаю быть жертвой отвратительной пытки материнством, — вы подвергаете меня ей уже одиннадцать лет! Я хочу наконец жить как светская женщина; я на это имею право, как и все женщины.

Сразу побледнев, он пробормотал:

— Не понимаю.

— Нет, понимаете. Вот уже три месяца, как я родила последнего ребенка, а так как я все еще очень красива и, несмотря на все ваши усилия, почти не дурнею, — вы только что признали это, увидев меня на крыльце, — то вы находите, что мне снова пора забеременеть.

— Да вы не в своем уме!

— Ничуть. Мне тридцать лет, у меня семеро детей, мы живем вместе одиннадцать лет, и вы надеетесь, что так будет продолжаться еще лет десять, и тогда вы перестанете ревновать.

Он схватил и сдавил ее руку.

— Я вам не позволю больше так говорить со мной!

— А я буду говорить до конца, пока не выскажу все, что мне надо сказать, и если вы попробуете помешать мне, заговорю еще громче, и меня

услышат кучер и лакей на козлах. Я только потому и позволила вам сесть сюда, что здесь есть свидетели, — это вынуждает вас слушать меня и сдерживаться. Слушайте. Вы всегда были мне неприятны, и я всегда вам это выказывала, ведь я никогда не лгала, сударь! Вы женились на мне против моей воли; мои родители были в стесненном положении, и вы добились своего; они отдали меня вам насильно, потому что вы были очень богаты. Они заставили меня, я плакала.

В сущности, вы купили меня; и когда я оказалась в вашей власти, когда я готова была стать вам верной подругой, привязаться к вам, забыть все ваши приемы запугивания, принуждения и помнить только о том, что я должна быть вам преданной женой и любить вас всем сердцем, — вы тотчас стали ревновать, как никогда не ревновал ни один человек: ревностью низкой, постыдной, унижающей вас и оскорбительной для меня, потому что вы вечно шпионили за мной. Я не прожила замужем и восьми месяцев, как вы уже стали подозревать меня во всевозможных обманах. Вы даже давали мне это понять. Какой позор! И так как вы не могли помешать мне быть красивой и нравиться, не могли помешать тому, что в салонах и даже в газетах меня называли

одной из красивейших женщин Парижа, то вы старались придумать что угодно, лишь бы отстранить от меня всякие ухаживания. Тогда вам пришла в голову отвратительная мысль — заставить меня проводить жизнь в постоянной беременности, пока я не начну вызывать во всех мужчинах отвращение. О, не отрицайте! Я долго не догадывалась, но потом поняла. Вы даже хвалились этим своей сестре, и она рассказала мне, потому что она любит меня и ее возмутила ваша мужицкая грубость.

Ах, вспомните нашу борьбу, выбитые двери, взломанные замки! На какое существование вы обрекали меня целых одиннадцать лет — на существование заводской кобылы, запертой в конюшне! А беременная, я внушала вам отвращение, и вы избегали меня месяцами. Вынашивать ребенка меня отправляли в деревню, в фамильный замок, на лоно природы. Но когда я опять возвращалась, свежая и красивая, нисколько не увядшая, по-прежнему привлекательная и по-прежнему окруженная поклонением, возвращалась с надеждой хоть немножко пожить жизнью богатой молодой светской женщины, — тогда вас снова обуревала ревность и вы опять начинали преследовать меня тем отвратитель-

ным и низким желанием, которым томитесь сейчас, сидя рядом со мной. И это не желание обладать мной — я бы вам никогда не отказала, — это желание обезобразить меня!

Кроме того, после долгих наблюдений я разгадала еще одну вашу тайну (я уже научилась разбираться в ваших поступках и мыслях): вы желали иметь детей потому, что они давали вам спокойствие, пока я вынашивала их под сердцем. Ваша любовь к ним родилась из отвращения ко мне, из тех гадких подозрений, которые покидали вас во время моей беременности, из той радости, которую вы испытывали, видя, что мой стан полнеет.

О, эта радость! Сколько раз я чувствовала ее в вас, встречала в вашем взгляде, угадывала! Дети! Вы любите их не как свою кровь, а как свою победу. Это победа надо мной, над моей молодостью, над моей красотой, над моим обаянием, над моим успехом; вы хотели заставить умолкнуть те восторженные голоса, которые раздавались вокруг меня и которые я слышала. И вы гордитесь детьми, вы выставляете их напоказ, возите их в брэке по Булонскому лесу, катаете на осликах в Монморанси. Вы водите их на театральные утренники, чтобы все видели вас с ними, чтобы

все говорили: «Какой прекрасный отец!», — чтобы повторяли это беспрерывно…

Он схватил ее руку с дикой грубостью и стиснул так яростно, что графиня замолчала, подавляя подступивший к горлу крик.

Он прошипел:

— Я люблю моих детей, слышите? То, в чем вы мне признались, позорно для матери. Но вы моя. Я хозяин… ваш хозяин… я могу требовать от вас всего, чего хочу и когда хочу… и на моей стороне… закон!

Он готов был раздавить ей пальцы в тисках своего большого, мускулистого кулака. А она, побледнев от боли, тщетно пыталась вырвать руку из этих клещей; она задыхалась, на глазах у нее выступили слезы.

— Теперь вы видите, что я хозяин, что я сильнее, — сказал он и слегка разжал руку.

Она продолжала:

— Вы считаете меня религиозной?

Он с удивлением произнес:

— Конечно.

— Как вы думаете, верю я в бога?

— Конечно.

— Могу ли я солгать, если поклянусь перед алтарем, где заключена частица тела Христова?

— Нет.

— Угодно вам отправиться со мной в церковь?

— Зачем?

— Там увидите. Угодно?

— Если хотите, пожалуйста.

Она громко позвала:

— Филипп!

Кучер слегка наклонил голову и, не отрывая глаз от лошадей, чуть повернулся к госпоже. Она приказала:

— В церковь Сен-Филипп-дю-Руль.

И виктория, подъезжавшая к воротам Булонского леса, повернула к городу.

Во время этого нового переезда муж и жена не обменялись ни словом. Затем, когда коляска остановилась у портала храма, г-жа де Маскаре соскочила на землю и вошла в храм; граф следовал в нескольких шагах от нее.

Не останавливаясь, она дошла до решетки хоров, упала на колени у стула, закрыла лицо руками и начала молиться. Она молилась долго, и муж, стоя позади, заметил наконец, что она плачет. Она плакала беззвучно, как плачет женщина в великом и страшном горе. Словно волна пробегала по ее телу, заканчиваясь коротким рыданием, которое она хотела скрыть, унять,

сжимая лицо руками.

Но граф де Маскаре, которому было не по себе от этой длительной сцены, тронул ее за плечо.

Это прикосновение пробудило ее, как ожог. Выпрямившись, она посмотрела мужу прямо в глаза.

— Вот что я должна вам сказать. Я ничего не боюсь, можете делать все, что хотите. Если вам угодно, убейте меня. Один из наших детей — не от вас. Клянусь вам в этом перед богом: он слышит меня здесь. Это единственное, чем я могла отомстить вам за вашу подлую мужскую тиранию, за каторжный труд деторождения, к которому вы приговорили меня. Кто был моим любовником? Этого вы не узнаете никогда! Вы будете подозревать всех. Вам его не открыть. Я отдалась ему без любви и без радости, только для того, чтобы обмануть вас. И он тоже сделал меня матерью. Который из детей его ребенок? Этого вы тоже никогда не узнаете. У меня семеро детей — угадайте! Я хотела сказать вам об этом позже, гораздо позже: ведь измена будет местью мужчине только тогда, когда он о ней узнает. Вы вынудили меня признаться сегодня. Я кончила.

И она быстро прошла через всю церковь к открытой двери на улицу, ожидая, что услышит

за собой быстрые шаги разъяренного мужа и свалится на мостовую под жестоким ударом его кулака.

Но графиня не услышала ничего; она дошла до коляски, мигом вскочила в нее и, содрогаясь от ужаса, задыхаясь от волнения, крикнула кучеру:

— Домой!

Лошади тронулись крупной рысью.

II

Запершись в своей комнате, графиня де Маскаре ждала обеда, как приговоренный к смерти ждет казни. Что он теперь сделает? Вернулся ли он домой? Властный, вспыльчивый человек, способный на любое насилие, что он придумал, что он готовит, на что решился? Но в доме не слышно было ни звука, и она поминутно поглядывала на стрелки часов. Вошла горничная, помогла ей переодеться к вечеру и удалилась.

Пробило восемь, и почти одновременно в дверь дважды постучали.

— Войдите.

Появился дворецкий:

— Кушать подано, ваше сиятельство.

— Граф вернулся?

— Да, ваше сиятельство. Господин граф в сто-

ловой.

На секунду у нее мелькнула мысль взять с собою маленький револьвер, который она купила недавно, предвидя развязку зревшей в ее душе драмы. Но, вспомнив, что там будут дети, она не взяла ничего, кроме флакона с солями.

Когда она вошла в столовую, муж ждал, стоя у своего стула. Они обменялись легким поклоном и сели. Тогда заняли свои места и дети. Направо от матери сидели три сына со своим воспитателем, аббатом Мареном, налево — три дочери с гувернанткой-англичанкой, мисс Смит. Только самый младший, трехмесячный ребенок оставался в детской с кормилицей.

Три девочки, из которых старшей было десять лет, все белокурые, в голубых платьицах, отделанных узким белым кружевом, были похожи на прелестных куколок. Самой младшей шел третий год. Все они, уже хорошенькие, обещали вырасти красавицами, в мать.

Трое мальчиков — двое шатены, а старший, девятилетний, уже брюнет — должны были превратиться в крепких, рослых, плечистых мужчин. Вся семья как будто была одной крови, могучей и здоровой.

Аббат произнес молитву, как полагалось в те

дни, когда не было гостей: при посторонних дети не являлись к столу. Начался обед.

Графиня, охваченная внезапным волнением, сидела, опустив глаза, тогда как граф всматривался то в мальчиков, то в девочек, неуверенно переводя затуманенный тревогою взгляд с одного лица на другое. И вдруг он поставил перед собою бокал таким резким движением, что ножка сломалась и подкрашенная вином вода разлилась по скатерти. От этого легкого шума графиня так сильно вздрогнула, что подскочила на стуле. Супруги посмотрели друг на друга. И с этой минуты вопреки собственной воле, вопреки волнению, от которого трепетали душа их и тело, взгляды обоих беспрестанно скрещивались, как дула пистолетов.

Аббат, чувствуя какую-то непонятную неловкость, старался завязать разговор. Он перебрал разные темы, но его бесплодные попытки не породили ни одной мысли, не вызвали ни одного ответного слова.

Графиня, благодаря женскому такту и повинуясь светской привычке, два или три раза пробовала отвечать ему, — напрасно. Она была в таком замешательстве, что собственный голос почти пугал ее в безмолвии просторной комна-

ты, где раздавалось только легкое позвякивание серебра о тарелки.

Муж неожиданно наклонился вперед и сказал:

— Поклянетесь ли вы здесь, перед вашими детьми, что вы сказали мне правду?

Ненависть графини сразу вспыхнула, и, отвечая на вопрос с такой же энергией, как и на взгляды, она подняла обе руки — правую над головами сыновей, левую над головами дочерей — и с твердой решимостью, без малейшей дрожи, ответила:

— Жизнью детей моих клянусь, что я сказала вам правду.

Граф встал, с ожесточением бросил салфетку на стол, повернулся, отшвырнул стул к стене и молча вышел.

А графиня, облегченно вздохнув, словно радуясь своей первой победе, сказала спокойно:

— Не бойтесь, дорогие, у папы только что случилась большая неприятность. Он еще очень расстроен. Через несколько дней это все пройдет.

И она поговорила с аббатом, поговорила с мисс Смит, нашла для каждого из детей теплое, нежное слово, ту милую материнскую ласку, от которой переполняются радостью маленькие сердца.

Когда обед кончился, она перешла с детьми в

гостиную. Она весело болтала со старшими, рассказывала сказки младшим и, когда наступило время сна, простилась с каждым из них долгим поцелуем. Потом, отослав детей спать, вернулась одна в свою комнату.

Она ждала, так как не сомневалась, что он придет. Но теперь, оставшись одна, она решила защищать свое тело, свое человеческое достоинство так же, как защищала свою жизнь светской женщины; и она спрятала в кармане платья маленький револьвер, купленный за несколько дней до того.

Время шло, били часы. Все звуки в доме стихли. Только с улицы все еще доносился смутный, далекий шум экипажей, заглушенный обивкой стен.

Она ждала напряженно, нервно, уже не боясь мужа теперь, готовая на все, почти торжествующая, потому что нашла для него ежеминутную пытку на всю жизнь.

Но утренние лучи уже стали пробиваться из-под бахромы гардин, а он все не шел. И тогда она с изумлением поняла, что он не придет. Заперев дверь на ключ и на задвижку, которую недавно велела сделать, она легла наконец в постель и долго лежала с открытыми глазами, раздумывая, не понимая, не догадываясь, что он будет делать.

Вместе с утренним чаем горничная принесла ей письмо от мужа. Он писал, что отправляется в довольно долгое путешествие, и в постскриптуме извещал, что необходимые деньги на все расходы ей будет доставлять нотариус.

III

Это было в Опере, на *Роберте-Дьяволе*, в антракте.

Стоя в проходе у рампы, мужчины в цилиндрах, в глубоко вырезанных жилетах, открывавших белоснежные сорочки, на которых сверкало золото и драгоценные камни запонок, оглядывали ложи, где декольтированные женщины в бриллиантах и жемчугах казались цветами в ярко освещенной оранжерее; их прекрасные лица и ослепительные плечи словно расцветали навстречу взглядам, раскатам музыки и голосам.

Повернувшись спиной к оркестру, двое приятелей беседовали, лорнируя всю эту галерею туалетов, всю эту выставку подлинного или поддельного изящества, драгоценностей, роскоши и претензий, раскинувшуюся полукругом над огромным партером театра.

Один из них, Роже де Сален, сказал своему другу Бернару Грандену:

— Погляди-ка на графиню де Маскаре. Как она еще хороша!

Тот также навел лорнет на высокую женщину в ложе напротив; женщина эта казалась еще совсем молодой, и ее блистательная красота привлекала взгляды со всех концов зрительного зала. Матовый цвет лица оттенка слоновой кости придавал ей сходство со статуей; в черных, как ночь, волосах тонкая дуга диадемы, осыпанной алмазами, сверкала, словно Млечный путь.

Поглядев немного, Бернар Гранден ответил игриво, но тоном глубокого убеждения:

— Еще бы не хороша!

— Сколько ей теперь может быть лет?

— Погоди, сейчас скажу точно. Я знал ее, когда она была ребенком… Я помню, как она девушкой впервые стала выезжать в свет. Ей… ей… тридцать… тридцать… тридцать шесть лет.

— Не может быть!

— Наверное знаю.

— На вид ей двадцать пять.

— У нее семеро детей.

— Невероятно!

— И все семеро живы! Она прекрасная мать. Я иногда бываю у них, это очень приятная семья, очень спокойная, очень здоровая. В высшем свете

графиня считается идеальной женой и матерью.

— Как странно! И о ней никогда ничего не говорили?

— Никогда.

— А ее муж? Странный человек, не правда ли?

— И да и нет. Кажется, между ними произошла небольшая драма, одна из тех мелких семейных драм, о которых только подозревают, в точности о них ничего неизвестно, но кой о чем можно догадаться.

— В чем же дело?

— Я лично ничего не знаю. Теперь Маскаре живет очень бурно, а прежде был безукоризненным супругом. Пока он оставался верным мужем, у него был ужасный характер, мрачный, угрюмый. А с тех пор, как закутил, он стал ко всему равнодушен, но кажется, будто он чем-то удручен, будто его гложет какое-то затаенное горе. Он заметно постарел.

И оба приятеля несколько минут философствовали на тему о тайных, непонятных страданиях, порождаемых в семействах несходством характеров, а может быть, и физической антипатией, не заметной вначале.

Продолжая лорнировать г-жу де Маскаре, Роже де Сален заговорил снова:

— Просто не верится, что у этой женщины семеро детей.

— Да, за одиннадцать лет! После чего, в тридцать лет, она отказалась от деторождения, и для нее началась блестящая эра светской жизни, которая, по-видимому, еще не скоро кончится.

— Бедные женщины!

— Почему ты их жалеешь?

— Почему? Ах, дорогой, подумай только! Одиннадцать лет беременности для такой женщины! Ведь это ад! Молодость, красота, надежда на успех, поэтический идеал блестящей жизни — все принесено в жертву отвратительному закону воспроизведения рода… и здоровая женщина становится простой машиной для деторождения.

— Ничего не поделаешь! Такова природа!

— Да, надо сказать, что природа — наш враг, с природой надо всегда бороться, потому что она постоянно низводит нас на уровень животного. Если есть на земле что-либо чистое, красивое, изящное, идеальное, то оно создано не богом, а человеком, человеческим разумом. Это мы, воспевая действительность, истолковывая ее, удивляясь ей, как поэты, идеализируя ее, как художники, объясняя ее, как ученые, которые, правда, обманываются, но все же находят в явле-

ниях любопытный смысл, — это мы внесли в нее немного изящества, красоты, непонятного очарования, таинственности. Богом же сотворены лишь грубые, кишащие зародышами всяких болезней существа, которые после нескольких лет животного расцвета стареют в немощах, обнаруживая все безобразие, все бессилие человеческой дряхлости. Он, кажется, создал их только для того, чтобы они гнусно производили себе подобных и затем умирали, как умирают летним вечером однодневные насекомые. Я сказал: «Гнусно производили» — и на этом настаиваю. Что может быть, в самом деле, гаже и отвратительнее: мерзкого и смешного акта воспроизведения живых существ, которым всегда возмущались и будут возмущаться все утонченные души? Раз уж все органы тела, изобретенные этим скупым и недоброжелательным творцом, служат каждый двум целям, почему же он не выбрал для этой священной миссии, для самой благородной и самой возвышенной из человеческих функций какой-нибудь другой орган, не столь гнусный и осквернённый? Рот, через который наше тело получает вещественную пищу, в то же время выражает слово и мысль. Посредством него восстанавливается плоть, и через него же сообщаются мысли. Орган

обоняния, дающий легким необходимый для жизни воздух, передает мозгу все благоухания мира, запахи цветов, лесов, деревьев, моря. Слух, благодаря которому мы общаемся с себе подобными, помог нам создать музыку; мы творим из звуков мечту, счастье, бесконечность и испытываем при этом физическое наслаждение! Но можно подумать, что насмешливый и циничный творец как будто нарочно задался целью навсегда лишить человека возможности облагородить, украсить и идеализировать встречу с женщиной. И вот человек изобрел любовь — неплохой ответ лукавому богу! — и так опоэтизировал ее, что женщина подчас забывает, какие прикосновения она вынуждена терпеть. Те из нас, кто не способен к самообману и экзальтации, изобрели порок, утонченный разврат, — и это тоже способ околпачивать бога и воздавать почести, бесстыдные почести красоте.

А нормальный человек производит детей, подобно животным, спаривающимся по закону природы.

Погляди на эту женщину! Не отвратительно ли думать, что эта драгоценность, эта жемчужина, созданная для того, чтобы олицетворять прекрасное, внушать восхищение, поклонение

и обожание, потратила одиннадцать лет своей жизни на производство наследников для графа де Маскаре?

Бернар Гранден ответил со смехом:

— Во всем этом есть доля правды, но много ли таких, которые поймут тебя?

Сален волновался все больше и больше.

— Знаешь, как я представляю себе бога? — сказал он. — В виде колоссального неведомого нам производительного органа, рассеивающего в пространстве миллиарды миров, словно рыба, которая мечет икру одна в целом море. Он творит, ибо такова его божественная функция, но он сам не знает, что делает; его плодовитость бессмысленна, он даже не подозревает, какие разнообразные сочетания дают разбросанные им семена. Человеческая мысль — какая-то счастливая случайность в этой его творческой деятельности, мелкая, преходящая, непредвиденная случайность, которая обречена исчезнуть вместе с землей и, быть может, возникнуть вновь где-либо в пространстве, — возникнуть в том же или в ином виде, в новых сочетаниях извечных начал. Этой ничтожной случайности — нашему сознанию — мы обязаны тем, что нам так плохо в этом мире, созданном не для нас и не приспо-

собленном к тому, чтобы принимать, размещать, кормить и удовлетворять мыслящие существа. Сознанию же мы обязаны и тем, что вынуждены — если только мы действительно утончены и культурны — постоянно бороться против того, что все еще называется путями провидения.

Гранден, слушавший его внимательно и давно уже знакомый с яркими вспышками его воображения, спросил:

— Значит, по-твоему, человеческая мысль есть случайное порождение слепого божественного промысла?

— Да, черт возьми! Непредвиденную функцию нервных центров нашего мозга можно сравнить с химическими реакциями, которые получаются при неожиданном сочетании элементов, а также с электрической искрой, вспыхивающей от трения или при случайном взаимодействии некоторых тел, — словом, со всеми явлениями, какие порождаются бесконечным и плодотворным разнообразием живой материи.

И доказательства этого, дорогой мой, так и бросаются в глаза всякому, кто только оглянется вокруг себя. Если бы человеческая мысль входила в намерения сознающего свои цели творца и должна была бы быть тем, чем она стала, — такой

непохожей на мысль животного и на покорность животного, такой требовательной, ищущей, любознательной, беспокойной, то неужели мир, созданный для таких существ, какими мы являемся сейчас, сводился бы к этому неудобному и тесному загону для скота, к этим грядам салата, к этому шарообразному, лесистому и каменистому огороду, где нам по воле нашего непредусмотрительного провидения следовало бы жить голыми в пещерах или под деревьями, питаться трупами убитых животных — наших братьев — или сырыми овощами, выросшими под солнцем и дождем?

Но стоит задуматься на миг, и станет понятно, что этот мир сотворен не для таких существ, как мы. Мысль, каким-то чудом расцветшая и развившаяся в ячейках нашего мозга, мысль, бессильная, невежественная и неясная, какова она есть и какой останется навсегда, делает всех нас, мыслящих людей, вечными и несчастными изгнанниками на этой земле.

Взгляни на нее, на эту землю, которую бог дал ее обитателям. Разве не ясно, что вся она со своими растениями и лесами предназначена исключительно для животных? Что найдется на ней для нас? Ничего. А для них все: пещеры, деревья,

листья, родники — жилища, еда и питье. Так что привередливые люди вроде меня никогда и не могут чувствовать себя здесь хорошо. Довольны и удовлетворены только те, кто приближается к животным. А как же прочие — поэты, утонченные или беспокойные души, мечтатели, исследователи? Ах, бедняги!

Я ем капусту и морковь, черт побери, ем лук, репу и редиску, — ем потому, что пришлось к этому привыкнуть, даже найти в них вкус, и потому что ничто другое не растет; но ведь это же еда для кроликов и коз, как трава и клевер — еда для коров и лошадей! Когда я вижу колосья зрелой пшеницы в поле, то не сомневаюсь, что все это выращено землей для воробьиных и ласточкиных клювов, а никак не для моего рта. Стало быть, когда я жую хлеб, то обкрадываю птиц, а когда ем курицу, то обкрадываю лисиц и ласок. Разве перепелка, голубь и куропатка не естественная добыча для ястреба? И ведь баран, козел или бык — скорее пища для крупных хищников, чем то жирное мясо, которое нам подают зажаренным, с трюфелями, специально для нас вырытыми из земли свиньей.

Но, дорогой мой, ведь животным не надо ничего делать, чтобы жить здесь. Они дома, у них

готовый стол и квартира, им остается только пастись или охотиться и пожирать друг друга, соответственно своему инстинкту: бог никогда не предвидел любви и мирных нравов; он предвидел только смерть живых существ, ожесточенно убивающих и пожирающих друг друга.

А мы!.. Ах, сколько потребовалось нам труда, сил, терпения, изобретательности, фантазии, предприимчивости, способностей, таланта, чтобы сделать эту каменистую, проросшую корнями почву сколько-нибудь обитаемой! Подумай, чего мы только ни сделали вопреки природе и против природы, чтобы устроиться хотя бы сносно, хоть как-нибудь, хоть сколько-нибудь удобно, хоть сколько-нибудь изящно, но все еще недостойно нас!

И чем мы цивилизованнее, чем умнее и утонченнее, тем больше нам приходится побеждать и подчинять себе животный инстинкт, который заложен в нас по воле бога.

Подумай только, что нам пришлось создать цивилизацию, всю цивилизацию, включающую столько вещей, — столько, столько всевозможнейших вещей, от носков до телефона! Подумай обо всем, что ты видишь ежедневно, обо всем, чем мы пользуемся так или иначе.

Чтобы скрасить свою скотскую участь, мы придумали и создали все, начиная с жилища, а затем — вкусную пищу, соусы, конфеты, пирожные, напитки, ликеры, ткани, одежды, украшения, кровати, матрацы, экипажи, железные дороги, бесчисленные машины. Мало того, мы изобрели науку, искусство, письменность и стихи. Да, это мы создали искусство, поэзию, музыку, живопись. Все идеалы исходят от нас, как и вся привлекательная сторона жизни — женские туалеты и мужские таланты, — и нам в конце концов удалось хоть немного приукрасить, сделать менее голым, менее монотонным и тяжелым то существование простых производителей, ради которого только и породило нас божественное провидение.

Взгляни на этот театр. Разве в нем не собралось человеческое общество, созданное нами, не предусмотренное извечным промыслом, ему неизвестное и доступное только нашему сознанию? Разве ты не видишь, что это изысканное, чувственное и интеллектуальное развлечение придумано вот таким недовольным и беспокойным мелким животным, как ты или я, и притом придумано им только для себя самого?

Взгляни на эту женщину, на госпожу де Мас-

каре, Бог сотворил ее для того, чтобы она жила в пещере, нагая или завернутая в звериные шкуры. Но разве такая, как есть, она не лучше? А кстати, не знаешь ли, почему этот болван муж, обладая такой подругой, — и особенно после того, как он позволил себе хамство семь раз сделать ее матерью, — почему он вдруг бросил ее и стал бегать за девками.

Гранден ответил:

— Э, дорогой мой, может быть, в этом-то все и дело. В конце концов он понял, что постоянно ночевать дома — обходится ему слишком дорого. И к тем самым принципам, которые ты выдвигаешь философически, он пришел из соображений домашней экономии.

Раздались три удара — сигнал к последнему акту. Приятели повернулись, сняли цилиндры и заняли свои места.

IV

Граф и графиня де Маскаре молча сидели рядом в карете, отвозившей их домой из Оперы. И вдруг муж сказал:

— Габриэль!

— Что вам надо от меня?

— Вы не находите, что это длится достаточно

долго?

— Что именно?

— Ужасающая пытка, которую я терплю от вас уже шесть лет.

— Но я не знаю, как вам помочь.

— Скажите мне наконец: который?

— Никогда.

— Подумайте, ведь я не могу видеть детей, не могу быть с ними, чтобы сердце мое не сжималось сомнением. Скажите мне, который? Клянусь вам, я прощу. Я буду обращаться с ним так же, как с другими.

— Я не имею права.

— Или вы не замечаете, что я не в силах больше выносить эту жизнь, эту мучительную мысль, этот вечный неотступный вопрос, терзающий меня всякий раз, как я их вижу? Я с ума схожу.

Она спросила:

— Вы так сильно страдали?

— Невыносимо. Иначе согласился ли бы я на этот ужас — жить бок о бок с вами, и на еще больший ужас — чувствовать и знать, что среди моих детей есть один — какой, я не знаю, — который мешает мне любить всех остальных?

Она повторила:

— Так вы действительно очень страдали?

Сдержанным, измученным голосом он ответил:

— Да ведь я повторяю вам каждый день, что это для меня невыносимая пытка. Разве иначе я бы вернулся? Стал бы я жить в этом доме, вместе с вами и с ними, если бы я их не любил? Ах, вы поступили со мной ужасно. Дети — единственная радость моей жизни, вы это отлично знаете. Я для них такой отец, какие бывали только в давние времена, как и для вас я был мужем старинного склада: ведь я все еще человек инстинкта, человек природы, человек старого времени. Да, признаюсь, вы вызывали во мне жестокую ревность, потому что вы женщина другой породы, другой души, других потребностей. Ах, я никогда не забуду того, что вы мне сказали. Но с тех пор я перестал интересоваться вами. Я не убил вас потому, что тогда у меня не осталось бы средства когда бы то ни было узнать, который же из наших… ваших детей — не мой. Я ждал, но я страдал сильнее, чем вы можете вообразить, потому что я не смею больше любить их, кроме, может быть, двух старших. Я не смею взглянуть на них, позвать их, обнять, я никого из них не могу посадить к себе на колени, чтобы тут же не подумать: «Не этот ли?» Шесть лет я был с вами корректен,

даже мягок и любезен. Скажите мне правду, и, клянусь вам, я ничего плохого не сделаю.

В темноте кареты ему показалось, что она тронута, и он почувствовал, что сейчас наконец она заговорит.

— Прошу вас, — сказал он, — умоляю вас…

Она прошептала:

— Я, может быть, виновнее, чем вы думаете. Но я не могла, не могла продолжать эту отвратительную жизнь, я не хотела быть постоянно беременной. Другого средства прогнать вас от своей постели у меня не было. Я солгала перед богом, я солгала, подняв руку над головами детей, — я вам не изменяла никогда.

Он схватил в темноте ее руку и, стиснув ее так же, как в страшный день прогулки в Лес, проговорил:

— Это правда?

— Правда.

Но он простонал, содрогаясь от муки:

— Ах, теперь у меня начнутся новые сомнения, и не будет им конца! Когда вы солгали: тогда или теперь? Как могу я верить вам сейчас? Как после этого верить женщине? Никогда уже я больше не узнаю правды. Лучше бы вы мне сказали: «Жак» или «Жанна»!

Коляска въехала во двор особняка. Когда она остановилась перед подъездом, граф вышел первым и, как всегда, повел графиню по лестнице под руку.

Поднявшись на второй этаж, он сказал:

— Можно поговорить с вами еще несколько минут?

Она ответила:

— Пожалуйста.

Они вошли в маленькую гостиную. Несколько удивленный лакей зажег свечи.

Оставшись наедине с женой, граф заговорил снова:

— Как мне узнать правду? Я тысячу раз умолял вас сказать, но вы молчали; вы были непроницаемы, непреклонны, неумолимы, а вот теперь говорите, что это была ложь. Шесть лет вы заставляли меня верить в подобный обман! Нет, вы лжете именно сегодня, не знаю только зачем. Может быть, из жалости ко мне?

Она ответила искренне и убежденно:

— Но ведь иначе я за эти шесть лет родила бы еще четверых детей.

Он воскликнул:

— И это говорит мать!

— Ах, — отвечала она, — я вовсе не чувствую

себя матерью еще не родившихся детей, мне довольно быть матерью тех, которые у меня есть, и любить их всем сердцем. Я, как и все мы, женщина цивилизованного мира, сударь. Мы уже не просто самки, населяющие землю, и мы отказываемся ими быть.

Она встала, но муж схватил ее за руки.

— Одно слово, одно только слово, Габриэль! Скажите мне правду.

— Я вам только что сказала ее. Я не изменяла вам никогда.

Он посмотрел ей прямо в лицо, такое прекрасное, в глаза, серые, как холодное небо. В темной прическе, в этой глубокой ночи черных волос, сверкала, как Млечный путь, осыпанная алмазами диадема. И тогда он вдруг почувствовал, он каким-то прозрением понял, что это существо уже не просто женщина, предназначенная для продолжения его рода, но странное и таинственное порождение всех сложных желаний, накопленных в нас веками, отвращенных от своей первоначальной и божественной цели, блуждающих на путях к непостижимой, неуловимой и лишь угадываемой красоте. Да, бывают такие женщины, расцветающие только для наших грез, украшенные всей поэзией, всем

блеском идеала, всем эстетическим обаянием и чарами, какими цивилизация наделила женщину, эту статую из живой плоти, возбуждающую не только чувственную любовь, но и духовные стремления.

Муж стоял перед нею, изумленный этим запоздалым и загадочным открытием, смутно догадываясь о причинах своей прежней ревности и плохо все это понимая.

Наконец он сказал:

— Я вам верю. Я чувствую, что в этот момент вы не лжете; а прежде, в самом деле, мне все время казалось, что в ваших словах есть ложь.

Она протянула ему руку:

— Итак, мы друзья?

Он взял эту руку и, целуя ее, ответил:

— Друзья. Благодарю вас, Габриэль.

И он вышел, с трудом оторвав от нее взгляд, удивляясь тому, что она еще так прекрасна, и чувствуя, как в нем рождается странное волнение, быть может, более опасное, чем древняя и простая любовь.

Оливковая роща

I

Когда в порту, маленьком провансальском порту Гаранду, лежащем в глубине залива Писка́, между Марселем и Тулоном, завидели лодку аббата Вильбуа, возвращавшегося с рыбной ловли, люди спустились к самому морю, чтобы помочь вытащить посудину на берег.

Аббат сидел в ней один и, несмотря на свои пятьдесят восемь лет, греб с редкой энергией, как настоящий моряк. Рукава на его мускулистых руках были засучены, полы слегка расстегнутой на груди сутаны приподняты и зажаты между коленями, треугольная шляпа лежала сбоку на скамье, а на голове был пробковый шлем, обтянутый белым полотном. В таком виде аббат напоминал мускулистого колоритного священника тропических стран, больше приспособленного к приключениям, чем к служению мессы.

Время от времени он оглядывался назад, проверяя место причала, а затем снова принимался грести, ритмично, методически и сильно, лишний раз показывая этим южным морячишкам,

как работают веслами на севере.

Лодка с разгона врезалась в песок и заскользила по нему, словно собираясь пересечь весь пляж, потом резко остановилась, и пять человек, наблюдавшие приезд своего кюре, подошли поближе, приветливые, довольные, с явной симпатией к священнику.

— Ну, как, — с резким провансальским акцентом сказал один из них, — хороший улов, господин кюре?

Аббат Вильбуа положил весла по бортам, снял пробковый шлем, надел треугольную шляпу, спустил рукава, застегнул сутану и, приняв обычный вид и осанку деревенского священнослужителя, с гордостью ответил:

— Да, да, очень хороший. Три зубатки, две мурены, несколько радужников.

Пятеро рыбаков подошли к лодке и, нагнувшись над бортом, с видом знатоков осмотрели добычу: жирных зубаток, плоскоголовых мурен — отвратительных морских змей — и фиолетовых радужников, покрытых зигзагами золотистых полосок цвета апельсинной корки.

Один из рыбаков сказал:

— Я снесу все это к вам домой, господин кюре.

— Спасибо, любезный.

Пожав рыбакам руки, священник отправился в путь в сопровождении одного из них, а остальные занялись его лодкой.

Он шел медленными крупными шагами, и весь вид его говорил о достоинстве и силе. Еще разгоряченный от напряженной гребли, он временами, проходя под легкой тенью оливковых деревьев, снимал шляпу, подставляя вечернему воздуху, все еще теплому, хотя с моря и тянуло свежим ветерком, свой квадратный лоб, обрамленный прямыми седыми, коротко остриженными волосами, — скорее лоб офицера, чем лоб священника. На пригорке, посреди широко и ровно спускавшейся к морю долины, показалась деревня.

Был июльский вечер. Ослепительное солнце, почти уже касавшееся зубчатого гребня отдаленных холмов, отбрасывало на белую дорогу, погребенную под саваном пыли, бесконечную косую тень священника; его гигантская треуголка скользила по соседнему полю большим темным пятном, и пятно это, славно забавляясь, быстро карабкалось по стволам всех встречных оливковых деревьев и тотчас же, снова соскочив наземь, ползло между деревьями.

Облако тонкой пыли, этой мельчайшей муки, устилающей летом провансальские дороги, под-

нималось из-под ног аббата Вильбуа и, дымясь вокруг его сутаны, окутывало, покрывало ее снизу все более заметным серым слоем. Аббат, теперь уже остынув, засунул руки в карманы и шел медленной, мощной походкой горца, преодолевающего подъем. Его спокойные глаза смотрели на деревню, на ту деревню, где он священствовал уже двадцать лет, которую он сам выбрал и получил в порядке большого одолжения и где рассчитывал умереть. Церковь, его церковь, венчала широкий конус теснившихся вокруг нее домов двумя побуревшими каменными башенками; их неровные четырехугольные силуэты подымались над этой прекрасной южной долиной, напоминая скорее укрепления древнего замка, чем колокольни храма.

Аббат был доволен, что поймал трех зубаток, двух мурен и несколько радужников.

Это будет еще одна маленькая победа в глазах прихожан, уважавших его главным образом, пожалуй, за то, что, несмотря на возраст, у него была лучшая мускулатура во всей округе. Это мелкое, но невинное тщеславие доставляло ему величайшее удовольствие. Он стрелял из пистолета, срезая пулей цветочные стебли, часто фехтовал со своим соседом, табачным торговцем, бывшим

полковым учителем фехтования, и плавал лучше всех на побережье.

Когда-то он был светским человеком, очень известным и очень элегантным бароном де Вильбуа. Духовный сан он принял в тридцать два года, пережив тяжелую любовную драму.

Происходя из старинного пикардийского рода, роялистского и преданного католицизму, на протяжении нескольких столетий отдававшего своих сыновей на службу в армию, суд и церковь, он сначала собирался, по совету матери, принять духовный сан, но позже послушался отца и решил просто поехать в Париж изучать право, чтобы впоследствии занять солидную должность в суде.

В то время, когда он кончал курс, отец его, охотясь в болотистых местах, схватил воспаление легких и умер, а вскоре умерла и сломленная горем мать. И вот, неожиданно унаследовав большое состояние, он отказался от какой-либо карьеры и удовольствовался обычной жизнью богатого человека.

Красивый малый, достаточно умный, несмотря на то, что ум его был ограничен верованиями, традициями и принципами, унаследованными вместе с мускулатурой от пикардийских дворян-

чиков, он нравился людям, имел успех в светских кругах и пользовался жизнью, как полагается богатому и серьезному молодому человеку строгих правил.

Но вот, после нескольких встреч в доме своего друга, он влюбился в молодую актрису, совсем еще юную ученицу консерватории, с блеском дебютировавшую в Одеоне.

Он влюбился в нее со всей страстью, со всем самозабвением человека, рожденного для веры в абсолютные истины. Он влюбился, видя ее сквозь призму романтической роли, в которой она добилась огромного успеха при первом же своем появлении перед публикой.

Прелестная и от природы развратная, она обладала внешностью наивной девочки, восхищая его своим ангельским видом. Ей удалось покорить его до конца, превратить в одного из тех одержимых сумасбродов, восторженных безумцев, которые сгорают на костре смертных страстей от одного взгляда женщины, от одного вида ее юбки. И вот он взял ее в любовницы, заставил бросить театр и четыре года любил ее со все возрастающим пылом. Несмотря на свое имя и почтенные семейные традиции, он, несомненно, кончил бы женитьбой, если бы не открыл однажды, что она

уже давно изменяет ему с другом, который их познакомил.

Драма оказалась тем ужаснее, что любовница была беременна, и он только ждал рождения ребенка, чтобы решить вопрос о браке.

Когда в его руках очутились доказательства — найденные в ящике письма, — он стал обвинять ее в измене, в обмане, в подлости, обвинять со всею грубостью полудикаря, каким он и был.

Но она, дитя парижских тротуаров, бессовестная и бесстыдная, уверенная в другом своем любовнике так же твердо, как и в этом, и вообще смелая, подобно тем дочерям народа, которые всходят на баррикады из одной лихости, повела себя вызывающе и оскорбила его, а когда он замахнулся на нее, показала ему на свой живот.

Он овладел собой, бледнея при одной мысли, что в этом презренном теле, в этой нечистой плоти, в этом гнусном существе зародился его отпрыск, его дитя! Но тут же бросился на любовницу, чтобы раздавить ее и ребенка, уничтожить этот двойной позор. Она испугалась, почуяла гибель и, извиваясь под его кулаком, видя, что он готов растоптать ногами вздутое чрево, где жил уже зародыш человека, закричала, вытянув вперед руки, чтобы защититься от удара:

— Не убивай меня! Ребенок не твой, это от него!

Он отскочил назад до того изумленный, до того потрясенный, что ярость его словно повисла в воздухе, как и его каблук, и крикнул:

— Что… что ты сказала?

А она, вдруг обезумев от ужаса перед смертью, которую видела в глазах этого человека, в его страшном жесте, повторила:

— Ребенок не твой, это от него!

Стиснув зубы, уничтоженный, он прошептал:

— Ребенок?

— Да.

— Лжешь!

И он снова поднял ногу, чтобы ударить любовницу, но она, стоя на коленях, пыталась отодвинуться и все еще бормотала:

— Да говорю же тебе, от него! Если бы от тебя, то разве это не случилось бы уже давно?

Такой довод поразил его, как сама истина. При той внезапной вспышке сознания, когда выводы приходят сами собой, ослепительно ясные, точные, убедительные, неопровержимые, он понял, уверился, что не был отцом злополучного ребенка этой твари; он сразу испытал облегчение, почти спокойствие, словно избавился от какой-то

тяжести, и отказался от мысли уничтожить свою подлую любовницу.

И он сказал ей более спокойным голосом:

— Вставай, убирайся, и чтобы я тебя больше никогда не видел.

Побежденная, она повиновалась. Она ушла.

Больше он никогда ее не видел.

Он тоже уехал. Он отправился на юг, к солнцу, и остановился в деревушке, приютившейся в ложбине на берегу Средиземного моря. Ему понравилась гостиница, выходившая окнами на взморье; он занял в ней комнату, где и остался. Здесь он прожил полтора года — в горе, в отчаянии, в полном одиночестве. Он жил здесь среди мучительных воспоминаний о предательнице, о ее прелести, обаянии, о ее несказанных чарах, в тоске по ней самой, по ее ласкам.

Он бродил по провансальским долинам, подставляя солнцу, пробивавшемуся сквозь серовато-тую листву оливковых деревьев, свою бедную больную голову, где все еще было живо это наваждение.

Но в этом горьком одиночестве к нему понемногу вернулись прежние благочестивые мысли, несколько охладевшее пламя былой веры. Религия, которая казалась ему когда-то убежищем

от неведомой жизни, представилась ему теперь убежищем от лживой и мучительной жизни. Он сохранил привычку к молитве. Он прибегал к ней в своем горе и часто с наступлением сумерек становился на колени среди темной церкви, где в глубине хоров блестел лишь огонек лампады — священный часовой храма, символ присутствия божества.

Этому богу, своему богу, он поверил все свои терзания. У него он просил совета, сострадания, помощи, защиты, утешения, и в молитву, повторяемую день ото дня все с большим жаром, он каждый раз вкладывал все более сильное чувство.

Сердце его, истерзанное и сжигаемое страстью к женщине, еще было открыто, еще трепетало и жаждало любви; и понемногу силою молитвы, силою отшельнической жизни и все возрастающей привычки к благочестию, силою постоянного тайного общения набожной души со спасителем, который призывает к себе и утешает несчастных, в нем поселилась мистическая любовь к богу и победила ту, другую любовь.

Тогда он вернулся к своим первоначальным намерениям и решил отдать церкви свою разбитую жизнь, которую готовился посвятить богу, когда

она еще была чиста.

Итак, он стал священником. При содействии семьи и своих связей он добился назначения викарием в ту самую провансальскую деревушку, куда его забросила судьба, пожертвовал на благотворительные цели большую часть своего состояния, оставив себе лишь столько, чтобы до самой смерти иметь возможность помогать бедным, и замкнулся в однообразном существовании, заполненном делами благочестия и служением ближним.

Из него получился пастырь узкого кругозора, но хороший, нечто вроде религиозного вожака с боевым темпераментом, вожака из того церковного воинства, которое насильно ведет по верной дороге блуждающее, слепое человечество, затерянное в дебрях жизни, где все наши инстинкты, вкусы, желания — это тропинки, сбивающие нас с пути. Но многое от прежнего человека еще жило в аббате. Он не переставал любить физические упражнения, благородный спорт, фехтование и с ужасом, какой испытывает ребенок перед таинственной опасностью, чуждался женщин, всех женщин.

II

У матроса, шедшего за священником, как у истого южанина, язык чесался, так ему хотелось поболтать. Но он не смел заговорить, потому что аббат пользовался у своей паствы величайшим уважением. Наконец он расхрабрился.

— Хорошо ли вам на даче, господин кюре? — спросил он.

Дача эта была одним из тех крохотных домиков, куда провансальцы перебираются летом из городов и деревень, чтобы пожить на свежем воздухе. Аббат нанял избушку в поле, в пяти минутах ходьбы от своего дома, слишком маленького, втиснутого между другими домами, посредине деревни, у самого храма.

На дачу он не переселялся на все лето, а приходил только временами на несколько дней, чтобы пожить среди зелени и пострелять из пистолета.

— Да, мой друг, — сказал священник, — мне здесь очень хорошо.

Между деревьев уже виднелась низенькая дачка, выкрашенная в розовую краску и как бы исчерченная, исполосованная, изрезанная на кусочки ветвями и листьями оливковых деревьев, которыми был засажен неогороженный участок,

где избушка эта выросла, как провансальский гриб.

Уже видна была и высокая женщина, которая то входила в дом, то выходила из него, накрывая к обеду маленький стол в саду. Каждый раз она приносила с методической медлительностью тарелку или стакан, салфетку или кусок хлеба — словом, то, что требуется для одного прибора. На голове у нее был маленький арлезианский чепец — черный шелковый или бархатный конус, на котором торчало нечто вроде гриба белого цвета.

Подойдя на расстояние голоса, аббат закричал:

— Эй! Маргарита!

Женщина остановилась, поглядела и узнала хозяина.

— А, это вы, господин кюре?

— Я. У меня прекрасный улов; вы зажарите мне сейчас зубатку на сливочном масле, на одном сливочном масле, понимаете?

Служанка, подойдя к мужчинам, оценивала взглядом знатока принесенную матросом рыбу.

— Да ведь у нас есть уже курица с рисом, — сказала она.

— Ничего не поделаешь, вчерашняя рыба — это совсем не то, что прямо из воды. Сегодня я хочу

устроить себе праздник и полакомиться. Это не часто бывает, да и грех невелик.

Женщина выбрала зубатку и, унося ее, сказала:

— Ах да! Тут к вам один человек три раза приходил, господин кюре.

Он равнодушно спросил:

— Человек? Из каких?

— Да из таких, которым особо верить нельзя.

— Вот как? Нищий?

— Может, и нищий, не скажу. По-моему, мауфатан.

Аббат Вильбуа посмеялся над этим провансальским словом, обозначающим преступника, бродягу: он знал трусливость Маргариты, которая не могла жить на даче, не думая весь день, а особенно всю ночь, что сейчас ее с хозяином убьют.

Получив несколько су, рыбак ушел. Но не успел аббат, сохранявший опрятность и привычки светского человека, сказать: «Пойду сполосну немножко лицо и руки», — как Маргарита, которая ушла в кухню и уже торопливо скребла ножом спину зубатки так, что чешуйки, слегка запачканные кровью, отскакивали, будто крохотные серебряные монетки, — крикнула:

— Вот он опять!

Аббат посмотрел на дорогу и увидел какого-то

человека, который еще издали показался ему очень плохо одетым; тот неторопливо подходил к дому. Хозяин подождал, все еще улыбаясь ужасу служанки и думая: «А она, кажется, не ошиблась; право, он сильно смахивает на мауфатана».

Незнакомец приближался не спеша, засунув руки в карманы и глядя на священника. Он был молод, его кудрявая белокурая борода была не подстрижена, а вьющиеся волосы выбивались из-под мятой фетровой шляпы, до такой степени грязной и затасканной, что никто не смог бы определить ее первоначальный цвет и форму. На нем было длинное коричневое пальто, брюки, обтрепанные у щиколоток, и холщовые башмаки на плетеной подошве, отчего походка у него была беззвучная, мягкая, подозрительная — неслышная поступь бродяги.

Подойдя к священнику на несколько шагов, он немного театральным жестом снял рвань, прикрывавшую его голову, и открыл изможденное, чувственное, красивое лицо и плешь на темени — признак утомления или раннего разврата, потому что этому человеку было явно не больше двадцати пяти лет.

Аббат тоже немедленно снял шляпу, чувствуя и догадываясь, что перед ним не обычный бродяга,

не какой-нибудь безработный или арестант, шатающийся по дорогам между двумя отсидками и уже разучившийся говорить иначе, как на таинственном тюремном языке.

— Здравствуйте, господин кюре, — сказал этот человек.

Аббат коротко ответил: «Приветствую вас», — не желая называть этого подозрительного и обтрепанного прохожего господином. Оба пристально поглядели друг на друга, и под взглядом этого бродяги аббат Вильбуа почувствовал вдруг себя смущенным, взволнованным, словно перед лицом неведомого врага; им овладело то странное беспокойство, от которого человека невольно охватывает внутренняя дрожь.

Наконец бродяга заговорил:

— Ну как, узнаете?

Священник с большим удивлением ответил:

— Я? Нет, я вас вовсе не знаю.

— Не знаете! Поглядите еще.

— Сколько бы ни глядел, я вас никогда не видел.

— Это-то верно, — ответил тот иронически, — но вот я вам покажу одного человека: его вы знаете лучше.

Бродяга надел шляпу и расстегнул пальто. Под

ним оказалась голая грудь. Красный пояс, стягивая худой живот, поддерживал брюки.

Он вынул из кармана конверт, один из тех невероятных, разделанных под мрамор грязными пятнами конвертов, которые, лежа за подкладкой у нищих бродяг, хранят в себе какие-нибудь подлинные или поддельные, краденые или законные бумаги — драгоценную защиту свободы от встречных жандармов. Из конверта он вытащил фотографию — большую, величиной с письмо карточку, какие делались раньше; пожелтевшая, потрепанная, много пространствовавшая, она согревалась на теле этого человека и выцветала от его теплоты.

И, подняв ее вровень со своим лицом, он спросил:

— А этого вы знаете?

Аббат подошел на два шага, чтобы разглядеть, — и побледнел, потрясенный: это была его собственная карточка, снятая для *нее* в далекие времена любви.

Он молчал, ничего не понимая.

Бродяга повторил:

— Этого вы знаете?

И священник произнес:

— Да.

— Кто это?

— Я.

— Наверное вы?

— Да.

— Ну, так поглядите теперь на нас обоих — на ваш портрет и на меня.

Аббат уже видел, несчастный, уже видел, что эти два человека — тот, что на карточке, и тот, что смеялся рядом с нею, — были похожи друг на друга, как два брата; но, все еще не понимая, проговорил заикаясь:

— Чего же вы все-таки от меня хотите?

В голосе оборванца зазвучала злоба.

— Чего хочу? Прежде всего я хочу, чтобы вы меня признали.

— Кто же вы такой?

— Кто я такой? Спросите первого встречного, спросите вашу служанку. Хотите, пойдем спросим здешнего мэра; только покажем ему вот эту карточку, — и можете мне поверить, он посмеется всласть. Так вы не хотите признать, что я ваш сын, папаша кюре?

Библейским жестом отчаяния старик поднял руки и простонал:

— Это неправда!

Молодой человек приблизился к нему вплот-

ную.

— Ах, неправда? Эй, аббат, довольно вранья. Понятно вам?

Лицо у него было угрожающее, кулаки стиснуты, и говорил он с такой неистовой убежденностью, что священник, пятясь от него, недоумевал, кто же из них ошибается в этот момент.

И все же он заявил еще раз:

— У меня никогда не было детей.

Бродяга ответил без запинки:

— И любовницы, может быть, тоже?

Старик решительно произнес только одно слово — гордое признание:

— Была.

— И эта любовница не была беременна, когда вы ее прогнали?

И вдруг старый гнев, подавленный двадцать пять лет тому назад, но не потухший окончательно, а лишь тлевший в сердце любовника, взорвал возведенные над ним своды смиренного благочестия, веры, самоотречения, и вне себя старик закричал:

— Я прогнал ее, потому что она обманывала меня и была беременна от другого; будь ребенок от меня, я убил бы ее и вас, сударь, вместе с ней!

Молодой человек смутился, пораженный ис-

кренним порывом священника, и заговорил мягче:

— Кто вам сказал, что ребенок был от другого?

— Она, она сама, и еще издевалась надо мной.

Тогда бродяга, не оспаривая этого утверждения, заключил безразличным тоном уличного мальчишки, выносящего приговор:

— Ну что ж! Значит, мамаша, издеваясь над вами, тоже ошиблась, вот и все.

Аббат, овладев собою после приступа ярости, спросил:

— А вам кто оказал, что вы мой сын?

— Она сама, когда она умирала, господин кюре… А затем — вот это!

И он снова поднес к глазам священника фотографию.

Старик взял ее и долго, медленно, с сердцем, надрывавшимся от муки, сравнивал этого незнакомого прохожего со своим давнишним изображением. Сомнений не оставалось — это был действительно его сын.

Скорбь овладела его душой, невыразимое, мучительное, тягостное чувство, подобное вновь вспыхнувшему угрызению совести. Кое-что он начинал понимать, об остальном догадывался и вновь видел перед собой грубую сцену расста-

вания. Только для спасения жизни, под угрозой оскорбленного мужчины бросила ему женщина, лживая и коварная самка, эту ложь. И ложь удалась. А от него родился сын, и вырос, и стал этим грязным проходимцем с большой дороги, от которого несет пороком, как несет животным запахом от козла.

Он прошептал:

— Не угодно ли вам пройтись со мной, чтобы как следует объясниться?

Тот рассмеялся:

— Ах, черт! Да ведь я для этого и явился.

И вместе, бок о бок, они пошли по оливковой роще. Солнце уже закатилось. Резкая прохлада южных сумерек накинула на все невидимый холодный плащ. Аббат вздрогнул и вдруг, по привычке священнослужителя подняв глаза, увидел над собою дрожащую на небе мелкую сероватую листву священного дерева, прикрывшего хрупкой своей сенью величайшую скорбь, единственный миг слабости Христа.

И в нем родилась молитва, короткая, полная отчаяния, произнесенная тем внутренним голосом, который не доходит до губ и которым верующие умоляют спасителя: «Помоги мне, господи!».

Потом он повернулся к сыну:

— Итак, ваша мать умерла?

Новое горе пробудилось в нем при словах «Ваша мать умерла» и тисками сжало сердце; в этом чувстве была и тоска мужского тела, которое так и не забыло женщину до конца, и жестокое воспоминание о пережитой пытке, а еще больше, быть может (ведь она умерла), отзвук безумного, короткого счастья юности, от которого ничего уже не оставалось теперь, кроме вечной раны в памяти.

Молодой человек ответил:

— Да, господин кюре, моя мать умерла.

— Давно?

— Да уже три года.

Новое сомнение охватило священника.

— Как же вы не пришли ко мне раньше?

Тот ответил не сразу:

— Не мог. Были препятствия… Но простите, я прерву свои признания и позже продолжу их во всех подробностях, какие вам будут угодны, а пока доложу вам, что я со вчерашнего утра ничего не ел.

Волна жалости потрясла старика, и он сказал порывисто, протягивая обе руки:

— Ах, бедный мой мальчик!

Молодой человек принял эти большие протя-

нутые руки, и они поглотили его тонкие, теплые и лихорадочные пальцы.

Потом он ответил с тем насмешливым выражением, которое почти не сходило с его губ:

— Ну что ж, я, право, начинаю думать, что мы все-таки столкуемся.

Кюре зашагал вперед.

— Идем обедать, — сказал он.

И вдруг с какой-то инстинктивной, смутной и неожиданной радостью он подумал о прекрасной рыбе, которую поймал; вместе с курицей и рисом она будет сегодня отличным обедом для этого бедного мальчика.

Обеспокоенная арлезианка ворчливо ждала их у порога.

— Маргарита! — крикнул аббат. — Живо, живо, возьмите столик, перенесите в комнату и накройте на два прибора. Да скорее же!

Служанка стояла в оцепенении от мысли, что хозяин будет обедать с этим злодеем.

Тогда аббат Вильбуа принялся сам снимать со стола и переносить в единственную комнату первого этажа приготовленный для него прибор.

Пять минут спустя он уже сидел против бродяги, перед миской супа из свежей капусты, от которого поднималось облачко горячего пара.

III

Когда тарелки были наполнены, бродяга с жадностью набросился на суп, быстро глотая ложку за ложкой. Аббату уже не хотелось есть, и, оставив хлеб на тарелке, он только медленно глотал душистый капустный навар.

Вдруг он спросил:

— Как вас зовут?

Тот засмеялся, радуясь, что утоляет голод.

— Отец неизвестен, — отвечал он, — фамилия та же, что и у матери; вы, вероятно, ее еще не забыли. А вот имен целых два — между прочим, они мне вовсе не пристали: Филипп-Огюст.

Аббат побледнел, горло его сжалось. Он спросил:

— Почему вам дали эти имена?

Бродяга пожал плечами.

— Вы могли бы догадаться. Покинув вас, мамаша хотела уверить вашего соперника, что я его сын, и он ей более или менее верил, пока мне еще не было пятнадцати лет. Но тут я стал слишком уж похож на вас. И он, мерзавец, от меня отказался. Так вот, мне дали его имена: Филипп-Огюст; и если бы я имел счастье не быть ни на кого похожим или просто быть сыном какого-нибудь

третьего, неизвестного прохвоста, то сегодня я звался бы виконт Филипп-Огюст де Правалон, с некоторым запозданием признанный сын сенатора и графа той же фамилии. Сам же я окрестил себя Невезучим.

— Откуда вы все это знаете?

— Да ведь при мне бывали объяснения, и крепкие, черт возьми, объяснения! Ого, было где поучиться жизни!

Нечто более тягостное, более мучительное, чем все, что аббат уже перечувствовал и перестрадал за последние полчаса, теперь удручало его. Он испытывал что-то вроде удушья; оно подступало к горлу, усиливалось и в конце концов могло его убить; и происходило это не только оттого, что он слышал, а скорее от тона каким все было сказано, и от вида отвратительной, жульнической физиономии, подчеркивавшей смысл произнесенных слов. Между этим человеком и собою он уже ощущал грязь той моральной клоаки, которая для некоторых душ равносильна смертельному яду. И это его сын?! Он еще не мог поверить. Он желал доказательств, всяческих доказательств; он желал все узнать, все услышать, все принять, все претерпеть. Он снова вспомнил об оливковых деревьях, окружавших его дачку, и вторично

прошептал: «Помоги мне, господи!»

Филипп-Огюст доел суп и спросил:

— Больше ничего не будет, аббат?

Так как кухня помещалась вне дома, в отдельной постройке, и Маргарита не могла слышать оттуда голоса кюре, то в случае надобности он вызывал ее несколькими ударами в китайский гонг, висевший на стене за его спиной.

Итак, он взял обтянутый кожей молоток и несколько раз ударил по металлическому диску. Послышался звук, сначала слабый, потом он усилился, прояснился и стал дрожащим, резким, страшно резким, раздражающим, ужасающим воплем потревоженной меди.

Появилась служанка. Лицо ее было мрачно, она гневно поглядывала на мауфатана, словно чуя инстинктом верной собаки свалившееся на хозяина несчастье. В руках она держала жареную зубатку, от которой шел вкусный запах топленого масла. Аббат ложкой разрезал рыбу вдоль и предложил сыну спинную часть.

— Это я только что поймал, — сказал он, и над его отчаянием всплыл остаток гордости.

Маргарита все не уходила.

Священник сказал ей:

— Принесите вина. Хорошего вина, белого кор-

сиканского.

У нее чуть не вырвался жест возмущения, и ему пришлось строго повторить:

— Ну! Две бутылки.

В тех редких случаях, когда аббат угощал кого-нибудь вином, он разрешал бутылочку и себе.

Филипп-Огюст проговорил, сияя:

— Здорово! Чудная идея. Давно я уже так не ел.

Служанка вернулась через две минуты. Аббату они показались долгими, как вечность: ведь теперь его томило желание все узнать, пожирающее, как адский огонь.

Бутылки были откупорены, но служанка все еще стояла, уставившись на чужого.

— Оставьте нас, — сказал кюре.

Она притворилась, будто не слышит.

Он повторил почти грубо:

— Я вам велел оставить нас одних.

Тогда она ушла.

Филипп-Огюст ел рыбу с торопливой жадностью, а отец разглядывал его с ужасом, все более и более изумляясь низости, постепенно открывавшейся ему в этом, столь похожем на него лице. Аббат Вильбуа подносил к губам маленькие кусочки, но они застревали у него во рту, не могли пройти в горло, сдавленное спазмой, и он

подолгу жевал пищу, выбирая среди всех вопросов, приходивших ему на ум, тот, на который ему хотелось скорее получить ответ.

Наконец он прошептал:

— От чего она умерла?

— От грудной болезни.

— Долго она хворала?

— Года полтора.

— Отчего это с ней случилось?

— Неизвестно.

Они замолчали. Аббат задумался. Его мучило множество вопросов, на которые хотелось получить ответ: ведь он ничего не слышал о ней с самого дня, когда чуть не убил ее. Конечно, он и не хотел слышать, потому что сознательно бросил ее в могилу забвения вместе со своими днями счастья; но теперь, когда она умерла, в нем родилось вдруг жгучее желание, ревнивое, почти любовное желание узнать все.

И он продолжал:

— Она ведь была не одна?

— Нет, она все время жила с ним.

Старик содрогнулся.

— С ним! С Правалоном?

— Ну да.

И обманутый любовник подсчитал, что та са-

мая женщина, которая изменила ему, прожила с его соперником больше тридцати лет.

Почти против воли он проговорил:

— Они были счастливы?

Молодой человек ответил, посмеиваясь:

— Пожалуй. Всякое бывало. Не будь меня, все бы шло отлично. Я вечно портил дело.

— Как это? Почему? — спросил священник.

— Я уже рассказывал. Потому что, пока мне не было пятнадцати лет, он считал меня своим сыном. Но старик был не промах, он прекрасно разглядел, на кого я похож, и тогда начались сцены. А я подслушивал у дверей. Он обвинял мамашу, что она его одурачила. Мамаша отвечала: «Я-то чем виновата? Ты ведь, когда брал меня, отлично знал, что я была любовницей другого». Другого — это значит вашей.

— Ах, так они иногда говорили обо мне?

— Да, но никогда при мне не называли вас; только под конец, под самый конец, в последние дни, когда мамаша почувствовала, что умирает. Они ведь оба остерегались.

— А вы… вы рано поняли, что ваша мать находится в ложном положении?

— Еще бы! Я ведь, знаете, не дурачок и никогда им не был. Эти вещи отгадываешь сразу, как

только начинаешь разбираться в жизни.

Филипп-Огюст наливал стакан за стаканом. Глаза его загорались; после долгой голодовки он быстро хмелел.

Священник заметил это и чуть было не остановил сына, но тут ему пришла мысль, что, опьянев, тот станет неосторожен и болтлив, и, взяв бутылку, он сам снова наполнил молодому человеку стакан.

Маргарита принесла курицу с рисом. Поставив ее на стол, она снова уставилась на бродягу и с негодованием сказала хозяину:

— Да поглядите же, господин кюре, ведь он совсем пьян!

— Оставь нас в покое, — отвечал священник, — и ступай.

Она ушла, хлопнув дверью.

Аббат спросил:

— Что же говорила обо мне ваша мать?

— Да то самое, что обычно говорят о брошенном мужчине: что вы тяжелый человек, невыносимый для женщины, что вы со своими понятиями только мешали бы ей жить.

— Часто она это говорила?

— Да, иной раз обиняками, чтобы я не понял, но мне все было ясно.

— А вы? Как с вами обращались в доме?

— Со мной? Сперва очень хорошо, потом очень плохо. Когда мамаша увидела, что я порчу ей дело, она меня выперла.

— Как это?

— Как это! Очень просто. Лет в шестнадцать я немного нашалил, и тогда эти прохвосты, чтобы отделаться, посадили меня в исправительный дом.

Он поставил локти на стол, подпер голову обеими руками и, совершенно пьяный с затуманившимся от вина рассудком, вдруг впал в то неодолимое желание говорить о себе самом, которое заставляет пьяниц предаваться фантастическому хвастовству.

Он мило улыбался, и на устах его была женственная прелесть, та порочная прелесть, которую священник узнал. Он не только узнал, он вновь почувствовал ее, эту ненавистную и ласкающую прелесть, некогда покорившую и погубившую его. Теперь сын был больше похож на мать — не чертами лица, но обаятельным и лживым взглядом и особенно соблазнительно обманчивой улыбкой, которая словно для того и появлялась, чтобы из полуоткрытого рта вылилась вся внутренняя мерзость его существа.

Филипп-Огюст рассказывал:

— Ха-ха-ха! И пожил же я после исправительного дома! Забавная была жизнь, за нее хороший романист дорого бы заплатил. Право, даже папаша Дюма не выдумал в своем *Монте-Кристо* таких занятных штучек, какие бывали со мной.

Он помолчал с философической важностью пьяного человека, предающегося раздумью, и медленно продолжал:

— Кто хочет, чтобы парень вел себя хорошо, тот никогда, ни за какие проступки не должен отправлять его в исправительный дом, потому что там он заводит компанию. У меня компания подобралась славная, но дело кончилось плохо. Один раз, вечерком, часов в девять, мы болтались с тремя приятелями — все немножко под мухой — на большой дороге около Фолакского брода. И вот вижу я коляску, а в ней все спят — и хозяин и вся семья. Это были мартинонские жители; возвращались домой после обеда. Беру я лошадь под уздцы, веду ее на паром и отпихиваю паром на середину реки. Что-то стукнуло, хозяин проснулся, — ничего не видит, а нахлестывает. Лошадь вскачь и свалилась вместе с повозкой в воду. Все потонули! Приятели меня выдали. Сначала, когда я затеял эту шутку, они только

смеялись. Мы, правда, не думали, что это так плохо кончится. Хотели только устроить им ванну, посмеяться.

С тех пор я стал шутить круче — хотел отомстить за первое дело: такого наказания я все-таки не заслужил, честное слово. Но не стоит говорить. Я вам расскажу только про последнее, оно вам наверняка понравится. Я за вас отомстил, папаша.

Аббат уже ничего не ел и только глядел на сына полными ужаса глазами.

Филипп-Огюст хотел заговорить снова.

— Нет, — прервал его священник, — погодите, сейчас…

Он повернулся и ударил в гулкий китайский кимвал.

Тотчас вошла Маргарита.

И хозяин приказал таким суровым голосом, что она испуганно и покорно наклонила голову:

— Принеси лампу и все, что еще можешь подать на стол, а потом уходи и не возвращайся, пока я не ударю в гонг.

Она вышла и, вернувшись, поставила на стол белую фарфоровую лампу под зеленым абажуром, большой кусок сыра и фрукты. Затем ушла.

Аббат решительно сказал:

— Теперь я вас слушаю.

Филипп-Огюст спокойно положил себе десерт и налил вина. Вторая бутылка была почти пуста, хотя аббат к ней не прикасался.

Молодой человек говорил запинаясь: он был пьян, и рот у него был полон.

— Вот оно, последнее дело. Ловко было проведено! Я вернулся домой… и остался, хотя они не хотели, потому что они меня боялись… боялись… Э-э, меня не стоит раздражать, я… я способен на все, когда меня раздражают… Знаете… они и жили вместе и не жили. У него было два дома: дом сенатора и дом любовника. Но у мамаши он жил чаще, чем дома, потому что без нее не мог обходиться. О-ох… и тонкая же была штучка мамаша… такая штучка… Вот уж кто умел держать мужчину! Он ей предался телом и душой, и она его не выпускала до самого конца. Глупый это народ — мужчины! Так вот, я вернулся и нагнал на них страху. Я ведь, когда надо, ловкий, знаю всякие номера и приемы… Хватка у меня тоже крепкая, никого не боюсь. Но вот мамаша заболевает, он ее устраивает в прекрасном поместье поблизости от Мёлана… парк там огромный, как лес. Тянулось это года полтора… как я вам говорил. Потом чувствуем мы: скоро конец. Он приезжал из Парижа

каждый день и очень огорчался, по-настоящему.

Так вот, однажды утром рассуждали они битый час, и я все думал, о чем это они могут так долго болтать. Как вдруг меня зовут, и мамаша говорит мне:

«Я скоро умру и хочу тебе кое-что сказать, хотя граф думает, что это не нужно. — Она всегда его называла «граф». — Я хочу открыть тебе имя твоего отца; он еще жив».

Сто раз я спрашивал у нее… сто раз… имя моего отца… сто раз… И она никогда не хотела сказать… Кажется, один раз я даже по щекам ей надавал, чтобы она назвала, но ничего не вышло. А потом она, чтобы отделаться, объявила мне, что вы умерли без гроша в кармане, что вы ничем особенным и не были — так, ошибка юности, девичья прихоть. Она все это подвела очень ловко, и я попался: ну, совсем поверил в вашу смерть.

Но тут она мне сказала:

«Имя твоего отца…»

А тот, сидя в кресле, три раза повторил вот так:

«Напрасно, напрасно, напрасно, Розетта».

Тогда мамаша садится в постели. Словно сейчас вижу ее: на щеках красные пятна, глаза горят. Она ведь все-таки очень любила меня. И она говорит ему:

«Тогда сделайте что-нибудь для него, Филипп!»

Его она всегда называла Филиппом, а меня — Огюстом.

Он раскричался, как бешеный:

«Для этого мерзавца? Никогда! Для этого бездельника, для этого арестанта, этого… этого… этого…»

И он нашел для меня такие названия, как будто всю жизнь только их и искал.

Я было рассердился, но мамаша останавливает меня и говорит ему:

«Так вы хотите, чтобы он умер с голоду? Ведь у меня ничего нет!»

А он, не смущаясь, отвечает:

«Розетта, я тридцать лет подряд давал вам по тридцать пять тысяч франков в год: это больше миллиона. Благодаря мне вы жили, как богатая, любимая и, смею сказать, счастливая женщина. Этот негодяй испортил последние годы нашей жизни, я ему ничего не должен, и он от меня ничего не получит. Настаивать бесполезно. Если угодно, назовите того человека. Мне очень жаль, но я умываю руки».

И вот мамаша поворачивается ко мне. А я думаю: «Отлично… вот я и получаю настоящего отца. Если у него водятся денежки, мое дело в

шляпе!»

Она продолжает:

«Твой отец — барон де Вильбуа, теперь аббат Вильбуа; он служит священником в Гаранду, близ Тулона. Я была его любовницей и бросила его для графа».

И вот она мне выкладывает все, кроме того, что она провела вас насчет своей беременности. Ну, женщина, знаете! Она всей правды никогда не скажет…

Он посмеивался, бессознательно выставляя напоказ всю свою низость. Затем выпил еще и все с тем же игривым выражением продолжал:

— Два дня… два дня спустя мамаша умерла. Мы проводили ее гроб до кладбища — он да я… Правда, забавно?.. Он да я… и еще трое слуг… вот и все… Он ревел, как корова… Мы шли рядышком… со стороны подумаешь: папенька и папенькин сынок.

Вернулись мы домой. Двое, с глазу на глаз. Я про себя думаю: «Придется уйти без гроша в кармане». Было у меня ровно пятьдесят франков. Что бы такое придумать, чтобы отомстить?

Он берет меня за руку и говорит:

«Мне надо поговорить с вами».

Я прошел за ним в кабинет. Он садится за стол,

ревет и заплетающимся языком начинает рассказывать, что не хочет быть со мною таким злым, как говорил мамаше, и просит меня не приставать к вам… «Это… это уже дело наше с вами…» Предлагает мне бумажку в тысячу… тысячу… а что мне делать с тысячей франков?.. Мне… мне… такому человеку, как я? Я вижу, что в ящике этих бумажек еще целая куча. Вижу эти бумажки, и хочется мне все крушить. Я протягиваю руку, будто взять то, что он дает, но, вместо того чтобы принять милостыню, вскакиваю, швыряю ее на пол, а его хватаю за горло, да так, что у него глаза полезли на лоб; потом вижу, что он подыхает, я затыкаю ему рот, связываю его, раздеваю, переворачиваю, а потом… Ха-ха-ха! Я неплохо за вас отомстил!..

Филипп-Огюст кашлял, задыхаясь от радости, и в его веселом и хищном оскале аббат Вильбуа узнавал давнюю улыбку той женщины, от которой он потерял голову.

— А потом? — спросил он.

— Потом… ха-ха-ха!.. В камине был яркий огонь… Она умерла в декабре, мамаша… в холода… углей горело много… Беру я кочергу… накалил ее докрасна… и вот начинаю ставить ему кресты на спину. Восемь крестов, десять, сам

не знаю, сколько, потом переворачиваю и делаю то же самое на животе. Шутки? А, папаша? Так когда-то метили каторжников. Он извивался, как угорь… Но я его крепко связал, и кричать он тоже не мог. Потом беру бумажки. Двенадцать, а вместе с моей тринадцать… Не принесло мне счастья это число. И ушел. А слугам велел не тревожить господина графа до обеда, потому что он спит.

Я думал, он смолчит, чтобы не было скандала: ведь он сенатор. Но ошибся. Через четыре дня меня сцапали в одном парижском ресторане. Дали три года тюрьмы. Потому-то я к вам и не пришел раньше.

Он выпил еще и продолжал, запинаясь, еле выговаривая слова:

— А теперь… папаша… папаша кюре!.. Как это забавно, когда папаша у тебя — кюре!.. Ха-ха, вы уж будьте милы с малюткой, очень милы… а то ведь малютка особенный… Он тому… старику… здоровую… право, здоровую… устроил…

Тот самый гнев, который когда-то отнял разум у аббата Вильбуа, узнавшего об измене любовницы, бушевал в нем сейчас при виде этого ужасного человека.

Он, столько раз прощавший именем бога грязные прегрешения, передаваемые шепотом в

полумраке исповедален, — он чувствовал себя теперь безжалостным и беспощадным во имя самого себя и уже не взывал к помощи доброго и милосердного бога, ибо понимал, что никакой небесный или земной покров не может спасти на этом свете того, над кем стряслось такое несчастье.

Весь жар его страстного сердца, его могучей крови, притушенный служением церкви, вспыхнул теперь в необоримом негодовании против этого жалкого выродка, который был ему сыном, против этого сходства с ним самим и с матерью — с недостойной матерью, зачавшей его подобным себе, против рока, приковавшего этого негодяя к отцу, как ядро к ноге каторжника.

Он все видел, он все предвидел с внезапной ясностью; этот удар пробудил его от двадцатипятилетнего благочестивого сна и покоя.

Аббат вдруг понял, что надо говорить с гневной силой, иначе не запугаешь, не внушишь ужаса этому злодею, и, стиснув зубы от ярости, он сказал, уже не сознавая, что имеет дело с пьяным:

— Теперь вы рассказали мне все. Слушайте меня. Вы отправитесь отсюда завтра утром. Вы будете жить там, где я вам укажу, и без моего приказа никогда не покинете этого места. Я буду

выплачивать вам пенсию, которой хватит вам на жизнь, но небольшую, потому что денег у меня нет. Если вы ослушаетесь хоть один раз, то всему конец, и вы будете иметь дело со мной…

Как ни отупел Филипп-Огюст от вина, но он понял угрозу, и в нем сразу проснулся преступник. Икая, он злобно пробормотал:

— Ах, папаша, так со мной обходиться не стоит!.. Ты кюре… я тебя держу в руках… Поддашься и ты, как прочие!

Аббат вскочил; старого атлета охватило непобедимое желание сгрести это чудовище, согнуть его, как прут, показать ему, что он должен будет уступить.

Приподняв стол, он двинул им в грудь сыну, крича:

— Эй! Берегись! Берегись… Я никого не боюсь…

Пьяный, теряя равновесие, качался на стуле. Чувствуя, что сейчас упадет, что он во власти священника, он с загоревшимся взглядом протянул руку к одному из двух ножей, валявшихся на скатерти. Аббат Вильбуа увидел это движение и с такой силой толкнул стол, что сын опрокинулся назад и растянулся на полу. Лампа покатилась и погасла.

Несколько мгновений пел во мраке тонкий

звон столкнувшихся бокалов; потом послышалось, будто ползет по полу какое-то мягкое тело. Потом — ничего.

Как только лампа разбилась, на обоих так быстро надвинулась глубокая тьма, что они растерялись, словно случилось что-то ужасное. Пьяница, притиснутый к стене, не шевелился, а священник сидел на стуле, погруженный во мрак, в котором тонул его гнев. Опустившаяся темная завеса приглушила его возбуждение, парализовала яростный порыв души, и на него нахлынули новые мысли, черные и печальные, как эта тьма.

Наступила тишина, тягостная тишина засыпанной могилы, где ничто уже не живет и не дышит. Ни звука не доносилось извне — ни стука дальней телеги, ни собачьего лая, ни хотя бы легкого шороха ветра в ветвях.

Это длилось долго-долго, быть может, целый час. И вдруг зазвенел гонг! Он зазвенел от одного-единственного резкого, сухого и сильного удара, и за этим последовал тяжелый и характерный звук падения тела и перевернутого стула.

Маргарита была начеку и прибежала, но, открыв дверь, попятилась в ужасе перед непроницаемой тьмой. Вся дрожа, с сильно бьющимся сердцем, она тихим и задыхающимся голосом

позвала:

— Господин кюре! Господин кюре!

Никто не отвечал, ничто не шевелилось.

«Боже мой, боже мой, — подумала она, — что они сделали? Что случилось?»

Она не решалась ступить вперед, не решалась пойти за лампой; ее охватило безумное желание спастись, бежать, кричать, но у нее ноги так ослабели, что она чуть не свалилась. Она повторяла:

— Господин кюре, господин кюре, это я, Маргарита!

И вдруг, несмотря на страх, ее охватило инстинктивное желание помочь хозяину, та женская храбрость, которая временами доходит до героизма; душа ее исполнилась смелостью отчаяния, и она побежала на кухню за лампой.

На пороге комнаты она остановилась. Сначала она увидела бродягу, простертого у стены и спящего или казавшегося спящим; потом разбитую лампу; потом, под столом, ноги аббата Вильбуа в черных чулках; должно быть, падая, он и ударился головой о гонг.

Маргарита вся тряслась от ужаса, руки ее дрожали, она повторяла:

— Боже мой, боже мой! Что же это такое?

И подвигаясь вперед маленькими, медлен-

ными шажками, она поскользнулась на чем-то жирном и чуть не упала.

Тогда, нагнувшись, она увидела, что по красному полу растекалась вокруг ее ног, быстро убегая к двери, тоже красная жидкость. Она поняла, что это кровь.

Обезумев, она побежала прочь, бросив лампу, чтобы ничего больше не видеть, и кинулась в сторону деревни. Она спешила, натыкаясь на деревья, неотрывно глядя на далекие огни и громко крича.

Пронзительный звук ее голоса улетал в ночь, словно зловещий крик совы, и беспрерывно повторял:

— Мауфатан… мауфатан… мауфатан!..

Когда Маргарита добралась до первых домов, перепуганные люди окружили ее, но она отбивалась, не отвечая: она совсем потеряла голову.

Наконец поняли, что в усадьбе у кюре случилось несчастье, и кучка народа вооружилась, чтобы бежать ему на помощь.

Розовая дачка в оливковой роще стала невидимой, слившись с глубокой и немой ночью. С тех пор, как единственное освещенное окно погасло — словно закрылся глаз, — дачка утонула во мраке, затерялась во тьме; найти ее мог только

тот, кто родился и вырос в этих местах.

Скоро по земле, между деревьями, к даче побежали огоньки. От них тянулись по выжженной траве длинные желтые блики, под блуждающим светом которых искривленные стволы оливковых деревьев казались порой чудовищами, адскими змеями, сплетенными, извивающимися. Лучи, отбрасываемые вдаль, вдруг вырвали из тьмы что-то смутное и белесое; вскоре низкая квадратная стена домика снова порозовела при свете фонарей. Их несли крестьяне; впереди шли два жандарма с револьверами в руках, полевой сторож, мэр и Маргарита, которую вели под руки, потому что она была почти без сознания.

Перед ужасной, все еще открытой дверью они остановились в нерешительности. Наконец старший жандарм схватил фонарь и вошел первым.

Служанка не солгала. Кровь, теперь уже запекшаяся, покрывала пол, как ковер. Она дотекла до бродяги, замочив ему ноги и руку.

Отец и сын спали: один, с перерезанным горлом, спал вечным сном, другой спал сном пьяницы. Двое жандармов бросились на него, и не успел он еще проснуться, как на нем оказались наручники. Удивленный, отупевший от вина, он протер глаза, когда же увидел труп священника, лицо

его выразило ужас и недоумение.

— Как это он не убежал? — спросил мэр.

— Пьян был здорово, — отвечал старший жандарм.

И все с ним согласились, так как никому не пришло в голову, что аббат Вильбуа, быть может, убил себя сам.

Мушка

Из воспоминаний любителя гребли

Он сказал нам:

— Много я видел забавных вещей и забавных девчонок в те далекие дни, когда мы занимались греблей! Сколько раз мне хотелось написать книжечку под заглавием *На Сене*, рассказать об этой жизни, исполненной силы и беззаботности, веселья и бедности, неистощимой и шумной праздничности, — о жизни, которой я жил с двадцати до тридцати лет.

Я служил, у меня не было ни гроша; теперь я человек с положением и могу выбросить на любой свой минутный каприз крупную сумму. В сердце моем было много скромных и неисполнимых желаний, и они скрашивали мое существование всевозможными фантастическими надеждами. Теперь я, право, не знаю, какая выдумка могла бы поднять меня с кресла, где я дремлю. Как просто, хорошо и трудно было жить так, между конторой в Париже и рекой в Аржантейе! Целых десять лет моей великой, единственной, всепоглощающей страстью была Сена. О, прекрасная, спокойная,

изменчивая и зловонная река, богатая миражами и нечистотами! Мне кажется, я любил ее так сильно потому, что она как бы давала смысл моей жизни. О, прогулки вдоль цветущих берегов, о, мои друзья-лягушки, мечтавшие в прохладе, лежа брюхом на листке кувшинки, о, кокетливые и хрупкие водяные лилии среди высоких тонких трав, внезапно открывавших мне за ивой как бы страничку японского альбома, когда зимородок бежал передо мною, словно голубой огонек! Как я любил все это, любил стихийно, я впитывал в себя окружающее, и чувство глубокой безотчетной радости волной разливалось по моему телу!

Как другие хранят воспоминания о ночах любви, так я храню воспоминания о восходах солнца среди утренних туманов, этих легких блуждающих дымках, мертвенно бледных перед зарею, а при первом луче, скользнувшем на луг, начинающих восхитительно розоветь; я храню воспоминания и о луне, серебрящей трепетную текучую воду таким блеском, от которого расцветали все мечты.

И все это — символ вечной иллюзии — рождалось для меня на поверхности гниющей воды, которая несла к морю все отбросы Парижа.

А как весело жилось с приятелями! Нас было пя-

теро — целая банда теперь солидных людей. Так как все мы были бедны, то обосновались в одной убогой аржантейской харчевне и образовали там своеобразную колонию, занимавшую всего одну комнату, в которой я и провел, бесспорно, самые безумные вечера моей жизни. Мы не заботились ни о чем, кроме развлечений и гребли, так как для всех нас, кроме одного, весло было предметом культа. Помню все те удивительные похождения, невероятные проделки, на какие пускалась наша пятерка шалопаев и каким никто бы теперь не поверил. Нынче уж так не живут, даже на Сене: в современных душах умерла буйная фантазия, от которой у нас захватывало дух.

Все пятеро мы владели одной-единственной лодкой, приобретенной с большим трудом, и мы смеялись в ней так, как больше уж нам не смеяться. Это был большой ялик, тяжеловатый, но прочный, вместительный и удобный. Я не стану описывать вам моих товарищей. Среди них был один маленький, с хитрецой, по прозвищу «Синячок»; был длинный, дикого вида, сероглазый и черноволосый, по прозвищу «Томагавк»; был умный лентяй «Ток», единственный, кто никогда не прикасался к веслам под предлогом, что он непременно перевернет лодку; был худой, элегантный,

выхоленный молодой человек, прозванный «Одноглазым» в честь популярного тогда романа Кладеля, а также и потому, что он носил монокль; был наконец я — меня окрестили *Жозефом Прюнье*. Мы жили в полном согласии и жалели только об одном: что нет у нас девушки-рулевого. Женщина в лодке необходима. Необходима потому, что она заставляет бодрствовать ум и сердце, она оживляет, веселит, развлекает, придает поездке пикантность и наконец украшает лодку своим зонтиком, красным пятном, скользящим по зеленым берегам. Но для нашей единственной в своем роде пятерки не годилась в рулевые девушка обыкновенная. Нам требовалось нечто неожиданное, забавное, готовое на все, — словом, такое, чего почти нельзя было найти. Многих мы перепробовали без успеха: это были не рулевые, а девушки за рулем, глупые любительницы, всегда предпочитавшие пьянящее винцо воде, которая, струясь, несет лодки. С такой мы проводили только один воскресный день и с отвращением давали ей отставку.

Но вот однажды, в субботу вечером, Одноглазый привел к нам маленькое существо, тоненькое, живое, подвижное, шутливое и страшно хитрое той хитростью, которая заменяет ум сорван-

цам мужского и женского пола, выросшим на парижских улицах. Она была некрасива, но мила — какой-то намек на женщину, в котором было всего понемногу, один из тех силуэтов, что набрасывают рисовальщики тремя штрихами карандаша на скатерти в кафе, после обеда, между рюмкой коньяка и папиросой. Иногда такие существа производит и природа.

В первый же вечер она удивила нас и позабавила, но мы так и не могли составить о ней никакого мнения — уж очень много в ней было неожиданного. Попав в эту компанию мужчин, готовых на любые глупости, она очень быстро овладела положением и покорила нас на следующий же день.

Это была отчаянная девушка, родившаяся с рюмкой абсента в желудке, — ее мать, должно быть, выпила во время родов — и в дальнейшем ей так и не удалось протрезвиться, потому что кормилица ее, как она говорила, постоянно подкреплялась тафьей. Бутылки, выстроенные шеренгой на стойке кабачка, она иначе не называла, как «своим святым семейством».

Не знаю, кто из нас окрестил ее «Мушкой», не знаю, почему ей было дано это имя, но оно отлично подошло и осталось за ней. И каждую неделю

наш ялик, названный *Листок наизнанку*, катал по Сене от Аньера до Мэзон-Лаффита пятерых веселых и крепких ребят под управлением живой и взбалмошной особы с цветным бумажным зонтиком; она обращалась с нами как с рабами, обязанными катать ее по воде, а мы очень ее любили.

Мы очень ее любили — во-первых, по множеству разных причин, а во-вторых, по одной-единственной: она была на корме нашей лодки чем-то вроде маленькой говорливой мельницы и без умолку трещала на ветру, пробегавшем по воде. Она, не переставая, стрекотала, производя легкий неумолчный шум, характерный для этих крылатых механизмов, которые вертятся под дуновением ветерка; ни о чем не помышляя, она изрекала самые неожиданные, самые причудливые, самые удивительные вещи. Ум ее, казалось, состоял из каких-то разрозненных частей и напоминал пестрый платок из множества всякого рода разноцветных лоскутков, не сшитых, а лишь кое-как сметанных; в нем сочетались и фантазия волшебной сказки, и галльская живость, и бесстыдство, и бессовестность, и неожиданность, и комизм, а ветра в голове у нее было больше и впечатления сменялись быстрее, чем при полете

на воздушном шаре.

Ей задавали разные вопросы, чтобы вызывать неведомо откуда бравшиеся у нее ответы. Чаще всего ее донимали вопросом:

— Почему тебя зовут Мушкой?

Она находила такие невероятные объяснения, что мы бросали весла от хохота.

Она нравилась нам и как женщина; однажды Ток, который никогда не греб и целый день сидел рядом с нею на скамье у руля, ответил на обычный вопрос «Почему тебя зовут Мушкой?»:

— Потому что она шпанская мушка.

Да, жужжащая, жгущая шпанская мушка; не классическая ядовитая шпанская муха, блестящая, с окрашенной спинкой, а маленькая мушка с рыжими крылышками, начинавшая странно волновать весь экипаж *Листка наизнанку*.

А сколько было нелепых шуток по поводу этого листка, на котором уселась Мушка!

Со времени появления ее в нашей лодке Одноглазый занял среди нас высшее, первенствующее положение, роль солидного женатого человека, среди четырех холостяков. Иногда он выводил нас из себя, злоупотребляя этой привилегией: он целовал Мушку при нас, сажал ее после обеда к себе на колени и позволял себе много других

обидных и раздражающих вольностей.

В спальне они были отделены от нас занавеской.

Но вскоре я заметил, что, по-видимому, и я и мои товарищи-холостяки стали размышлять на одну и ту же тему: «Почему, на основании какого исключительного закона и по какому неприемлемому принципу Мушка, как будто не ведавшая никаких предрассудков, будет верна своему любовнику, когда даже женщины из лучшего общества не бывают верны своим мужьям?»

Размышления наши были правильны. Скоро мы в этом убедились. Следовало только сделать это пораньше, чтобы не жалеть потом о потерянном времени. Мушка стала изменять Одноглазому со всем экипажем *Листка наизнанку*.

Изменяла она легко, без сопротивления, по первой же просьбе каждого из нас.

Боже мой, в какое негодование придут целомудренные господа! А почему? У какой модной куртизанки нет дюжины любовников? И кто из этих любовников так глуп, чтобы этого не знать? Разве не принято проводить вечер у знаменитой и дорогостоящей женщины, как проводят вечер в Опере, в Комеди Франсэз или в Одеоне, с тех пор, как там дают полуклассиков? Люди объ-

единяются по десять человек, чтобы содержать одну кокотку, еле успевающую распределять свое время, как объединяются по десять человек, чтобы купить скаковую лошадь, на которой ездит только жокей — подлинный образ избранника сердца.

С субботнего вечера до понедельника утром Мушку из деликатности предоставляли Одноглазому. Дни гре́бли оставались за ним. Мы обманывали его только на неделе, в Париже, вдали от Сены, что́ для таких любителей гребного спорта, как мы, почти что и не было обманом.

Положение было тем забавнее, что все четыре похитителя милостей Мушки прекрасно знали о таком разделе, говорили о нем между собой и даже с ней замаскированными намеками, которые очень ее смешили. Только Одноглазый, казалось, ничего не подозревал, и это особое положение порождало между ним и нами какую-то неловкость, словно отдаляло, изолировало его, воздвигало какую-то преграду, нарушавшую наше былое доверие, былую близость. В результате он попал в трудную и несколько смешную роль обманутого любовника, почти мужа.

Он был неглуп и обладал особым даром высмеивать людей исподтишка, так что мы иной раз

с некоторым беспокойством спрашивали друг друга, не догадывается ли он.

Он позаботился вывести нас из неизвестности, и притом не слишком приятным для нас способом. Мы ехали завтракать в Буживаль и гребли изо всей мочи, когда Ток — у него был в этот день победоносный вид удовлетворенного мужчины, и он, сидя рядом с девушкой, прижимался к ней, на наш взгляд, слишком уж развязно — остановил гребцов выкриком «Стоп!»

Восемь весел повисли в воздухе.

Тогда он повернулся к соседке и спросил:

— Почему тебя зовут Мушкой?

Она не успела ответить, как Одноглазый, сидевший впереди, сухо произнес:

— Потому, что она садится на всякую дрянь.

Сначала наступило долгое, смущенное молчание, а потом нас начал разбирать смех. Даже Мушка оторопела.

Тогда Ток скомандовал:

— Вперед!

И лодка двинулась в путь.

Инцидент был исчерпан, отношения выяснены.

Это маленькое приключение ничего не изменило в наших привычках. Оно только восстановило

сердечность между нами и Одноглазым. Он вновь стал почетным обладателем Мушки с субботнего вечера до понедельника утром, так как его превосходство над нами было твердо установлено удачным ответом, кстати сказать, заключившим эру вопросов насчет слова «Мушка». Мы же довольствовались второстепенной ролью благодарных и внимательных друзей, скромно пользуясь будничными днями и не заводя между собой никаких раздоров.

Месяца три все шло отлично. Но вдруг Мушка стала вести себя с нами как-то странно. Она перестала веселиться, как бывало раньше, стала нервничать, волноваться и даже раздражалась. Мы то и дело спрашивали ее:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего. Оставьте меня в покое.

В один из субботних вечеров Одноглазый открыл нам, в чем дело. Мы только что уселись за стол в маленькой столовой, которая была раз навсегда отведена нам трактирщиком Барбишоном в его харчевне, и, покончив с супом, ждали жаркого, когда наш друг, казавшийся озабоченным, сначала взял Мушку за руку, а затем обратился к нам.

— Дорогие мои друзья, — сказал он, — я должен сделать вам серьезнейшее сообщение, которое, быть может, вызовет долгие споры. Впрочем, между блюдами у нас будет время поговорить. Наша бедная Мушка объявила мне катастрофическую новость и одновременно поручила поделиться ею с вами. Она беременна. Прибавлю лишь несколько слов: сейчас не время покидать ее, а разыскивать отца воспрещается…

Сначала все оцепенели, почувствовав, что случилось непоправимое несчастье. Мы только поглядывали друг на друга с желанием свалить вину на кого-нибудь одного. Но на кого? Да, на кого же? Никогда не чувствовал я с такой очевидностью, как в тот миг, коварства жестокой комедии, которую разыгрывает природа, никогда не дающая мужчине возможности знать наверняка, он ли отец своего ребенка.

Затем мало-помалу к нам снизошло, нас укрепило нечто вроде утешения, родившегося из смутного чувства солидарности.

Неразговорчивый Томагавк сформулировал это начавшееся прояснение следующими словами:

— Ну что ж, делать нечего, в единении сила!

Поваренок принес пескарей. На них не набросились, как всегда, потому что мы все-таки были

смущены.

Одноглазый снова заговорил:

— Мушка имела деликатность признаться мне во всем. Друзья мои, все мы виноваты одинаково. Подадим друг другу руки и усыновим ребенка.

Решение было принято единодушно. Мы протянули руки к блюду с жареной рыбой и поклялись:

— Усыновляем!

И Мушка, сразу воспрянувшая духом, избавленная от страшной тревоги, целый месяц мучившей эту милую, взбалмошную и жалкую служительницу любви, воскликнула:

— О друзья мои! Друзья мои! Какие вы хорошие… хорошие… хорошие ребята!.. Спасибо вам всем!

И она впервые расплакалась при нас.

С тех пор в нашем ялике говорили о ребенке так, словно он уже родился, и каждый из нас, преувеличенно подчеркивая свое участие, настойчиво интересовался медленным, но неуклонным округлением стана нашего рулевого.

Мы поднимали весла и спрашивали:

— Мушка?

Она отвечала:

— Здесь.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

— Кем он у тебя будет?

И тут она давала своему воображению самый фантастический простор. Велись нескончаемые рассказы, изобретались поразительные выдумки, начиная с рождения ребенка и до окончательного его триумфа. В наивных, страстных и нежных мечтах этой необыкновенной маленькой женщины, целомудренно жившей теперь среди нас пятерых и называвшей нас своими «пятью папашами», этот ребенок был всем. Она мечтала и видела его то моряком, открывающим новый континент, больше Америки; то генералом, возвращающим Франции Эльзас и Лотарингию; то императором, основателем династии мудрых и великодушных повелителей, которые принесут нашей родине вечное счастье; то ученым, открывающим сначала секрет производства золота, а затем секрет вечной жизни; то воздухоплавателем, изобретающим способ подниматься к звездам и превращающим бесконечное небо в безграничные просторы для прогулок, — словом, он был воплощением всех самых неожиданных и самых великолепных грез.

Боже мой, как мила и забавна была эта бедная

крошка до конца лета!

Мечты ее разбились двадцатого сентября. Мы возвращались после завтрака из Мэзон-Лафита и плыли мимо Сен-Жермена, когда Мушка захотела пить и попросила нас причалить в Пэке.

С некоторого времени она отяжелела и очень на это досадовала. Она уже не могла ни прыгать, как раньше, ни выскакивать, по своему обыкновению, из лодки на берег. Она все же пробовала это делать, несмотря на наши крики и попытки удержать ее, и, не успевай мы ее подхватывать, она бы уже двадцать раз упала.

В тот день она имела неосторожность выскочить из лодки еще до остановки — это была одна из тех смелых выходок, от которых часто гибнут заболевшие или усталые спортсмены.

В тот самый момент, когда мы подходили к берегу и когда никто не мог ни предвидеть, ни предупредить ее движение, она вдруг вскочила и ринулась вперед, чтобы выпрыгнуть на пристань.

Слишком слабая, она достала до набережной лишь кончиком носка, поскользнулась, ударилась животом об ее острый каменный угол, громко вскрикнула и исчезла под водой.

В ту же секунду мы впятером бросились в реку

и вытащили несчастную, обессилевшую крошку, бледную как смерть и уже страдающую от жестоких болей.

Пришлось как можно скорее отнести ее в ближайший трактир и вызвать туда врача.

Боли длились десять часов, и она переносила ужасные муки с героической твердостью. Мы были в отчаянии, мы дрожали от тревоги и страха.

Она разрешилась мертвым ребенком, и еще несколько дней серьезно опасались за ее жизнь.

Наконец, однажды утром, доктор сказал нам:

— Думаю, что она спасена. Железный организм у этой девчонки.

И все мы, сияя, вошли к ней в комнату.

Одноглазый заявил от лица всех:

— Опасности больше нет, Мушенька, мы ужасно рады.

Тогда она второй раз в жизни расплакалась при нас; глаза ее покрылись стеклянной пленкой слез, и она проговорила:

— О, если бы вы знали, если бы вы знали… Какое горе… какое горе! Никогда я не утешусь!

— Да в чем же, Мушенька?

— Я его убила. Ведь я убила его! О, я не хотела! Какое горе…

Она рыдала. Мы стояли кругом, растроганные,

не зная, что сказать ей.

Она заговорила снова:

— А вы его видели?

Мы отвечали в один голос:

— Видели.

— Это был мальчик, правда?

— Мальчик.

— Красивый, правда?

Мы долго колебались. Наконец Синячок, самый бессовестный из нас, решился подтвердить:

— Очень красивый!

Он дал маху, потому что она расплакалась, почти завыла от отчаяния.

Одноглазый, быть может, любивший ее больше, чем кто-либо из нас, придумал гениальное утешение. Целуя ее потускневшие от слез глаза, он сказал:

— Не плачь, Мушенька, не плачь, мы тебе сделаем другого.

В ней пробудилось внезапно чувство юмора, которым она была пропитана до мозга костей, и, еще заплаканная, с болью в сердце, она оглядела нас всех и полуубежденно, полунасмешливо спросила:

— Верно?

И мы хором ответили:

— Верно!

Утопленник

I

Историю тетушки Патен знали в Фекане все и каждый. Не была она счастлива со своим мужем, тетушка Патен, что и говорить! Ведь муж при жизни колотил ее, как сноп на току.

Он был хозяином рыболовного судна и в свое время женился на ней только из-за ее красоты, хотя была она бедная.

Хороший моряк, но малый грубый, Патен частенько посещал кабачок папаши Обана, где в обычные дни выпивал четыре-пять стаканчиков крепкой водки, когда же выпадала удачная ловля, то и восемь, десять и даже больше, «смотря по сердечному расположению», как он выражался.

Водку посетителям подавала дочка папаши Обана, хорошенькая брюнетка, привлекавшая посетителей только своим приятным личиком; никаких сплетен о ней не знали.

Входя в кабачок, Патен бывал доволен, что может глядеть на нее, и заводил с нею вежливый, спокойный разговор, как порядочный парень. После первого стаканчика она начинала казаться

ему еще красивее; после второго он подмигивал ей; после третьего говорил: «Ежели бы вы только захотели, мамзель Дезире…», — но никогда не кончал этой фразы; после четвертого пытался удержать ее за юбку и обнять; а когда он доходил до десяти, то все следующие стаканчики подавал уже сам папаша Обан.

Старый кабатчик знал, где раки зимуют, и для оживления торговли нарочно заставлял Дезире ходить между столиками, а Дезире, которая недаром была дочерью папаши Обана, вертела юбкой, угощая пьяниц и перекидывалась с ними шутками, лукаво улыбаясь.

Патен до тех пор пропускал стаканчики, пока личико Дезире не приглянулось ему, да так, что он стал думать о девушке даже во время рыбной ловли, закидывая сети в открытом море, в бурные и в спокойные, в лунные и в темные ночи. Он думал о ней, стоя за рулем на корме своего судна, а четыре его товарища дремали меж тем, положив голову на руки. Он все время видел, как она улыбается ему, как наливает желтую водку, как поводит при этом плечиком и потом отходит со словами:

— Получайте! Теперь вы довольны?

Она жила перед его глазами, в его сердце,

и в конце концов ему так захотелось на ней жениться, что он не мог удержаться и сделал предложение.

Он был богат, имел собственное судно, сети и дом у подножия холма, на Ретеню, а у папаши Обана не было ничего. Поэтому предложение было принято с вострргом, и свадьбу справили как можно скорее, причем обе стороны торопились кончить дело, хотя и из совершенно различных побуждений.

Но через три дня после женитьбы Патен уже не понимал, как мог он думать, что Дезире чем-то отличается от прочих женщин. В самом деле, с ума надо было сойти, чтобы связаться с этой нищенкой! Не иначе как она приворожила его своей водкой — конечно, водкой! — подсыпала ему туда какого-нибудь зелья!

И он ругался на все побережье, перегрызал чубук своей трубки, раздавал пинки матросам; облаяв все на свете, перебрав все известные ему ругательства, он изрыгал остатки неизрасходованной злости на рыб и омаров; он вытаскивал их из сетей и укладывал в корзины, не иначе как со всяческими оскорбительными и грязными словами.

А когда он возвращался домой и видел перед

собою жену, дочь папаши Обана, он немедленно начинал орать на нее, как на последнюю из последних. И так как она покорно выслушивала его, привыкнув дома к вспышкам родительского гнева, то он выходил из себя от ее спокойствия. Однажды вечером он дал ей затрещину. С этого момента семейная жизнь стала для нее невыносима.

Целых десять лет на Ретеню только и разговоров было, что о том, как Патен колотит жену и как ругается с нею по всякому поводу. И в самом деле, ругался он мастерски: по богатству словаря и зычности голоса с ним не мог сравниться ни один человек в Фекане. Когда его лодка, возвращаясь с рыбной ловли, появлялась у входа в гавань, все ждали первого залпа ругани, который полетит с палубы на мол, как только Патен увидит белый чепчик своей подруги.

Стоя на корме и управляя судном, он глядел на нос и на парус, но даже при бурном море, несмотря на трудный узкий фарватер, несмотря на огромные валы, которые, вздымаясь с самого дна морского, врывались в тесный проход, он все же высматривал в толпе женщин, обрызгиваемых пеной и поджидающих моряков, ее, свою жену, дочь папаши Обана, нищую шваль!

Едва завидев ее, он посылал ей сквозь шум прибоя и ветра первое ругательство, да с такой силой, что на берегу все начинали хохотать, хотя и жалели женщину. Затем, когда судно подходило к пристани, Патен, выгружая рыбу, в то же время «выбрасывал за борт балласт вежливости», по его выражению, и вокруг его якорей собирались все озорники и бездельники гавани.

Брань слетала с его губ то картечью, короткой и устрашающей, то долго гремевшими раскатами грома, то таким ураганом крепких словечек, что казалось, в легких Патена были собраны все грозы предвечного отца.

Потом, сойдя на берег и очутившись лицом к лицу с женою посреди толпы селедочниц и просто любопытных, он выуживал из своего запаса новый груз брани и грубостей и так провожал жену до самого дома; она шла впереди, он за нею; она плакала, он орал.

Оставшись с ней вдвоем за закрытой дверью, он по малейшему поводу начинал драться. Для первого удара достаточно было пустяка, а стоило начать, уже и удержу не было, и вдобавок он выкладывал ей истинные причины своей ненависти. При каждой пощечине, при каждом тумаке он вопил:

— Ах ты, рвань! Ах ты, босячка! Ах ты, побирушка! Ловко же я попался в тот день, когда попробовал поганое зелье этого мошенника, твоего отца!

Бедняжка жила теперь в состоянии непрерывного ужаса, сердце у нее сжималось, и она постоянно дрожала, со страхом ожидая оскорблений и побоев…

Так тянулось десять лет. Она была до того запугана, что бледнела, когда кто-нибудь заговаривал с нею, не думала ни о чем, кроме грозящих ей побоев, и стала худее, желтее и суше копченой рыбы.

II

Однажды ночью, когда муж был в море, она внезапно проснулась от звериного рева бури, налетающей иногда мгновенно, как спущенная с цепи собака. Женщина в страхе села на кровати; затем, не слыша больше ничего, легла снова; но почти тотчас же в очаге так завыло, что задрожал весь дом, и звук этот разнесся по всему небу, словно по нему с пыхтением и ревом мчалось взбесившееся стадо.

Она вскочила и побежала к гавани. Со всех сторон туда спешили женщины с фонарями.

Собирались и мужчины; все вглядывались в темноту, в море, где на гребнях волн вспыхивала пена. Буря продолжалась пятнадцать часов. Одиннадцать матросов не вернулись домой, и в числе их Патен.

Обломки его судна *Юная Амелия* были найдены недалеко от Дьеппа. Трупы матросов подобрали близ Сен-Валери, но его тело не нашли. Судно оказалось перебитым пополам, и потому жена Патена долго ждала и боялась возвращения мужа: ведь если произошло столкновение судов, то могло статься, что Патена подобрали одного и завезли куда-нибудь далеко.

Затем мало-помалу она привыкла считать себя вдовой, хотя и вздрагивала каждый раз, когда кто-нибудь — соседка, нищий или разносчик — неожиданно входил к ней.

Однажды, перед вечером, года четыре после того, как пропал ее муж, она шла по Европейской улице и остановилась около дома, принадлежавшего одному старому, недавно умершему капитану: распродавалось имущество покойного.

Как раз в этот момент оценивали попугая, зеленого попугая с голубой головкой, который недовольно и беспокойно глядел на собравших-

ся.

— Три франка! — выкрикивал оценщик. — Птица говорит, как адвокат! Три франка!

Приятельница тетки Патен подтолкнула ее локтем.

— Надо бы вам купить его, вы ведь богатая, — сказала она. — С ним будет веселее. Такая птица стоит франков тридцать, а то и больше. Вы всегда сможете продать ее за двадцать или двадцать пять!

— Четыре франка! Четыре франка, сударыня! — повторял оценщик. — Служит обедню, читает проповеди не хуже господина кюре! Феномен!.. Чудо!..

Тетка Патен набавила пятьдесят сантимов, получила в маленькой клетке птицу с крючковатым клювом и унесла ее с собой.

Дома попугай успокоился, но когда она открыла проволочную дверцу, чтобы дать ему попить, он так клюнул ее в палец, что выступила кровь.

— Вот дрянь! — сказала тетушка Патен.

Тем не менее она насыпала попугаю конопляного семени, маиса и оставила его в покое; приглаживая перышки, он исподтишка разглядывал новое жилище и новую хозяйку.

На другой день, едва начало светать, тетуш-

ка Патен совершенно ясно услышала громкий, зычный, раскатистый голос, голос Патена, кричавший:

— Да встанешь ты, дрянь этакая, или нет?!

Ужас ее был так велик, что она спрятала голову под одеяло: ведь каждое утро, еще не успев открыть глаза, слышала она, бывало, от своего покойника эти, так хорошо знакомые, слова.

Вся дрожа, она свернулась в клубок, подставляя спину под удары, ожидая их, и, уткнувшись лицом в подушку, зашептала:

— Господи боже, это он! Господи боже, это он! Он вернулся, господи боже мой!

Минуты проходили, но ничто больше не нарушало тишины комнаты. Тетка Патен с трепетом высунула голову в полной уверенности, что муж подстерегает ее, что сейчас посыплются удары.

Но она не увидела ничего, кроме солнечного луча, падающего в окно, и решила:

«Наверное, он спрятался».

Она долго ждала, потом, немного придя в себя, подумала:

«Может быть, мне почудилось? Он ведь не показывается».

Несколько успокоенная, она вновь закрыла глаза; и сейчас же совсем рядом раздался бешеный

голос, громовой голос утопленника, оравший:

— Сто тысяч чертей тебе в глотку! Да встанешь ли ты, стерва!

Она вскочила с кровати, вскочила, тупо повинуясь, как много раз битая женщина, которая помнит все даже теперь, спустя четыре года, и будет помнить всегда, и всегда будет повиноваться этому голосу!

— Я встала, Патен. Что тебе надо?

Но Патен не отвечал.

Она растерянно огляделась кругом, потом стала искать его всюду: в шкафах, в очаге, под кроватью, — но никого не нашла и в конце концов упала на стул, обезумев от мучительной тревоги, в полной уверенности, что здесь, рядом, находится душа Патена, вернувшаяся мучить ее.

Вдруг она вспомнила про чердак, куда можно было подняться снаружи. Он, наверно, спрятался там, чтобы застигнуть ее врасплох. Должно быть, на каком-нибудь берегу он попал в плен к дикарям, долго не мог убежать и теперь вернулся еще злее прежнего.

Сомневаться в этом она не могла: чего стоил один звук его голоса!

Задрав голову к потолку, она спросила:

— Ты наверху, Патен?

Патен не отвечал.

Тогда она вышла наружу и в безумном страхе, сжимавшем сердце, поднялась по лестнице; она открыла слуховое окно, огляделась, но ничего не увидела, вошла внутрь, обыскала все кругом, но никого не нашла.

Она опустилась на связку соломы и заплакала; но в то время, как она рыдала, вся содрогаясь от жгучего, таинственного страха, снизу, из комнаты, до нее донесся голос Патена. Он казался спокойнее, не таким сердитым, и говорил:

— Вот мерзкая погода! Вот ветер! Вот мерзкая погода! Я еще не завтракал, черт подери!

Она крикнула с чердака:

— Я здесь, Патен! Сейчас приготовлю тебе похлебку. Не сердись, я иду!

И бегом спустилась по лестнице.

Внизу никого не было.

Она почувствовала, что изнемогает, словно сама смерть прикоснулась к ней; она хотела бежать к соседям, звать на помощь, но тут голос заорал над самым ее ухом:

— Я еще не завтракал, черт подери!

Попугай исподтишка глядел на нее из клетки круглым и злым глазом.

Она тоже смотрела на него, пораженная.

— Ах, так это ты! — прошептала она.

Он качнул головой и ответил:

— Погоди, погоди, погоди, я тебе покажу, как бездельничать!

Что произошло с ней? Она почувствовала, она решила, что покойник в самом деле вернулся, и скрывается в этой птице, и теперь снова начнет мучить ее, снова, как прежде, будет ругаться целыми днями, будеть есть ее поедом и издеваться над ней, вызывая смех и возмущение соседей. И она вскочила, открыла клетку и схватила попугая, который, защищаясь, раздирал ей кожу клювом и когтями. Но она изо всей силы вцепилась в птицу обеими руками, бросилась на пол, подмяв попугая под себя, и с яростью одержимой раздавила его, превратила в кусок мяса, в маленький дряблый зеленый комочек, который безжизненно повис у нее в руке и уже не шевелился, не говорил больше; тогда, завернув его в тряпку, точно в саван, она вышла из дому, босая, в одной рубашке, пересекла набережную, о которую билось короткими волнами море, и, размахнувшись, швырнула маленький мертвый комок, похожий на пучок травы, в воду; потом она вернулась домой, бросилась на колени перед пустой клеткой и, потрясенная тем, что сделала,

стала, рыдая, молить бога простить ее, словно совершила страшное преступление.

Испытание

I

Примерная это была чета — чета Бонделей, хотя и немного воинственная. Муж и жена часто ссорились по пустякам, но потом снова мирились.

В прошлом Бондель был коммерсантом; скопив достаточно, чтобы жить согласно своим скромным вкусам, он покончил с делами, снял в Сен-Жермене маленький домик и поселился там вместе с женой.

Это был человек спокойный, с определенными, твердо установившимися понятиями. Он получил некоторое образование, читал серьезные журналы и вместе с тем ценил галльское остроумие. Будучи наделен логическим умом и практическим здравым смыслом — главнейшим качеством изворотливого французского буржуа, — он думал мало, но был уверен в правоте своих суждений и никогда ничего не решал, пока не находил доводов, непогрешимость которых подтверждалась бы его природным чутьем.

Он был среднего роста, с легкой проседью, почтенной внешности.

Жена его, обладая прекрасными качествами, не была лишена и некоторых недостатков. При вспыльчивом характере, прямоте в обращении, граничившей с деспотизмом, и непреодолимом упрямстве она была непримирима и злопамятна. Когда-то очень хорошенькая, она потом располнела и стала слишком румяна, но в своем квартале Сен-Жермен все еще считалась очень красивой женщиной, пышущей здоровьем и надменной.

Пререкания почти всегда начинались за завтраком, по какому-нибудь пустячному поводу, и супруги оставались в ссоре до вечера, а иногда и до следующего дня. В их жизни, такой простой, такой однообразной, всякая мелочь становилась серьезным событием и любой предмет разговора служил поводом для препирательств. Этого не случалось прежде, когда у них было дело, которое занимало обоих, объединяло их мысли, сближало и как бы опутывало супругов сетью сотрудничества и общих интересов.

В Сен-Жермене они мало с кем встречались. Надо было заводить новые знакомства, надо было среди чужих людей создавать для себя новую и притом праздную жизнь. Из-за этой монотонности существования супруги стали раздражать друг друга, и спокойное счастье, на которое они

надеялись и которого ждали с такой уверенностью, не приходило.

Однажды утром, в июне месяце, садясь завтракать, Бондель спросил:

— Ты знаешь ту семью, что живет в маленьком красном домике, в конце улицы Берсо?

Г-жа Бондель, очевидно, встала с левой ноги. Она отвечала:

— И да и нет; знаю, да знать не хочу.

— Почему же? Они производят очень приятное впечатление.

— А уж потому...

— Сегодня на террасе я встретил мужа, и мы прошли вместе с ним два круга.

И, почуяв в воздухе опасность, Бондель добавил:

— Он первый подошел ко мне и заговорил.

Жена недовольно взглянула на него и сказала:

— Ты хорошо сделаешь, если впредь будешь избегать таких встреч.

— Это почему?

— Потому что об этих людях ходят сплетни.

— Какие сплетни?

— Какие сплетни! Бог мой! Ну, самые обыкновенные.

Г-н Бондель сделал ошибку — он ответил с

некоторой горячностью:

— Ты прекрасно знаешь, мой друг, что я не выношу сплетен. И стоит мне их услышать про человека, как он тем самым становится мне симпатичен. А что касается этой семьи, то она мне очень нравится.

Она вспылила:

— Может быть, и жена тоже?

— Ну да, и жена, хотя я даже не успел ее разглядеть.

Ссора, становясь все ядовитее, разгоралась вокруг той же темы, так как другой не было.

Г-жа Бондель упорно не желала сказать, какие именно сплетни ходили о соседях; она намекала, что это нечто очень скверное, но пояснить не хотела. Бондель пожимал плечами и подсмеивался, чем еще больше раздражал жену. Кончилось тем, что она закричала:

— Ну, хорошо! Этому самому господину наставили рога! Вот что!

Муж спокойно возразил:

— Не вижу, почему это может уронить достоинство человека.

Она была поражена.

— Как, ты не видишь? Не видишь?.. Ну, это уж слишком!.. Ты не видишь? Да ведь это публичный

скандал. Раз он рогат, значит, он обесчещен!

Он отвечал:

— Ничего подобного! Неужели человек теряет честь, если его обманывают, если его предают, если его обкрадывают?.. Ну, уж нет! Я, пожалуй, соглашусь с тобой, что, изменяя мужу, жена позорит себя, но отнюдь не его…

Она пришла в ярость.

— Измена позорит и мужа и жену! Это — бесчестье для того и другого! Это публичный скандал!

Бондель спросил с полным спокойствием:

— Прежде всего, правда ли это? Кто может это утверждать, если любовники не пойманы на месте преступления?

Г-жа Бондель заерзала на стуле.

— Что? Кто может утверждать? Да решительно все! Все кругом! Такие вещи видны как на ладони. Все это знают, все об этом говорят. Никаких сомнений тут нет. Это ясно как божий день.

Бондель усмехнулся.

— Люди очень долго думали, что Солнце вращается вокруг Земли, и верили множеству подобных басен, которые были не менее известны, но ошибочны. Этот человек просто обожает жену; он говорит о ней с такой нежностью, с таким уважением. Все это вздор!

Г-жа Бондель затопала ногами и прошипела:

— Да ведь он ни о чем не догадывается, этот олух, этот одураченный кретин!

Бондель не злился, он рассуждал:

— Извини, пожалуйста. Этот господин вовсе не глуп. Напротив, он показался мне человеком очень тонким и умным. И ты не убедишь меня, что умный человек может не заметить подобной вещи в своем собственном доме, когда соседи, которые живут в других домах, не упускают ни одной подробности романа. Не правда ли, ведь они, конечно, не упустили ни одной мелочи?

Г-жой Бондель внезапно овладел приступ лихорадочной веселости, раздражающе действовавшей на нервы мужа.

— Ха-ха-ха! Все мужья одинаковы, все, все! Хоть бы один на свете заметил подобную штуку, пока его не ткнешь носом.

Спор отклонился от темы. Теперь перешли к вопросу о слепоте обманутых мужей. Бондель сомневался в ней, а г-жа Бондель настаивала, и ее презрение носило настолько личный характер, что под конец супруг рассердился.

Тогда закипел отчаянный спор: жена стояла на стороне женщин, муж брал под защиту мужчин.

Он имел дерзость заявить:

— Ну, уж если бы ты вздумала меня обмануть, то, клянусь, я бы сразу заметил. И я бы у тебя отбил охоту, да так, что ни один врач не поднял бы тебя на ноги.

Она вспыхнула от ярости и закричала ему прямо в лицо:

— Ты? Ты? Да ты так же глуп, как и прочие! Понял?

Он снова подтвердил:

— Клянусь тебе, что нет.

Она расхохоталась с такой наглостью, что у него забилось сердце и по коже побежали мурашки.

Он сказал в третий раз:

— Уж я бы заметил.

Она встала, продолжая все так же смеяться.

— Нет, это уж слишком! — сказала она.

И вышла из комнаты, хлопнув дверью.

II

Бондель остался один и в очень дурном настроении. Этот дерзкий, вызывающий смех подействовал на него, как укус ядовитой мухи, в первый момент незаметный, а затем вызывающий жгучую боль, которая вскоре становится невыносимой.

Он вышел из дому и зашагал в задумчивости.

Уединенность его теперешней жизни поддерживала в нем печальные мысли и наклонность видеть все в мрачном свете. Вдруг показался сосед, которого он встретил утром. Они обменялись рукопожатием и завели беседу. Перебрав несколько тем, они заговорили о своих женах. Казалось, у обоих накопилось в душе нечто, чем хотелось бы поделиться, какие-то смутные, неопределенные, тягостные мысли по поводу тех существ, которые были соединены с ними на всю жизнь: по поводу жен.

Сосед говорил:

— Право, можно иной раз подумать, что они особенно враждебны к мужьям только потому, что это мужья. Я люблю свою жену. Я очень люблю ее, ценю и уважаю. И что же? Иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринужденнее и относится к ним доверчивее, чем ко мне.

Бондель тотчас подумал: «Так оно и есть. Жена была права».

Расставшись с этим человеком, он погрузился в размышления. Он ощущал в душе какой-то клубок противоречий, какое-то болезненное раздражение, а в ушах его еще слышался этот дерзкий, злорадный смех, в котором звучало:

«Да, и с тобой случалось то же, что и с другими, дурак ты этакий!» Конечно, это была только бравада, наглая бравада женщины, готовой на все и рискующей всем, лишь бы оскорбить, лишь бы унизить рассердившего ее мужчину.

Стало быть, этот бедняга — тоже обманутый муж, как многие другие! Он с грустью сказал: «Иногда она как будто держит себя с нашими друзьями гораздо непринужденнее и относится к ним доверчивее, чем ко мне». Вот так-то муж — тот сентиментальный слепец, которого закон именует мужем, — формулирует замеченное им предпочтение своей жены к другому мужчине. И это все. Больше он ничего не видит. Он такой же, как и прочие… Как и все!..

И Бондель рассмеялся так же странно, как его жена: «Ты тоже… ты тоже!..» Как они сумасбродны и неосторожны, эти женщины, если только из желания подразнить готовы возбудить в вас подобные подозрения!

Он стал перебирать события своей жизни с женой, всех старых знакомых, стараясь припомнить, не вела ли она себя когда-нибудь и с кем-нибудь непринужденнее и доверчивее, чем с ним. Он был всегда так спокоен, так уверен в ней, что никогда никого не подозревал.

Но нет, у нее был один друг, задушевный друг, почти целый год приходивший к ним обедать три раза в неделю, — Танкре, этот милый Танкре, славный Танкре, которого Бондель любил как брата, и с которым продолжал встречаться украдкой с тех пор, как жена рассорилась с этим прекрасным человеком неизвестно из-за чего.

Бондель остановился и задумался, беспокойно вглядываясь в прошлое. Потом в нем поднялось отвращение к самому себе, к этим постыдным мыслям, нашептываемым злым, ревнивым и подозрительным «я», которое живет во всех нас. Он стал ругать, обвинять и стыдить себя, но в то же время вспоминал визиты и поведение этого друга, которого жена сначала так высоко ценила, а потом выгнала без всяких оснований. Но тут внезапно всплыли и другие воспоминания — о таких же разрывах, вызванных мстительным характером г-жи Бондель, которая никогда не прощала обид. И он облегченно рассмеялся над самим собой, над тоской, начинавшей мучить его; а вспомнив злобное выражение лица, с каким супруга выслушивала его, когда он говорил ей, вернувшись вечером домой: «Я встретил сегодня этого милого Танкре, он спрашивал о тебе», — Бондель окончательно успокоился.

Она обычно отвечала: «Если ты еще раз увидишь этого господина, можешь сказать ему, чтобы он обо мне не заботился». О! Как раздраженно, как сердито произносила она эти слова! Чувствовалось, что она не простила, что она никогда не простит… И он мог подозревать хоть одну минуту?.. Боже, как глупо!

А все-таки за что же она так разобиделась? Она никогда не говорила ни о настоящих причинах, вызвавших этот разрыв, ни о том, почему она так долго сердится. А она очень сердится! Страшно сердится! Неужели?.. Но нет… нет!.. И Бондель решил, что, допуская подобные мысли, он себя унижает.

Да, он, несомненно, унижает себя, но он не мог не думать об этом и с ужасом задавал себе вопрос: неужели им навеки завладели эти внезапно возникшие мысли, не завелся ли у него в сердце зародыш постоянного мучения? Он знал себя; он всегда был таким, он пережевывал теперь свои сомнения, как прежде обдумывал свои коммерческие операции, — бесконечно, днем и ночью, взвешивая все за и против.

Он был раздражен и шел все быстрее, теряя свое обычное спокойствие. Перед мыслями человек бессилен. Они неуловимы, их нельзя прогнать,

нельзя убить.

Внезапно ему пришла в голову одна идея, дерзкая, такая дерзкая, что он сначала усомнился, сможет ли осуществить ее.

Всякий раз, как он встречал Танкре, тот спрашивал его о г-же Бондель, на что Бондель отвечал: «Она все еще сердится». И больше ничего. Боже!.. Неужели он сам — тоже ослепленный муж?.. Быть может!..

Итак, он сядет в парижский поезд, отправится к Танкре, уверит его, что непонятный гнев жены утих, и сегодня же вечером привезет его с собой. Да, но какое лицо сделает г-жа Бондель! Какую сцену!.. В какой она будет ярости!.. Какой устроит скандал!.. Ну что ж, так ей и надо… Он отомстит этим за ее смех, а увидев их встречу, для нее совершенно неожиданную, прочтет на лицах обоих отражение истинных чувств.

III

Он сейчас же пошел на станцию, взял билет и сел в вагон, но когда поезд тронулся и стал спускаться по склону Пэка, у него даже голова закружилась от страха перед своей затеей. Чтобы не сдаться, не отступить, не вернуться одному, он силился не думать о том, что затеял, заняться

другими мыслями и выполнить свое намерение со слепой решимостью. До самого Парижа он напевал шансонетки и опереточные арии, чтобы отвлечься.

Как только он увидел знакомую дорогу, которая должна была привести его на улицу, где жил Танкре, ему вдруг захотелось отдалить встречу. Он медленно проходил мимо магазинов, интересовался новыми товарами, замечал цены; он решил выпить пива, что совсем не входило в его привычки, а приближаясь к дому приятеля, ощутил желание не застать его.

Но Танкре был дома один и читал. Он удивился, вскочил и закричал:

— А, Бондель! Как приятно!

Смущенный Бондель отвечал:

— Да, мой друг, у меня были в Париже кой-какие дела, и я забежал повидать вас.

— Это очень, очень мило! Тем более, что вы как будто утратили привычку заходить ко мне.

— Что поделаешь! Человек, знаете ли, невольно поддается влиянию, а так как жена моя, кажется, немного сердилась на вас…

— Черт возьми, «кажется»!.. Она больше чем сердилась, она выставила меня за дверь.

— Но из-за чего? Я так до сих пор и не знаю.

— А, пустяки… глупости… Мы поспорили, я с ней не согласился.

— О чем же вы спорили?

— Об одной даме, вы, может быть, слышали о ней, — госпожа Бутен, одна из моих приятельниц.

— Ах, вот что!.. Ну, отлично… Мне кажется, что жена уже перестала на вас сердиться, нынче утром она говорила о вас в очень дружеских выражениях.

Танкре вздрогнул и, казалось, был так поражен, что несколько секунд не знал, что сказать. Наконец он спросил:

— Говорила обо мне… в дружеских выражениях?

— Да…

— Вы уверены?

— Еще бы!.. Не во сне же я видел.

— А потом?

— А потом… потом, приехав в город, я подумал, что вам, пожалуй, будет приятно узнать об этом.

— Еще бы… еще бы…

Бондель, казалось, колебался, но, помолчав, сказал:

— У меня даже явилась мысль… довольно оригинальная мысль.

— А именно?

— Привезти вас к нам обедать.

При таком предложении осторожный от природы Танкре как будто обеспокоился.

— О!.. Вы думаете? Но возможно ли?.. Не будет ли… не будет ли… неприятностей?

— Да нет же, нет!

— Дело в том, что… вы ведь знаете… госпожа Бондель довольно злопамятна.

— Да, но уверяю вас, она больше не сердится. Я убежден, что ей будет очень приятно увидеть вас так, неожиданно.

— В самом деле?

— О, конечно!

— Ну, что ж! Едем, дорогой! Я прямо в восторге. Видите ли, меня эта ссора очень огорчала.

И они пошли под руку на вокзал Сен-Лазар.

Ехали они молча. Оба, казалось, были поглощены своими мыслями. Они сидели в вагоне один против другого, не говоря ни слова, но каждый видел, что его спутник бледен.

Выйдя на станции, они снова взялись под руку, как бы объединяясь против общей опасности, и после нескольких минут ходьбы, немного запыхавшись, остановились перед домом Бонделей.

Бондель пропустил приятеля вперед, прошел

за ним в гостиную, позвал служанку и спросил:

— Барыня дома?

— Дома, сударь.

— Попросите ее, пожалуйста, немедля спуститься вниз.

— Сейчас, сударь.

Усевшись в кресла, они стали ждать, хотя обоим им только и хотелось убежать отсюда, пока на пороге не появилась грозная особа.

Знакомые шаги, тяжелые шаги застучали по ступенькам лестницы, и мужчины увидели, как поворачивается медная ручка. Дверь распахнулась, и г-жа Бондель остановилась, чтобы осмотреться, прежде чем войти.

Она взглянула, вздрогнула, покраснела, отступила на полшага, потом замерла на месте, держась руками за дверные косяки; щеки ее пылали.

Танкре, который был теперь бледен, словно собираясь упасть в обморок, вскочил, уронив шляпу. Она покатилась по полу.

— Боже мой… сударыня… это я… Я полагал… я осмелился… Мне было так тяжело… — бормотал он.

Она не отвечала, и он продолжал:

— Вы прощаете меня… теперь?

И вдруг она, словно ее что-то толкнуло, подошла к нему, протянув обе руки; и когда Танкре схватил эти руки, сжал их и задержал в своих, она проговорила тихим голосом, взволнованным, срывающимся, замирающим, какого муж у нее не знал:

— Ах, дорогой мой друг!.. Я так рада!

И Бондель, наблюдавший за ними, весь похолодел, словно его окунули в ледяную воду.

Маска

В этот вечер в Элизе-Монмартр был костюмированный бал по случаю ми-карем[9]. Подобно воде, хлынувшей в ворота шлюза, вливалась толпа в ярко освещенный вестибюль, ведущий к танцевальному залу. Потрясающий рев оркестра, гремевшего музыкальной бурей, прорывался сквозь стены и крышу, разносился по кварталу, пробуждая у людей на улицах и даже в соседних домах непреодолимое желание попрыгать, разогреться, позабавиться — то животное желание, которое дремлет в глубине всякого человеческого существа.

Со всех четырех концов Парижа стекались завсегдатаи таких мест — люди всех классов, любители грубоватого, шумного, чувственного веселья, переходящего в разгул. Тут были служащие, сутенеры, продажные женщины — женщины, проводившие ночи на всевозможных простынях, от грубых бумажных до тончайших батистовых, женщины богатые, старые, в

[9] Сноски: 9

Середина «великого поста», четверг на третьей неделе поста, католический праздник.

бриллиантах, и бедные шестнадцатилетние девчонки, которым хотелось веселиться, отдаваться мужчинам, сорить деньгами. В этой возбужденной толпе бродили в погоне за свежим телом элегантные черные фраки, являвшиеся сюда вынюхивать молоденьких девчонок, уже утративших невинность, но еще соблазнительных, тогда как маски, казалось, прежде всего жаждали веселья. Знаменитые плясуны своими антраша уже собрали вокруг себя плотное кольцо зрителей. Волнообразная стена, движущаяся масса мужчин и женщин, окружала четырех танцоров, оплетая их подобно змее, и то сжималась, то раздвигалась вслед за движениями этих искусников. Две женщины, бедра которых как будто соединялись с туловищем резиновыми шарнирами, выделывали ногами умопомрачительные па. Их ноги взлетали кверху с такой силой, что казалось, уносились за облака, потом вдруг раздвигались во всю ширину, до самого живота. Скользя одной ногой вперед, другой назад, женщины чуть не садились на пол в быстром и сильном размахе, отвратительном и забавном.

Кавалеры их подпрыгивали, «стригли» ногами и раскачивались, взмахивая приподнятыми локтями, точно обрубками ощипанных крыльев, и

чувствовалось, что они задыхаются под своими масками.

Один из них, заменявший в самой блестящей кадрили отсутствующую знаменитость — красивого парня по прозвищу «Мечта девчонки», — всячески старался не отставать от неутомимого «Телячьего ребра», и его уморительные соло вызывали в публике презрительный смех.

Это был щуплый, фатовато одетый человек, в красивой лакированной маске с закрученными белокурыми усами и в завитом парике.

Он напоминал восковую фигуру из музея Гревен — странную, фантастическую карикатуру на красивого щеголя с модной картинки, и танцевал старательно, неловко и со смешным увлечением. Рядом со своими партнерами, силясь подражать их коленцам, он казался каким-то заржавленным, неповоротливым, неуклюжим, как моська, играющая с борзыми. Насмешливые «браво» подбодряли его. И, опьянев от усердия, он выплясывал с таким неистовством, что вдруг, не удержавшись при отчаянном прыжке, ударился головой в живую стену публики. Толпа отпрянула, а затем сомкнулась вокруг неподвижно распростертого тела бесчувственного танцора.

Мужчины подняли его и унесли. Закричали:

«Доктора!» Подошел молодой элегантный господин в черном фраке, с большими жемчужными запонками на бальной сорочке. «Я профессор медицины», — скромно сказал он. Его пропустили, и он очутился в маленькой комнатке, заваленной папками, словно контора; здесь лежал на стульях злополучный танцор, все еще без сознания. Доктор хотел прежде всего снять с него маску, но увидел, что она была искусно прикреплена множеством тонких проволочек, ловко соединявших ее с краями парика, и закрывала всю голову как бы плотной повязкой, которую нельзя было снять, не зная секрета. Шея от самого подбородка была прикрыта фальшивой кожей — телесного цвета лайкой, уходившей под ворот сорочки.

Пришлось разрезать все это ножницами. Когда же доктор распорол удивительное сооружение от плеча до виска и приоткрыл эту скорлупу, под ней оказалось изможденное, морщинистое, худое и бледное лицо старика. Это произвело такое впечатление, что никто из тех, кто принес сюда молодую, кудрявую маску, не засмеялся и не промолвил ни слова.

Люди глядели на грустное лицо с закрытыми глазами, на седые волосы, падающие со лба, на грязновато-белую щетину, вылезавшую на щеках

и подбородке; а рядом с этой жалкой головой лежала хорошенькая лакированная маска, свеженькая маска, с улыбкой на губах.

После довольно длительного обморока старик очнулся, но казался таким больным, таким слабым, что врач ожидал серьезных осложнений.

— Где вы живете? — спросил он.

Старый танцор долго молчал, напрягая память, потом вспомнил и назвал улицу, которой никто не знал. Пришлось спросить у него, в какой это части города. Он давал объяснения с бесконечным трудом, медленно и нерешительно, и было ясно, что сознание его еще затуманено.

Врач сказал:

— Я сам провожу вас.

Ему было любопытно узнать, кто этот странный плясун, увидеть, где ютится этот необычайный любитель прыжков.

Вскоре фиакр увез их обоих за Монмартрский холм. Он остановился перед высоким домом убогого вида, со скользкой лестницей, одним из тех вечно недоделанных, усеянных окошками домов, которые торчат между двумя пустырями, перед одною из тех грязных трущоб, где ютится скопище жалких, отверженных существ.

Цепляясь за перила — вертящийся деревянный

брус, к которому прилипали руки, — врач втащил на пятый этаж легкомысленного старика, понемногу приходившего в себя.

Дверь, в которую они постучали, открылась, и на пороге появилась женщина, тоже старая, очень опрятная, в белом ночном чепце, обрамлявшем костлявое лицо с резкими чертами, — доброе, грубоватое лицо трудолюбивой, преданной жены рабочего.

Она вскрикнула:

— Боже мой! Что это с ним?

Когда врач в нескольких словах рассказал ей, что произошло, она успокоилась и даже успокоила его самого, сказав, что такие случаи бывали уже не раз.

— Его нужно уложить, сударь, только и всего. Он выспится, и завтра все пройдет.

Доктор возразил:

— Но ведь он еле говорит.

— О! Это пустяки, это от вина. Он сегодня не обедал, чтобы быть подвижней, а потом выпил для бодрости два стаканчика абсента. Абсент, знаете ли, развязывает ему ноги, но туманит голову и отнимает язык. Такие пляски ему не по годам. Я совсем уже потеряла надежду, что он когда-нибудь образумится.

Врач удивился еще больше.

— Но зачем же он, старик, этак выплясывает?

Старуха пожала плечами и покраснела от закипавшего гнева.

— Вот именно! Да затем, видите ли, чтобы его принимали под этой маской за молоденького, чтобы женщины считали его еще мальчишкой и нашептывали ему всякие пакости; для того, чтобы можно было вертеться среди них, тереться об их грязную кожу со всеми их духами, пудрами и помадами… Тьфу ты, пакость какая! Нечего сказать, веселенькую жизнь прожила я с ним, сударь, за сорок лет… Но все-таки надо его уложить, а то, пожалуй, свалится. Вам не трудно помочь мне? Когда он в таком виде, я одна с ним не справляюсь.

Старик сидел на кровати, словно пьяный, и длинные седые волосы свисали ему на глаза.

Посмотрев на него нежно и сердито, жена продолжала:

— Взгляните, ведь он еще красив для своих лет. А вот поди, рядится шутом гороховым, чтобы казаться молоденьким! Жалость одна! А ведь правда, сударь, он красив? Подождите-ка, я сначала покажу его вам, а уж потом уложим.

Старуха пошла к столику, где около таза и кув-

шина с водой лежали мыло, гребенка и щетка. Она взяла щетку, вернулась к кровати и, приподняв спутанные космы гуляки, в несколько секунд убрала его, как картинку; волосы его спустились на шею крупными волнами. Затем она слегка отступила, любуясь:

— А ведь правда, он еще хорош для своего возраста?

— Очень хорош, — подтвердил доктор, которого все это начинало забавлять.

И продолжала:

— Если бы вы его видели, когда ему было двадцать пять лет! Но я прежде его уложу, а то абсент вывернет ему все нутро. Помогите-ка, сударь, стащить рукав… повыше… вот так. Хорошо… Теперь брюки… Погодите, я вперед сниму ботинки. Отлично! Теперь поддержите его, пока я открою постель… так… давайте укладывать… Если вы думаете, что он теперь подвинется, чтобы освободить мне местечко, то ошибаетесь. Мне придется прикорнуть где попало. Ему это все равно. Эх ты, повеса!

Почувствовав, что он у себя в постели, старичок закрыл глаза, приоткрыл их, снова закрыл, и на лице его появилось выражение довольства и твердой решимости заснуть.

Доктор наблюдал за ним со все возрастающим интересом. Он спросил:

— Значит, он изображает молодого человека на маскарадах?

— Ни одного не пропустит, сударь. А утром возвращается в таком виде, что и вообразить невозможно. И знаете, ведь это тоска гонит его и заставляет надевать картонное лицо на свое собственное. Да, тоска о том, что он уже не такой, как был, что он больше не имеет успеха!

Старик заснул и начал храпеть. Старушка жалостливо посмотрела на него и продолжала:

— А каким успехом он пользовался когда-то! Трудно поверить, сударь! Ни с какими светскими щеголями не сравнить, ни с какими тенорами и генералами.

— В самом деле? Чем же он занимался?

— Вас это удивляет, потому что вы не видали его в лучшие времена. Я встретилась с ним впервые тоже на балу — он всегда бывал там. Как увидела, так и пропала. Поймалась, как рыба на крючок. Так он был красив, сударь, так красив, что можно было заплакать, глядя на него! Волосы как вороново крыло, кудрявые; глаза черные, большие, как окошки. О да, настоящий был красавец! Он увез меня с собой в тот же вечер, и больше я с ним

не расставалась ни на один день, несмотря ни на что. А сколько горя я с ним натерпелась!

Доктор спросил:

— Вы женаты?

— Да, сударь, — просто отвечала она, — если бы не это, он бы меня бросил, как всех других… Я была ему и женой, и нянькой, и всем, чем ему только было угодно… И сколько я от него плакала… да слез не показывала!.. Ведь он мне выкладывал все свои похождения — мне, мне, сударь!.. Он не понимал, как мне больно его слушать…

— Но чем же он все-таки занимался?

— Правда, правда… я и позабыла. Он был первым мастером у Мартеля, да не просто первым мастером, а таким, каких больше никогда и не бывало… Художник своего дела… В среднем по десяти франков за час…

— Мартель?.. Кто это — Мартель?

— Парикмахер, сударь, знаменитый парикмахер Оперы. Все актрисы у него причесывались. Да, мой Амбруаз причесывал всех самых шикарных актрис и получал такие чаевые, что сколотил состояние. Ах, сударь, все женщины одинаковы, все без исключения. Когда мужчина им нравится, они сами себя предлагают. Это им ничего не стоит… а как тяжело узнавать об этом… Ведь

он рассказывал мне все, он не мог удержаться… нет, не мог. Такие вещи приятны мужчине. И рассказывать о них, может быть, еще приятнее, чем переживать.

Когда он возвращался вечером, чуть бледный, довольный собой, с блестящими глазами, я думала: «Еще одна! Уверена, что он подцепил еще одну». Тогда мной овладевало, прямо-таки жгло мне сердце желание расспросить его. Правда, и другое было желание — ничего не знать, не дать ему говорить, если он начнет. И вот мы глядели друг на друга.

Я прекрасно знала, что он не будет молчать, что он все выложит. Я чувствовала это по его лицу, по смеху, которым он будто говорил: «Мадлена, у меня сегодня была недурненькая». Я притворялась, будто ничего не вижу, ни о чем не догадываюсь, накрывала на стол, приносила суп, садилась напротив него.

В такие вечера, сударь, как будто кто-то топтал мою любовь к нему. Больно это, знаете, тяжело! Но он не догадывался, он не знал. Ему нужно было излиться кому-нибудь, похвастаться, показать, как его любят… и не с кем было поговорить, кроме меня, понимаете, меня… И вот… приходилось слушать его, как отраву пить.

Он принимался за суп и говорил:

«Мадлена, еще одна».

А я думала: «Так и есть! Боже, что это за человек! И надо же было мне встретиться с ним!»

Он продолжал: «Еще одна, да еще какая штучка!» Это оказывалась крошка из Водевиля или крошка из Варьете, а иногда и крупная актриса, из самых известных театральных дам. Он говорил мне, как их зовут, описывал обстановку, рассказывал все, все… да, все, сударь!.. Так подробно, что у меня сердце разрывалось. И он повторял, снова рассказывал все от начала до конца и так был доволен, что я притворялась веселой, чтобы он не рассердился.

Может быть, тут и не все было правдой. Он так любил хвалиться, что, пожалуй, и выдумывал… А может быть, и правда! В такие вечера он делал вид, что устал, что ему хочется прилечь после ужина. Ужинали мы в одиннадцать, сударь: раньше он никогда домой не приходил, потому что надо было делать вечерние прически.

Рассказав о своем приключении, он закуривал папиросу и принимался ходить по комнате. И до того он был красив со своими усами и кудрями, что я думала: «Все это правда, все так и было, как он говорит. Ведь если я с ума схожу по нем,

почему же и другим в него не влюбляться?» Ах, мне хотелось плакать, кричать, бежать, выброситься в окошко. Но я убирала со стола, а он все курил. И зевал во весь рот, чтобы показать мне, как он утомлен, а собираясь лечь, раза два или три говорил: «И посплю же я эту ночку!»

Я не сержусь на него: он ведь не знал, как меня мучил. Да и не мог знать! Он любил хвастаться женщинами, распускать хвост, как павлин. И в конце концов он уверился, что все женщины смотрят на него и хотят его.

Тяжело стало, когда он начал стареть.

Ах, сударь, когда я заметила у него первый седой волос, то чуть не задохнулась от волнения, а потом — от радости; злая была радость, но я радовалась, радовалась! Я думала: «Конец… конец!» Мне казалось, будто меня из тюрьмы выпустили. Значит, теперь он будет принадлежать только мне одной, другие больше не захотят его!

Это было утром, в постели. Он еще спал. Я наклонилась к нему, чтобы разбудить поцелуем, и вдруг заметила, у него в локоне на виске тонкую нить, блестящую, как серебро. Вот неожиданность! Я и не думала, что это возможно! Сначала я решила вырвать волос, чтобы он сам не заметил… он! Потом, присмотревшись, вижу: повыше

другой. Седые волосы! Он седеет! Сердце у меня забилось, пот выступил. И все-таки в глубине души я была довольна.

Гадко было, что я так думала, но все же в то утро я хозяйничала с легким сердцем, не стала его будить, а когда он открыл глаза, лежа один в постели, я сказала:

«Знаешь, что я узнала, пока ты спал?»

«Нет».

«Я узнала, что у тебя седые волосы».

С досады его так передернуло, что он сразу вскочил, как от щекотки, и злобно сказал мне:

«Неправда!»

«Нет, правда. На левом виске. Четыре седых волоса».

Он спрыгнул с постели и побежал к зеркалу.

Он не увидел их. Я ему показала первый, самый нижний, коротенький, вьющийся, и сказала:

«Ничего нет удивительного при такой жизни. Через два года с тобой будет кончено».

И что же, сударь! Так оно и вышло: через два года его нельзя было узнать. Как быстро это меняет человека! Он был еще красив, но терял свежесть, и женщины перестали гоняться за ним. Ах, невесело жилось в то время! Показал он мне виды! Все было не по нем, все как есть. Ремесло свое он

бросил, открыл шляпный магазин, просадил на нем деньги. Потом попробовал пойти в актеры, удачи не было и тут, стал бегать по публичным балам. Но все-таки хватило ума приберечь остатки состояния. На них мы теперь и живем. Концы с концами сводим, но не жирно. И подумать только, что одно время он был почти богат.

А что он делает теперь, вы сами видели. Словно повредился! Ему хочется быть молодым, хочется танцевать с женщинами, от которых пахнет духами и помадой. Ах, бедный ты мой, старенький!..

Взволнованная, чуть не плача, смотрела она на своего старого мужа. Тот храпел. Затем она тихонько подошла к нему и поцеловала в голову. Доктор встал, собираясь уйти. Он глядел на странную чету и не знал, что сказать.

Когда он прощался, женщина спросила:

— Может быть, вы все-таки оставите мне адрес? Если ему станет хуже, я сбегаю за вами.

Портрет

— А, Мильяль! — произнес кто-то возле меня.

Я взглянул на человека, которого окликнули: мне давно хотелось познакомиться с этим дон-жуаном.

Он был уже не молод. Седые без блеска волосы слегка напоминали меховую шапку, какие носят некоторые народы севера, а мягкая, довольно длинная борода, падавшая на грудь, тоже была похожа на мех. Он вполголоса разговаривал с какой-то женщиной, склонившись к ней и глядя на нее нежным взглядом, Почтительным и ласковым.

Я знал его жизнь, или, по крайней мере, то, что о ней было известно. Он не раз был любим до безумия; с его именем была связана не одна драма. О нем говорили как о человеке необычайно пленительном, почти неотразимом. Когда я, желая узнать, откуда у него эта сила, расспрашивал тех женщин, которые особенно превозносили его, они после небольшой заминки неизменно отвечали:

— Не знаю, право… какое-то обаяние.

Красив он, конечно, не был. Он совершенно не обладал той элегантностью, которая считается обязательной для покорителей женских сердец. Я с любопытством задавал себе вопрос: в чем же его очарование? В остроумии?.. Мне никогда не передавали его словечек, никто не восхвалял его ума… Во взгляде?.. Возможно… Или в голосе? Голос некоторых людей обладает неотразимой чувственной прелестью, как бы вкусом изысканного блюда. Ты жаждешь слушать его звук; произносимые им слова доставляют такое же наслаждение, как лакомство.

Мимо проходил один из моих приятелей. Я спросил его:

— Ты знаешь господина Мильяля?

— Знаю.

— Познакомь меня, пожалуйста.

Минуту спустя мы обменялись рукопожатием и разговорились. То, что он говорил, звучало справедливо, приятно, но по содержанию не представляло ничего замечательного. Голос у него и в самом деле был красивый, мягкий, ласкающий, музыкальный; но мне приходилось слышать голоса гораздо более пленительные, более волнующие. Слушать его доставляло такое же удовольствие, как смотреть на красивый жур-

чащий ручей. Чтобы следить за ходом его мысли, не требовалось ни малейшего усилия: он не разжигал любопытства сознательным умолчанием, ни одна пауза не вызывала настороженного интереса. Беседа эта была скорее отдыхом; она не возбуждала ни острого желания возражать или противоречить, ни восторженного согласия.

В беседе с ним отвечать было так же легко, как и слушать. Ответ приходил сам собою, едва только Мильяль умолкал, и фразы слагались с такой легкостью, словно его речь сама естественно вызывала их.

Вскоре меня поразило одно наблюдение. Я был знаком с ним не более четверти часа, а мне казалось, что это мой старый друг, что все в нем — и лицо его, и голос, и жесты, и мысли — давно мне знакомо.

После нескольких минут разговора я вдруг почувствовал, что между нами установилась какая-то близость. Все двери были открыты, и, если бы он захотел, я, быть может, рассказал бы ему о себе такие вещи, в каких признаются обычно только самым старым друзьям.

Право, в этом была какая-то тайна. Преград, которые существуют между людьми и разрушаются одна за другой лишь с течением времени,

когда мало-помалу их подтачивают симпатия, общность вкусов, одинаковый уровень духовного развития и постоянное общение, — всех этих преград между нами как бы не существовало, и, должно быть, их вообще не было между ним и всеми остальными людьми, которых сталкивал с ним случай.

Через полчаса мы расстались, пообещав друг другу часто встречаться; он пригласил меня на другой день к завтраку и дал мне свой адрес.

Я позабыл условленный час и пришел слишком рано; он еще не возвращался. Корректный и молчаливый слуга ввел меня в красивую темноватую гостиную, уютную и спокойную. Я почувствовал себя в ней как дома. Сколько раз я замечал влияние жилища на характер и настроение! Бывают комнаты, в которых всегда чувствуешь себя дураком; в других, напротив, всегда бываешь в ударе. Одни нагоняют тоску, хотя бы они были светлые, белые с позолотой; другие почему-то веселят, несмотря на спокойные тона обивки. У нашего глаза, как и у сердца, есть свои пристрастия и глубокие антипатии, в которые мы часто не бываем посвящены, но все же они воздействуют на наше настроение тайно, украдкой. Общий стиль обстановки, гармония мебели и стен непосред-

ственно влияют на нашу духовную природу, как лесной, горный или морской воздух действует на природу физическую.

Я сел на диван, где было разбросано множество подушек, и внезапно почувствовал, что эти шелковые мешочки, набитые пухом, поддерживают меня, покоят, обнимают, как будто это сиденье было заранее рассчитано на форму и размеры моего тела.

Я огляделся. В комнате не было ничего бьющего в глаза. Красивые, скромные вещи, изысканная и простая мебель, восточные ткани, которые, казалось, попали сюда не из магазина, а из гарема; и прямо напротив меня — женский портрет. Это был поясной портрет: голова, бюст и руки, державшие книгу. Женщина была без шляпы, причесана на прямой пробор и улыбалась немного грустно. Потому ли, что на ней не было шляпы, потому ли, что ее поза производила впечатление полной естественности, но только никогда портрет женщины не казался мне так на месте, так у себя дома, как этот портрет в этой комнате. Почти во всех женских портретах, какие я знаю, чувствуется нарочитость; либо дама является в парадном туалете, причесанная к лицу и явно помнит, что она позирует, во-первых, перед

художником, а во-вторых, перед всеми, кто будет смотреть на портрет; либо она принимает непринужденную позу в тщательно выбранном домашнем туалете.

Иные изображены стоя, в величественной позе, во всей своей красоте, с надменным выражением лица, какое вряд ли они долго сохраняют в обыденной жизни. Другие жеманятся на неподвижном холсте; и на каждом портрете какая-нибудь мелочь — цветок или драгоценность, складка платья или складка губ, — несомненно, прибавлена художником для эффекта. Надета ли на голову шляпка, наброшено ли кружево, оставлены ли волосы непокрытыми, но вы всегда угадываете в портрете что-то искусственное. Что именно, не отдаешь себе отчета, потому что никогда не знал оригинала, но это чувствуется. Кажется, будто женщина пришла с визитом к каким-то людям, которым она хочет показать себя в самом выгодном свете, и любая ее поза, скромная ли, величавая ли, всегда заучена.

Что же сказать об этой женщине? Она была дома и одна. Да, она была одна, потому что улыбалась так, как можно улыбаться, только думая в одиночестве о чем-нибудь грустном и приятном; на кого смотрят, тот не может так улыбаться. Она

была настолько одна и настолько дома, что во всей этой большой гостиной я не замечал ничего, решительно ничего, кроме нее. Она была здесь одна, все заполняла собой, всему придавала уют; сюда могло бы войти сколько угодно людей, и эти люди могли бы разговаривать, смеяться, даже петь, но она всегда оставалась бы одна со своей одинокой улыбкой и одна оживляла бы комнату своим неизменным взглядом.

Он был тоже совершенно необычен, этот взгляд. Ласкающий и неподвижный, он останавливался на мне, не видя меня. Все портреты знают, что на них смотрят, и все они отвечают глазами, и глаза их видят, думают, неотрывно следят за нами, пока мы не выйдем из комнаты, где они живут.

Эта женщина не видела меня, не видела ничего, хотя взгляд ее покоился прямо на мне. Я вспомнил поразительный стих Бодлера:

Влекущий твой, как у портрета, взор…

Эти изображенные художником глаза, которые когда-то жили, а может быть, живут и сейчас, в самом деле неотразимо влекли к себе, наполняли меня неизведанной доселе странной и властной тревогой. О, какое бесконечное обаяние, нежное и ласковое, как мимолетный ветерок, пленитель-

ное, как небеса, утопающие в лиловых, розовых и синих сумерках и немного печальные, как идущая за ними ночь, исходило от этого темного портрета и от этих непроницаемых глаз! Созданные несколькими мазками кисти, эти глаза скрывали тайну того, что кажется существующим и не существует, того, что может промелькнуть во взгляде женщины, того, что зарождает в нас любовь.

Дверь открылась. Вошел г-н Мильяль. Он извинился, что опоздал. Я извинился, что пришел слишком рано. Потом я сказал:

— Не будет ли нескромностью спросить вас, кто эта женщина?

Он ответил:

— Это моя мать. Она умерла очень молодою.

Тогда я понял, откуда оно, такое необъяснимое обаяние этого человека.

Калека

Это случилось со мною примерно в 1882 году.

Я только что сел в купе пустого вагона и закрыл дверь, надеясь, что останусь один, когда внезапно дверь снова открылась, и я услышал чей-то голос:

— Осторожнее, сударь, тут как раз скрещиваются пути, а ступенька очень высокая.

Другой голос ответил:

— Не бойся, Лоран, я возьмусь за поручни.

Показалась голова в котелке и две руки; уцепившись за кожаные с сукном поручни, они медленно подтянули толстое туловище, а ноги, попав на ступеньки, стукнули, словно трость, ударившаяся о камень.

Когда человек втащил в купе свое туловище, я увидел обвисшую штанину, из которой торчал черный кончик деревянной ноги; вскоре последовала и вторая деревяшка.

За пассажиром показалась чья-то голова.

— Удобно вам здесь, сударь?

— Да, мой друг.

— Ну, так вот ваши свертки и костыли.

В вагон поднялся слуга, похожий на отставного солдата; в руках у него была целая охапка свертков в черной и желтой бумаге, тщательно завязанных. Один за другим он положил свертки в сетку над головой хозяина и сказал:

— Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки.

— Отлично, дружок.

— Счастливого пути, сударь!

— Спасибо, Лоран. Будь здоров.

Слуга ушел, закрыв за собой дверь, и я взглянул на своего соседа.

Это был человек лет тридцати пяти, хотя почти уже седой, с орденом, усатый и очень толстый; он отличался гой особой болезненной тучностью, которой всегда страдают сильные и энергичные люди, если какое-нибудь несчастье обрекло их на неподвижность.

Он отер лоб, перевел дух и спросил, глядя мне прямо в лицо:

— Куренье вам не помешает, сударь?

— Нет, сударь.

Этот взгляд, голос, лицо были мне знакомы. Но где, когда? Да, конечно, я встречал этого человека, говорил с ним, жал ему руку. Это было давно, очень давно и терялось в том тумане, где память,

словно ощупью, ищет воспоминания и гонится за ними, как за ускользающими призраками, не в силах схватить их.

Он тоже рассматривал меня пристальным, неподвижным взглядом, как человек, который что-то припоминает, но не может вспомнить до конца.

Эти настойчивые перекрестные взгляды смутили нас обоих, и мы отвели друг от друга глаза; однако через несколько секунд, повинуясь смутному, но властному велению ищущей памяти, взгляды наши встретились снова, и я сказал:

— Боже мой, сударь! Чем битый час разглядывать друг друга украдкой, давайте лучше припомним вместе, где мы встречались.

Сосед с готовностью отвечал:

— Вы совершенно правы, сударь.

Я назвал себя:

— Меня зовут Анри Бонклер, я чиновник судебного ведомства.

Он колебался несколько секунд и затем проговорил с той неуверенностью во взгляде и голосе, которая бывает вызвана большим напряжением памяти:

— Ах, совершенно верно! Я встречал вас у Пуанселей… тогда еще, до войны, двенадцать лет

назад!

— Да, сударь! А… а вы лейтенант Ревальер?

— Да… Я даже стал капитаном Ревальер к тому времени, как лишился ног… Обе оторвало одним ядром.

И тут, возобновив знакомство, мы опять взглянули друг на друга.

Я прекрасно помнил этого красивого худощавого молодого человека, дирижировавшего котильонами с таким изяществом и воодушевлением, что его, помнится, прозвали «Смерчем». Но за этим образом, отчетливо всплывшим в памяти, витало еще что-то неуловимое, какая-то история, которую я знал и забыл, одна из тех историй, какие выслушиваются с мимолетным и благожелательным вниманием и оставляют в нас почти неощутимый след.

История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожее на запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь.

Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Эго была действительно

любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым.

Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк.

Он сказал:

«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».

Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених или невеста вступает в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж.

Мне казалось, что это прекрасно, но банально; так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь при-

нести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа.

Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки бессильной злобы и неизбежную тучность.

Счастлив он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом все растущее и наконец непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам.

Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами; я взглянул на сетку для вещей и стал соображать: «У него, очевидно, трое детей: кон-

феты он везет жене, куклу — дочурке, барабан и ружье — сыновьям, а паштет из гусиной печенки — себе».

Я спросил его:

— У вас есть дети, сударь?

Он ответил:

— Нет, сударь.

Я вдруг почувствовал себя смущенным, как будто совершил большую бестактность.

— Простите меня, — сказал я. — Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.

Он улыбнулся, потом проговорил:

— Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.

Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:

— Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадемуазель де Мандаль.

— Да, сударь, у вас превосходная память.

Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:

— Да, помнится, я слышал также, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за господина… господина…

Он спокойно произнес фамилию:

— За господина де Флерель.

— Вот-вот! Да… теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.

Я взглянул ему в глаза, и он покраснел.

Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.

Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении.

— Совершенно напрасно, сударь, имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны — увы, без ног, — я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж — значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала

всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?

Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же… Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.

Я неожиданно спросил его:

— У госпожи де Флерель есть дети?

— Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне.

Поезд поднимался по сен-жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился.

Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через

открытую дверь к нему протянулись две руки:

— Здравствуйте, милый Ревальер!

— А-а! Здравствуйте, Флерель.

Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками, затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которые отец их вынимал из вагонной сетки.

Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.

Двадцать пять франков старшей сестры

Да, он был в самом деле смешон, папаша Павильи: длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке «огненно-рыжий хохол.

Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки — шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, господь бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил; и он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху.

Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противиться, до того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев и там принимал-

ся щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься; она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз, а он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним.

Однажды, в конце июня, он нанялся жнецом к фермеру Ле-Ариво, около Рувиля. Три недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шутками. Днем, в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь; потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромное пресмыкающееся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам, кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна.

В последний день уборки урожая, когда шесть

лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе, с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павильи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению.

Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Ариво, Павильи подпрыгнул, подняв руки, но прежде, чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувырнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу.

Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт, огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха.

Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.

— Похоже, лапу сломал, — сказал один из крестьян.

И в самом деле, нога была сломана.

Хозяин, Ле-Ариво, велел уложить его на стол и

послал верхового за доктором в Рувиль. Доктор приехал через час.

Фермер выказал большую щедрость и объявил, что оплатит содержание жнеца в больнице.

Доктор отвез Павильи в своем экипаже и поместил его в выбеленной известью палате, где ему наложили повязку.

Как только Павильи понял, что не умрет, а, напротив, будет, ничего не делая, полеживать на спине да о нем же еще будут заботиться, лечить его, холить и кормить, его охватила беспредельная радость, и он засмеялся тихим, сдержанным смехом, показывая свои гнилые зубы.

Когда к его постели подходила сестра, он корчил довольную рожу, подмигивал, кривил рот на сторону или шевелил длинным, чрезвычайно подвижным носом. Соседи по палате не могли при всех своих болезнях удержаться от хохота, а старшая сестра частенько подходила к его кровати немножко позабавиться. Для нее у Павильи находились пресмешные выходки и свежие остроты, а так как в нем жил актер на все роли, то он в угоду ей корчил из себя верующего и разговаривал на божественные темы с серьезным видом человека, который знает, что есть минуты, когда шутить нельзя.

Однажды он вздумал спеть сестре несколько песенок. Она пришла в восторг и стала подходить к нему еще чаще; потом, решив использовать его голос, принесла книгу церковных песнопений. К этому времени Павильи начал немного двигаться, и теперь можно было наблюдать, как он, сидя на кровати, воспевал фистулой хвалы предвечному, деве Марии и святому духу, а толстая сестра, стоя рядом, задавала ему тон и отбивала пальцем такт. Когда он мог уже ходить, старшая сестра предложила оставить его в больнице на некоторое время, с тем чтобы он пел в часовне, прислуживал во время мессы и вообще исполнял обязанности пономаря. Павильи согласился. И целый месяц, еще хромая, облачившись в белый стихарь, он пел псалмы и возглашал ответы, так уморительно задирая при этом голову, что число прихожан сильно увеличилось: вместо церкви стали ходить к обедне в больничную часовню.

Но всему бывает конец, и когда Павильи совершенно поправился, пришлось его выписать. В благодарность старшая сестра подарила ему двадцать пять франков.

Очутившись на улице с деньгами в кармане, Павильи стал думать, что бы ему теперь предпринять. Вернуться в деревню? Конечно, но не

прежде, чем он как следует выпьет, — ему так давно не приходилось этого делать! И он зашел в кафе. В городе он бывал не чаще одного или двух раз в год, и у него осталось, в особенности от одного из таких посещений, смутное и пьянящее воспоминание кутежа.

И вот он спросил стаканчик водки и выпил его залпом, чтобы промочить горло, а затем велел налить другой, чтобы распробовать вкус.

Как только крепкая, жгучая водка коснулась языка и неба Павильи, как только он после долгого воздержания с особой остротой почувствовал любимое и желанное действие спирта, который ласкает, и щиплет, и обжигает, и наполняет своим запахом весь рот, он понял, что выпьет целую бутылку, и тотчас спросил, сколько это будет стоить: рюмками было бы дороже. Ему насчитали три франка. Он заплатил и стал спокойно напиваться.

Он делал это не без системы, так как хотел сохранить достаточную ясность сознания и для других удовольствий. Поэтому, дойдя до того градуса, когда кажется, что тебе кланяются трубы на домах, он немедленно встал и заплетающимся шагом, с бутылкой под мышкой, отправился на поиски публичного дома.

Он нашел его не без труда: сначала спросил дорогу у возчика, который ее не знал, потом у почтальона, который дал неверные сведения, потом у булочника, который стал в ответ ругаться и обозвал его старой свиньей, и наконец у военного, который любезно проводил его и посоветовал выбрать Королеву.

Хотя не было еще полудня, Павильи вошел в обитель наслаждения; его встретила служанка и хотела выставить его за дверь. Но он рассмешил ее гримасой, показал три франка — обычную плату за особый товар, продававшийся в этом месте, — и не без труда поднялся за ней по темной лестнице во второй этаж.

Войдя в комнату, он потребовал, чтобы вызвали Королеву, и стал поджидать ее, потягивая водку из горлышка бутылки.

Дверь открылась, и показалась девица. Она была огромного роста, жирная, красная, необъятная. Уверенным взглядом, взглядом знатока она смерила свалившегося в кресло пьяницу и спросила:

— И не стыдно тебе в такое время?

Он пробормотал:

— Чего стыдно, принцесса?

— Да беспокоить даму, когда она даже не успела

пообедать!

Он хотел пошутить:

— Храбрец часов не выбирает.

— Не выбирает, чтобы нахлестаться, старый горшок!

Павильи рассердился:

— Во-первых, я не горшок, а во-вторых, я не пьян.

— Не пьян?

— Нет, не пьян.

— Не пьян! Да ты на ногах не стоишь!

Она глядела на него с яростью женщины, которую оторвали от обеда.

Он поднялся.

— Ну… ну… так хочешь, станцую тебе польку?

И, чтобы показать, как он тверд на ногах, Павильи влез на стул, сделал пируэт и вспрыгнул на кровать, где его огромные грязные сапоги оставили два ужасающих пятна.

— Ах, скотина! — закричала девица.

Бросившись к нему, она хватила его кулаком в живот, да так, что Павильи потерял равновесие, свалился на спинку кровати, перекувырнулся, ударился о комод, опрокинув таз и кувшин с водой, и наконец с громким воплем рухнул на пол.

Раздался страшный грохот, а крики Павильи

были так пронзительны, что сбежался весь дом: хозяин, хозяйка, служанка и персонал.

Хозяин прежде всего попытался поднять парня, но тот, как только его поставили на ноги, вновь потерял равновесие и стал вопить, что у него сломалась нога — другая, целая, целая!

Так оно и было. Побежали за врачом. Пришел тот же доктор, что лечил Павильи у Ле-Ариво.

— Как, опять вы? — сказал он.

— Да, сударь.

— Что же с вами?

— Мне сломали другую ногу, господин доктор.

— Кто же это сделал, приятель?

— Да девка!

Все слушали: девицы в капотах, с еще жирными от прерванного обеда ртами, взбешенная хозяйка, встревоженный хозяин.

— Скверная история! — сказал доктор. — Как вам известно, муниципалитет не очень доброжелательно к вам относится. Постарайтесь замять это дело.

— Как это устроить? — спросил хозяин.

— Да самое лучшее будет поместить этого человека в больницу, откуда он только что выписался, и оплатить его содержание.

Хозяин отвечал:

— Лучше уж это, чем неприятности.

И вот через полчаса пьяный и охающий Павильи снова появился в той палате, откуда вышел час тому назад.

Старшая сестра всплеснула руками. Она была и огорчена, потому что Павильи ей нравился, и улыбалась, потому что ей приятно было снова увидеть его.

— Ну, мой друг, что такое с вами случилось?

— Да другая нога теперь сломалась, госпожа сестрица!

— Ах, так вы снова влезли на телегу с соломой, старый озорник?

И Павильи смущенно и уклончиво пробормотал:

— Нет… нет… На этот раз, на этот раз… нет… нет… Это совсем не я виноват, совсем не я… Во всем виновата подстилка…[10]

Сестра не могла добиться другого объяснения и так и не узнала, что истинной причиной рецидива были ее двадцать пять франков.

---

[10] Сноски: 10

В оригинале слово paillasse, имеющее два значения: «подстилка» и «проститутка».

Дело о разводе

Слово получил адвокат г-жи Массель:

— Господин председатель, господа судьи!

Дело, которое я должен защищать перед вами, относится скорее к медицине, нежели к юриспруденции, и представляет собою скорее патологический случай, чем правовой вопрос. С первого взгляда факты весьма просты.

Очень богатый молодой человек, благородной и восторженной души, великодушного сердца, влюбляется в необычайно красивую, более чем красивую, восхитительную девушку, столь же изящную, обаятельную, добрую и нежную, как и красивую, и женится на ней.

Некоторое время он ведет себя как самый заботливый и нежный супруг; потом начинает пренебрегать женой, грубо обращаться с ней и как будто испытывает к молодой женщине непреодолимое отвращение, непобедимую гадливость. Однажды он даже наносит ей побои, и не только без всякой причины, но даже без всякого повода.

Я не стану, господа, развертывать перед вами картину его странных, ни для кого не объясни-

мых поступков. Не стану описывать вам ужасную совместную жизнь этих двух людей и тяжелое горе молодой женщины.

Чтобы убедить вас, достаточно будет огласить несколько отрывков из дневника этого несчастного человека, этого несчастного безумца. Ибо, милостивые государи, перед нами безумец, и дело тем более любопытно, тем более интересно, что тут имеется много общего с сумасшествием недавно скончавшегося злосчастного и диковинного короля, который платонически управлял Баварией. Этот медицинский случай я назвал бы поэтической манией.

Вы помните все, что рассказывалось об этом странном государе. В великолепнейшей местности своего королевства он построил настоящие феерические замки. Но реальная красота пейзажей и предметов не удовлетворяла его, и он при помощи театральной бутафории создал в своих невероятных поместьях искусственные горизонты, обманы зрения, нарисованные леса, сказочные царства, где на деревьях висели листья из драгоценных камней. Там были Альпы с ледниками, степи, песчаные пустыни, сожженные солнцем; а ночью, при настоящей луне, озера освещались со дна волшебным электрическим

светом. По этим озерам плавали лебеди и скользили челноки, а в это время душу царственного безумца опьянял оркестр, составленный из лучших артистов мира.

Этот человек был чист, этот человек был девственником. Он никогда никого не любил, кроме мечты, своей мечты, своей божественной мечты.

Однажды вечером он пригласил покататься на лодке молодую красивую женщину, знаменитую певицу; он попросил ее спеть. Она запела, опьяненная изумительным пейзажем, нежной теплотой вечернего воздуха, благоуханием цветов, восторгом юного и прекрасного государя.

Она пела, как поет женщина, которой коснулась любовь, а потом, теряя голову, трепеща, бросилась на грудь к королю, ища губами его губы.

Но он сбросил ее в озеро, взялся за весла и поплыл к берегу, не беспокоясь о том, спасут ее или нет.

Перед нами, господа судьи, вполне сходный случай. Теперь я только оглашу здесь выдержки из дневника, обнаруженного нами в ящике письменного стола.

«Как все печально и некрасиво, всегда одинаково, всегда безобразно! Как я мечтаю о более

прекрасной, о более благородной, более разнообразной земле! Каким убогим воображением должен обладать их бог, если только он существует и если им не создано в другом месте что-либо иное.

Вечно леса, лесочки, реки, похожие на всякие другие реки, равнины, похожие на всякие другие равнины, — все одинаково и монотонно. А человек!.. Человек!.. Какое ужасное животное, злое, самолюбивое, отвратительное…

Надо полюбить, полюбить безумно, так, чтобы не видеть, кого любишь. Потому что видеть — значит понимать, а понимать — значит презирать. Надо полюбить и опьяниться ею, как пьянеешь от вина, так, чтобы уже не чувствовать, что ты пьешь. И пить, пить, пить день и ночь, не переводя дыхания!

Я, кажется, нашел. Во всем ее облике есть нечто идеальное, будто не от мира сего, нечто, придающее крылья моей мечте. Ах, моя мечта, какими непохожими на самих себя рисует она мне людей! Она блондинка, светлая блондинка, с непередаваемым оттенком волос. Глаза у нее голубые! Только голубые глаза могут увлечь мою душу. Всю женщину — женщину, живущую в

глубине моего сердца, — я познаю по глазам, только по глазам.

О, тайна! Какая это тайна — глаз!.. В нем вся вселенная, ибо он видит, ибо он отражает ее. Он обнимает всю вселенную — вещи и живые существа, леса и океаны, людей и животных, солнечные закаты, звезды, произведения искусства, все, все; он все видит, все собирает и похищает; и больше того: в нем живет душа человека, который мыслит, смеется, любит, страдает. О! Поглядите в голубые глаза женщины, в эти глаза, глубокие, как море, изменчивые, как небо, такие нежные, нежные, как ветерок, как музыка, как поцелуй, и такие прозрачные, ясные, что сквозь них видна душа, голубая душа, дающая им цвет, оживляющая и обожествляющая их.

Да, у души цвет взгляда. Только голубая душа таит в себе мечту: она берет лазурь у волн и у простора.

Глаз! Подумайте только! Глаз! Он вбирает видимую жизнь и питает ею мысль. Он вбирает весь мир — цвета, движения, книги, картины, все прекрасное и все безобразное, — из всего этого создает мысль. А когда он обращен на нас, он дает нам ощущение неземного счастья. Он позволяет нам предчувствовать то, чего мы никогда не

будем знать; он заставляет нас понимать, что действительность наших снов — это презренная грязь.

Я люблю ее и за походку.

У птиц и на ходу мы ощущаем крылья, сказал поэт. Когда она идет, чувствуется, что она не из той породы, что остальные женщины, а из другой, более легкокрылой и божественной…

Завтра я женюсь на ней… Я боюсь… боюсь многого…

Два зверя, две собаки, два волка, две лисицы бродят по лесам и встречаются. Один — самец, другая — самка. Они спариваются. Спариваются по животному инстинкту, заставляющему их продолжать род, свой род, тот, от которого они получили формы тела, шерсть, рост, движения и повадки.

Так делают все животные, сами не зная почему!

И мы тоже.

Это самое сделал и я, когда женился на ней: я подчинился тому нелепому порыву, который бросает нас к самке.

Она моя жена. Пока я желал ее идеально, она

была для меня мечтою, неосуществимой и готовой осуществиться. С того самого мгновения, когда я обнял ее, она стала лишь тем существом, которым воспользовалась природа, чтобы обмануть все мои надежды.

Обманула ли она их? Нет. И все же я устал от нее, так устал, что не могу прикоснуться к ней, дотронуться до нее рукой или губами, чтобы сердце мое не сжалось невыразимым отвращением, — быть может, не отвращением к ней, но отвращением более возвышенным, более серьезным, более презрительным — отвращением к любовным объятиям, таким гнусным, что для всех утонченных существ они превратились в постыдный акт, который надо скрывать, о котором говорят лишь шепотом, краснея.

Я видеть не могу, как жена приближается ко мне, зовет меня улыбкой, взглядом, жестом. Не могу. Когда-то я думал, что ее поцелуй унесет меня в небеса. Однажды она захворала — небольшая простуда, — и в ее дыхании я почувствовал легкий, тонкий, почти неуловимый запах гниения. Я был потрясен!

О, плоть, живой и пленительный тлен, ходячая падаль, которая думает, говорит, глядит и смеется, — в ней переваривается пища, и эта розовая

плоть прекрасна, соблазнительна и обманчива, как душа.

Почему цветы, только цветы пахнут так хорошо, огромные, яркие или бледные цветы; их тона и оттенки приводят в трепет мое сердце и привораживают взгляд… Они так прекрасны, строение их так тонко, так разнообразно и так чувственно; они приоткрыты, как диковинные органы, они соблазнительнее губ, они полые, с вывернутыми губами, зубчатыми, мясистыми, осыпанными жизненной пыльцой, которая в каждом цветке порождает особый аромат.

Только они, только они одни в мире не грязнят, оплодотворяясь, своей чистой породы, но распространяют кругом божественное благоухание любви, ароматный пот своих ласк, эманацию несравненных тел, своих тел, украшенных всею грацией, всем изяществом форм, привлекающих всеми окрасками, соблазняющих всеми запахами».

Отрывки из записей, сделанных через полгода

«…Я люблю цветы не как цветы, но как очаровательные телесные существа; все дни и ночи я провожу в оранжереях, где цветы спрятаны у

меня, как жены в гареме.

Кто, кроме меня, знает сладость, безумие, трепетный, плотский, идеальный, сверхчеловеческий экстаз этой нежности? А эти поцелуи на розовом теле, на красном теле, на белом теле, на чудесно разнообразном, хрупком, редкостном, тонком, нежном теле изумительных цветов!

У меня есть оранжереи, куда не входит никто, кроме меня и садовника.

Я прокрадываюсь туда, как в место тайных наслаждений. Сначала иду по высокой застекленной галерее, между двумя рядами сомкнутых, приоткрытых или распустившихся венчиков, спускающихся пологом от крыши до потолка. Они посылают мне первый поцелуй.

Но эти цветы, украшающие собою преддверие моих тайных страстей, не фаворитки мои, а только служанки.

Они приветствуют меня, когда я прохожу, своими изменчивыми красками, своим свежим дыханием. Они грациозны, кокетливы, они поднимаются в восемь ярусов справа и в восемь ярусов слева и растут так тесно, что кажется, будто к моим ногам спускаются два сада.

При виде их сердце мое бьется, глаза загораются, кровь кипит в жилах, душа опьяняется, и руки

уже трепещут от желания прикоснуться. Я прохожу. В конце этой высокой галереи три запертых двери. Я могу выбирать. У меня три гарема.

Чаще всего я вхожу к орхидеям, к любимым моим усыпительницам. Комната у них низкая, душная. От горячего и сырого воздуха тело становится влажным, дыхание прерывистым, пальцы дрожат. Эти загадочные девы приходят к нам из болотистых стран, знойных и нездоровых. Они привлекательны, как сирены, смертельны, как яд, они изумительно причудливы, они волнуют, ужасают. Вот они, похожие на бабочек, с огромными крыльями, с тонкими лапками, с глазами! Да, у них есть глаза! Они глядят на меня, они видят меня, эти чудесные, неправдоподобные создания, эти феи, дочери священных стран, неосязаемого воздуха и жаркого света — отца мира. Да, у них есть крылья, есть глаза, есть оттенки, которых не воспроизведет ни один художник, они наделены всем очарованием, всей красотой, всеми формами, какие только могут пригрезиться. Их чресла расширяются, благоуханные и прозрачные, открытые для любви и более соблазнительные, чем любое женское тело. Невообразимые очертания их маленьких тел бросают опьяненную душу в рай идеальных образов, идеального сладостра-

стия. Они трепещут на стеблях, словно собираясь улететь. Хотят ли они лететь, прилететь ко мне? Нет, это сердце мое летает над ними, как мистический муж, измученный любовью.

Ничье крыло не может коснуться их. Они одни со мною в той светлой темнице, которую я построил для них. Я гляжу на них, созерцаю, любуясь ими, я обожаю их одну за другою.

Какие они сочные, глубокие, розовые — того розового цвета, который увлажняет губы желанием! Как я их люблю! Чашечка у них по краям завивается, там она бледнее шейки, и в ней прячется венчик — таинственный, заманчивый рот, сладостный на вкус, показывающий и снова скрывающий нежные, обаятельные и священные органы этих божественных маленьких созданий, которые приятно пахнут и не говорят.

Иногда меня охватывает страсть к одной из них, и страсть эта длится столько же, сколько длится существование ее предмета, — несколько дней, несколько вечеров. Тогда ее уносят из общей теплицы и заключают в крохотной стеклянной, комнатке, где по ложу тропического газона, привезенного с Тихоокеанских островов, журчит ручеек. И я остаюсь с нею, пылкий, трепещущий, измученный, зная, как близка ее смерть,

видя, как она увядает, пока я обладаю ею, пока в несказанной ласке я вдыхаю, впиваю, срываю ее короткую жизнь».

Закончив чтение отрывков, адвокат продолжал:

— Приличие, господа судьи, не позволяет мне сообщить вам дальнейшие удивительные признания этого извращенного мечтателя и безумца. Думаю, что тех выдержек, которые я предложил вашему вниманию, будет достаточно, чтобы оценить по достоинству этот случай душевной болезни, — болезни, которая в нашу эпоху истерических помешательств, вырождения и испорченности далеко не такая редкость, как это кажется.

Итак, я полагаю, что в том исключительном положении, в какое поставило мою доверительницу странное расстройство ее мужа, она имеет больше прав на развод, чем всякая другая женщина.

Кто знает?

I

Боже мой! Боже мой! Итак, я наконец запишу все, что со мной случилось! Но удастся ли мне сделать это? Решусь ли я? Это так странно, так невероятно, так непонятно, так безумно!

Если бы я не был уверен в том, что действительно видел все это, не был уверен, что в моих рассуждениях нет никакой путаницы, в моих восприятиях — никакой ошибки, в неумолимой последовательности моих наблюдений — никаких пробелов, то я считал бы себя просто-напросто жертвой галлюцинации, игралищем странных видений. Но в конце концов, кто знает?

Сейчас я нахожусь в лечебнице, но я пришел сюда добровольно, из осторожности, из страха. Мою историю знает только один человек на земле. Здешний врач. Я ее запишу. Сам не знаю зачем. Затем, чтобы отделаться от нее, потому что она душит меня, как невыносимый кошмар.

Вот она.

Я всегда был человеком одиноким, мечтателем, чем-то вроде философа-отшельника; я был доб-

рожелателен, всегда довольствовался малым, не сердился на людей и не досадовал на бога. Жил я всегда один, чувствуя в присутствии других какое-то стеснение. Чем объяснить это? Не знаю. Я не отказываюсь встречаться со знакомыми, беседовать и обедать с друзьями, но когда я ощущаю их присутствие слишком долго, то даже самые близкие из них утомляют меня, надоедают, раздражают, и я начинаю испытывать все растущее, мучительное желание, чтобы они ушли или уйти самому, остаться в одиночестве.

Это желание — больше, чем потребность; это настоятельная необходимость. И если бы присутствие людей, среди которых я нахожусь, затянулось, если бы мне пришлось в течение долгого времени не то чтобы выслушивать их разговоры, но хотя бы только слышать их голос, то со мной, несомненно, случилась бы какая-нибудь беда. Какая именно? Ах, кто знает! Может быть, простой обморок? Да, возможно.

Я так люблю одиночество, что даже не переношу, чтобы другие люди спали под одной кровлей со мною; я не могу жить в Париже, для меня это беспрестанная агония. Я умираю духовно, но и мое тело и мои нервы тоже страдают от этой бесконечной толпы, которая кишит, живет вокруг

меня, даже когда спит. Ах, сон других людей для меня еще тягостнее, чем их разговоры. И я совершенно не отдыхаю, когда чувствую, когда знаю, ощущаю за стеной чужую жизнь, прерванную этим регулярным затмением сознания.

Почему я такой? Кто знает! Причина, быть может, очень проста: я слишком быстро утомляюсь от всего того, что происходит вне меня. И таких людей вовсе не мало.

На земле существует две породы людей. Те, кто нуждается в других, кого другие развлекают и занимают, кому они дают отдых и кого одиночество изнуряет, истощает, опустошает, как подъем на ужасный ледник или переход через пустыню. Другие — те, кого люди, наоборот, утомляют, раздражают, стесняют, подавляют, тогда как одиночество успокаивает их и дает им отдых благодаря независимому и прихотливому полету мысли.

Словом, это обычное психическое явление. Одни наделены даром жизни внешней, другие — жизни внутренней. У меня внешнее внимание длится очень недолго и быстро исчерпывается, и как только наступает его предел, во всем моем теле и в моем сознании появляется ощущение тяжелого недомогания.

В силу этого я привязываюсь и всегда очень был привязан к вещам неодушевленным; для меня они получали значение живых существ, и дом мой превращался в мир, где я жил уединенной и деятельной жизнью среди вещей, мебели, привычных безделушек, радовавших мой взор, как дружеские лица. Я постепенно наполнял, украшал ими дом и среди них чувствовал себя довольным, удовлетворенным, счастливым, словно в объятиях милой женщины, привычные ласки которой сделались для меня спокойной и сладостной потребностью.

Я выстроил этот дом в прекрасном саду, отделявшем его от дороги; стоял он у заставы города, и в этом городе я мог, когда захочу, найти общество, в котором иногда испытывал необходимость. Все мои слуги спали в отдельном домике, в глубине огорода, окруженного высокой стеной. В тишине моего затерянного, спрятанного жилища, утопавшего среди листвы больших деревьев, темный покров ночи был для меня так приятен, так полон покоя, что каждый вечер я часами медлил лечь в постель, чтобы подольше насладиться всем этим.

В тот день в городском театре давали *Сигурда*. Я впервые слышал эту прекрасную феерическую

музыкальную драму и получил большое удовольствие.

Домой я возвращался пешком, быстрыми шагами. В ушах еще звучала музыка, перед глазами носились прекрасные видения. Ночь стояла черная-черная, такая черная, что я еле различал большую дорогу и несколько раз чуть не свалился в канаву. От заставы до моего дома было около километра, а может быть, немного больше, минут двадцать спокойной ходьбы. Был час ночи, час или половина второго; небо постепенно светлело, и наконец появился месяц, грустный месяц последней четверти. Месяц первой четверти, тот, что встает в четыре-пять часов вечера, — веселый, светлый, серебристый, а убывающий, встающий после полуночи, — красноватый, мрачный и тревожный: настоящий месяц шабаша. Это, должно быть, знают все любители ночных прогулок. Молодой месяц, хотя бы тонкий, как ниточка, отбрасывает свет слабый, но веселый, радующий сердце и рисующий на земле отчетливые тени; на ущербе же он излучает свет мертвенный, такой тусклый, что теней почти не получается.

Я завидел вдали темную массу своего сада, и, не знаю почему, мне стало как-то не по себе при

мысли, что надо войти туда. Я замедлил шаг. Было очень тепло. Большая купа деревьев казалась усыпальницей, где погребен мой дом.

Я открыл калитку и вошел в длинную аллею сикомор; она вела к подъезду, и ветви, сомкнувшись над головой, образовали как бы высокий туннель; он прорезал темные массивы зелени и огибал газоны с цветочными клумбами, которые казались в сумраке овальными пятнами неразличимых оттенков.

Когда я приблизился к дому, странное смущение охватило меня. Я остановился. Ничего не было слышно. Даже ветерок не шумел в листве. «Что это со мной?» — подумал я. Целых десять лет возвращался я домой таким образом и ни разу не испытывал ни малейшего беспокойства. Я не боялся. Никогда я не боялся ночи. Вид человека, какого-нибудь вора, грабителя, сразу привел бы меня в бешенство, и я, не колеблясь, бросился бы на него. К тому же я был вооружен. Со мной был револьвер. Но я к нему не прикасался, желая побороть в себе зарождавшееся ощущение страха.

Что это было? Предчувствие? Таинственное предчувствие, овладевающее человеком, когда ему предстоит увидеть необъяснимое? Возможно. Кто знает?

По мере того как я подвигался вперед, меня начинала охватывать дрожь, и когда я подошел к стене, к закрытым ставням большого дома, я почувствовал, что, прежде чем открыть дверь и войти, мне придется подождать несколько минут. Тогда я сел на скамью под окнами гостиной. Я сидел, слегка вздрагивая, прислонившись головой к стене и глядя на тени деревьев. В эти первые мгновения я не заметил кругом ничего особенного. В ушах у меня стоял какой-то шум, но это со мной бывает часто: иногда мне кажется, будто я слышу грохот поездов, звон колокола, гопот толпы.

Но вскоре этот звук стал отчетливее, яснее, понятнее. Я ошибся. То не был обычный гул крови в жилах, от которого у меня начинался шум в ушах, это были какие-то особые, хотя и смутные шорохи, несомненно, исходившие из моего дома.

Я слышал сквозь стены это непрерывное постукивание, — и то был скорее шелест, чем шум, непонятное перемещение массы вещей, словно кто-то потихоньку толкал, сдвигал, переставлял, перетаскивал всю мою мебель.

О, я еще довольно долго сомневался в верности своего слуха. Но, приникнув ухом к ставню, чтобы как следует вслушаться в странное движение,

происходившее в доме, я уверился, убедился, что там делается что-то особенное и непонятное. Я не боялся, но был… как бы это определить?.. был изумлен. Заряжать револьвер я не стал, догадавшись — и правильно, — что в этом нет никакой надобности. Я ждал.

Я ждал долго и не мог ни на что решиться. Ум мой был ясен, но отчаянно возбужден. Я ждал стоя и все прислушивался к нараставшему шуму; временами он доходил до какого-то яростного напряжения, так что казалось, будто слышишь рев нетерпения, гнева, непонятного возмущения.

И вдруг мне стало стыдно своей трусости: я выхватил связку ключей, выбрал нужный ключ, вложил в скважину, дважды повернул его и изо всей силы толкнул дверь, так что она ударилась в стену.

Удар прогремел, как ружейный выстрел, и этому выстрелу ответил ужасающий грохот по всему дому, сверху донизу. Это было так неожиданно, так страшно, так оглушительно, что я отступил на несколько шагов и вынул из кобуры револьвер, хотя по-прежнему чувствовал всю его бесполезность.

Я подождал еще — о, очень недолго! Теперь я уже различал какой-то необычайный топот по

ступенькам лестницы, по паркету, по коврам, топот не подошв, не людских башмаков, а костылей, деревянных и железных костылей: железные костыли гремели, как цимбалы. И вдруг я увидел на пороге, в дверях, кресло — мое большое кресло для чтения, вразвалку выходившее из дому. И оно проследовало по саду. За ним потянулись кресла из моей гостиной, потом, словно крокодилы, проползли на коротеньких лапках низенькие канапе, потом проскакали, словно козы, все мои стулья, а за ними трусили кроликами табуретки.

О, какое волнение! Я проскользнул в гущу деревьев и присел там на корточки, не отрывая глаз от этого шествия своей мебели: ведь она уходила вся, вещь за вещью, то медленно, то быстро, смотря по росту и весу. Мой рояль, мой большой рояль, проскакал галопом, словно взбесившийся конь, и музыка гудела в его чреве; словно муравьи, спешили по песку мелкие предметы: щетки, хрусталь, бокалы, — и лунные лучи блестели на них, как светляки. Ткани ползли, растекаясь лужами, наподобие каракатиц. Я увидел и свой письменный стол, редкостную вещь прошлого века; в нем лежали все полученные мною письма, вся история моего сердца, старая история, так выстраданная мной! И фотографии тоже были

в нем.

И вдруг я перестал бояться, я бросился и схватил его, как хватают вора, как хватают убегающую женщину; но он двигался с непреодолимой силой, и, несмотря на все старания, несмотря на весь свой гнев, я не мог даже замедлить его ход. Отчаянно сопротивляясь этой ужасающей силе, я упал на землю. И он потащил, повлек меня по песку, и вещи, шедшие позади, уже начинали наступать на меня, ушибая, разбивая мне ноги; а когда я разжал руки, эти вещи прошли по моему телу, как кавалерийская часть проносится во время атаки по выбитому из седла солдату.

Наконец, обезумев от страха, я все-таки уполз с большой аллеи... и снова притаился под деревьями; оттуда я увидел, как уходят мельчайшие вещи, самые маленькие, самые скромные, — те, которых я почти не знал, но которые принадлежали мне.

И затем вдали, в своей квартире, отныне гулкой, как все пустые дома, я услышал страшное хлопанье дверей. Они хлопали по всему дому сверху донизу, пока наконец не закрылась последней входная — та, которую я сам, безумец, открыл для этого бегства вещей.

И тогда я тоже пустился в бегство. Я убежал в

город, и только на его улицах я успокоился, встречая запоздалых прохожих. Я позвонил у дверей гостиницы, где меня знали, кое-как руками почистил одежду, стряхнув с нее пыль, и рассказал, будто потерял связку ключей, в том числе и ключ от огорода, где спали в домике мои люди, — спали за стеной, охранявшей мои фрукты и овощи от ночных воров.

Я зарылся с головой в постель. Но заснуть не мог и, слушая биение своего сердца, ждал утра. Я уже распорядился, чтобы моих людей предуведомили еще до восхода солнца, и в семь часов утра ко мне постучался камердинер.

На нем лица не было.

— Сегодня ночью, сударь, случилось большое несчастье, — сказал он.

— Что такое?

— Украдена вся ваша обстановка, сударь. Вся, вся до последней мелочи.

Это сообщение обрадовало меня. Почему? Кто знает! Я отлично владел собою, был уверен, что скрою все, никому ничего не скажу о том, что я видел, утаю все это, похороню в своей памяти, как страшную тайну. Я ответил:

— Так это те самые воры, которые украли у меня ключи. Надо немедленно сообщить в полицию. Я

сейчас же встану, и мы пойдем вместе.

Следствие длилось пять месяцев. Ничего не было открыто, не нашли ни одной, самой маленькой моей безделушки, ни малейшего следа воров. Ах, черт! Если бы я сказал, то, что было мне известно… если бы я это сказал… да они бы меня посадили под замок! Меня! Не воров, а того человека, который мог видеть подобное!

О, я умел молчать! Но обставлять дом заново я не стал. Совершенно лишнее. Все началось бы снова. Я не хотел возвращаться в этот дом. И не вернулся. Больше я его не видел.

Я уехал в Париж, остановился в гостинице и посоветовался с врачами относительно состояния своих нервов; после той страшной ночи оно начало беспокоить меня.

Врачи предписали мне путешествие. Я последовал их совету.

II

Я начал с поездки в Италию. Южное солнце принесло мне пользу. На протяжении полугода я странствовал из Генуи в Венецию, из Венеции во Флоренцию, из Флоренции в Рим, из Рима в Неаполь. Потом я прокатился по Сицилии, замечательной своею природой и памятника-

ми — реликвиями, оставшимися от греков и норманнов. Я проехал по Африке, мирно пересек эту огромную желтую безжизненную пустыню, где бродят верблюды, газели и кочевники-арабы, где в легком и прозрачном воздухе ни днем, ни ночью вас не преследует никакое наваждение.

Затем я вернулся во Францию через Марсель, и, несмотря на всю провансальскую веселость, сравнительно слабая яркость неба уже опечалила меня. Вернувшись на родной материк, я испытал своеобразное ощущение, какое бывает у больного, когда он считает себя выздоровевшим и вдруг глухая боль говорит ему, что очаг недуга не уничтожен.

Я снова поехал в Париж. Через месяц мне там надоело. Была осень, и мне захотелось до наступления зимы проехаться по Нормандии, где я никогда не бывал.

Начал я, разумеется, с Руана и целую неделю, развлекаясь, восхищаясь, восторгаясь, бродил по этому средневековому городу, по этому изумительному музею необыкновенных памятников готики.

И вот однажды, около четырех часов дня, я забрел на какую-то невероятную улицу, где протекает черная, как чернила, река под названием

О-де-Робек, заинтересовавшись причудливым и старинным обликом домов, как вдруг мое внимание было отвлечено целым рядом лавок случайных вещей, следовавших одна за другой.

О, эти мерзкие торговцы старьем прекрасно выбрали место в этой фантастической улочке, над мрачной водой, под этими острыми черепичными и шиферными крышами, на которых еще скрипели старинные флюгера.

В глубине темных магазинов громоздились резные сундуки, руанский, неверский и мустьерский фаянс, резные и раскрашенные статуи из дуба — Иисусы, мадонны, святые; церковные украшения, нарамники, ризы, даже священные сосуды и старая позолоченная деревянная дарохранительница, которую господь бог уже давным-давно покинул. О, что за странные притоны были в этих высоких, этих огромных домах, набитых от погреба до чердака всевозможными вещами, жизнь которых казалась конченной, вещами, пережившими своих естественных владельцев, свой век, свои времена, свои моды, чтобы новые поколения скупали их как редкость!

В этом антикварном квартале ожила моя любовь к вещам. Я переходил из лавки в лавку, в два прыжка перебираясь по мостам в четыре гнилые

доски, переброшенным над вонючим течением О-де-Робек.

Боже великий, какой ужас! Под одним из забитых вещами сводов, который показался мне входом в катакомбу, в усыпальницу старинной мебели, я увидел один из прекраснейших своих шкафов. Я подошел, весь дрожа, так дрожа, что не решился прикоснуться к нему. Я протягивал руку, колебался. Но это, несомненно, был мой шкаф стиля Людовика XIII, уникальная вещь, которой не мог не узнать тот, кто видел ее хоть раз. И вдруг, заглянув немного вперед, в еще более мрачные глубины этой галереи, я различил три своих кресла, обитых гобеленом тончайшей работы, а затем подальше — два моих стола времен Генриха II, таких редких, что люди приезжали из Парижа поглядеть на них.

Подумайте! Подумайте, каково было мое состояние!

И я пошел вперед; ноги не слушались меня, я умирал от волнения, но все шел, потому что я храбр; я шел, как рыцарь давних, темных времен, проникающий в заколдованное жилище. И с каждым шагом я открывал все свои вещи: мои люстры, мои книги, мои картины, мои ткани, мое оружие — все, кроме стола с письмами, — его

я не видел.

Я шел, спускаясь в темные подвалы и снова поднимаясь в верхние этажи. Я был один. Я звал, мне не отвечали. Я был один: в этом доме, обширном и извилистом, как лабиринт, не было никого.

Наступила ночь, и мне пришлось опуститься во мраке на один из моих стульев, потому что уходить я не желал. Время от времени я кричал:

— Эй! Эй, кто-нибудь!

Я, наверно, прождал не менее часа, пока услышал где-то шаги, легкие медленные шаги. Я чуть не сбежал, но потом, успокоившись, позвал еще раз и увидел в соседней комнате свет.

— Кто там? — спросил голос.

Я отвечал:

— Покупатель.

Мне ответили:

— Сейчас уже поздно ходить по лавкам.

Но я сказал:

— Я жду вас больше часа.

— Можете прийти завтра.

— Завтра я уезжаю из Руана.

Я не решался приблизиться к нему, а он не подходил. Я только видел свет, озарявший гобелен, на котором два ангела летали над покрытым трупами полем сражения. Гобелен был тоже мой.

Я сказал:

— Ну, что же, вы идете?

Он отвечал:

— Я жду вас.

Я встал и направился к нему.

Посреди большой комнаты стоял крохотный человечек, совсем крохотный и страшно толстый, феноменально толстый, — отвратительный феномен.

У него была реденькая неровная бороденка из скудных желтоватых волосков, и ни одного волоса на голове. Ни одного. Так как свечу он высоко поднял над собой, чтобы разглядеть меня, то череп его показался мне Маленькой луною в этой огромной комнате, заставленной старинной мебелью. Лицо было сморщенное и одутловатое, глаза — еле заметные щелки.

Я купил три своих собственных стула, тут же уплатил крупную сумму и назвал только свой номер в гостинице. Стулья надлежало доставить на следующий день к девяти часам утра.

Затем я ушел. Он очень вежливо проводил меня до дверей.

Я немедленно явился к главному комиссару полиции и рассказал ему о случившейся у меня покраже движимости и о только что сделанном

открытии.

Он тут же послал телеграфный запрос в прокуратуру, которая вела дело об этой покраже, и попросил меня дождаться ответа. Через час ответ был получен, а притом вполне для меня удовлетворительный.

— Я распоряжусь немедленно арестовать и допросить этого человека, — сказал мне комиссар. — Ведь он может почуять опасность и убрать из магазина все ваши вещи. Не угодно ли вам пока пообедать и вернуться сюда через два часа. Он будет уже здесь, и я еще раз допрошу его при вас.

— С большим удовольствием, сударь. Сердечно благодарю вас.

Я пошел обедать к себе в гостиницу и ел гораздо лучше, чем ожидал. Я все же был доволен. Он попался!

Через два часа я вернулся к полицейскому чиновнику; он ждал меня.

— Что делать, сударь! — сказал он, увидев меня. — Не нашли вашего молодца. Моим агентам не удалось застать его.

Ах! Я почувствовал, что мне дурно.

— Но… дом его вы нашли? — спросил я.

— Разумеется. Этот дом даже взят под наблюдение, пока не вернется хозяин. Но хозяин исчез.

— Исчез?

— Исчез. Обычно по вечерам он бывает у своей соседки, тоже старьевщицы, вдовы Бидуэн, довольно занятной ведьмы. Но сегодня вечером она его не видела и ничего не может о нем сообщить. Придется подождать до завтра.

Я ушел. О, какими мрачными, пугающими, полными наваждения казались мне руанские улицы!

Спал я плохо, все время просыпался от кошмаров.

Утром, не желая показаться слишком взволнованным или торопливым, я дождался десяти часов и только тогда явился в полицию.

Торговец не возвращался. Магазин его был все еще закрыт.

Комиссар сказал мне:

— Я принял все необходимые меры. Суд в курсе дела: мы вместе пойдем в эту лавку и вскроем ее. Вы мне покажете все ваши вещи.

Мы поехали в карете. Перед лавкой стояли полицейские со слесарем. Дверь была открыта.

Войдя, я не увидел ни своего шкафа, ни своих кресел, ни столов — ничего, ничего из той мебели, которой был обставлен мой дом! Ничего! А накануне вечером я шага не мог сделать, чтобы

не наткнуться на какую-нибудь свою вещь.

Комиссар удивился и сначала взглянул на меня недоверчиво.

— Боже мой, сударь, — сказал я ему, — исчезновение этих вещей странным образом совпадает с исчезновением торговца.

Он улыбнулся:

— Правильно. Напрасно вы вчера купили и оплатили стулья. Этим вы его спугнули.

Я сказал:

— Непонятно мне одно — на всех местах, где стояла моя мебель, теперь стоит другая.

— О, — отвечал комиссар, — у него ведь была целая ночь, и, конечно, он не без сообщников. Дом, безусловно, соединен с соседними. Не беспокойтесь, сударь, я энергично займусь этим делом. Разбойник ускользнул от нас ненадолго; мы ведь стережем его берлогу.

О, сердце, сердце мое, бедное мое сердце, как оно билось!

В Руане я пробыл пятнадцать дней. Этот человек не вернулся. О, черт! О, черт возьми! Разве что-нибудь могло его смутить или застать врасплох?

И, вот на шестнадцатый день утром я получил

от своего садовника, сторожа моего ограбленного и опустевшего дома, следующее странное письмо:

«Сударь,

Честь имею известить вас, что нынче ночью случилось такое, что никто не понимает, и полиция не больше нашего. Вся мебель вернулась – вся без исключения, до последней мелочи. Теперь дом точь-в-точь такой же, как накануне покражи. Есть от чего голову потерять. Это случилось в ночь с пятницы на субботу. Дорожки в саду так изрыты, словно мебель тащили по ним от калитки до дверей. Точно так же было и в день пропажи.

Мы ждем вас, сударь. Ваш покорный слуга

Филипп Роден».

Ну, уж нет! Ну, уж нет! Ну, уж нет! Не вернусь. Письмо я отнес руанскому комиссару.

— Возврат сделан ловко, — сказал он мне. — Запасемся терпением. На днях мы этого молодца сцапаем.

Не сцапали они его. Нет. Не сцапали, а вот я теперь боюсь его так, словно это дикий зверь, натравленный на меня.

Неуловим! Он неуловим, этот изверг с черепом, похожим на луну! Никогда его не поймают. Он не вернется домой. Очень-то ему нужно! Встретить его не может никто, кроме меня, а я этого не хочу.

Не хочу! Не хочу! Не хочу!

А если он вернется, придет в свою лавку, то кто докажет, что моя мебель действительно была у него? Никаких улик нет, кроме моего показания, а я отлично чувствую, что оно становится подозрительным.

Ах, нет! Такое состояние было невыносимо! И я уже не мог держать в тайне все, что видел. Не мог я жить, как живут все, и вечно бояться, что снова начнется что-нибудь такое.

Я пришел к главному врачу этой лечебницы и открыл ему все.

Он долго расспрашивал меня, а затем сказал:

— Вы бы согласились, сударь, пожить некоторое время здесь?

— С большим удовольствием, сударь.

— Вы человек состоятельный?

— Да, сударь.

— Хотите отдельный флигель?

— Да.

— Вам угодно принимать друзей?

— Нет, нет, никого. Этот руанский человек, может быть, попытается отомстить мне, он способен преследовать меня и здесь.

И вот уже три месяца я один, один, совершенно один. Я почти спокоен. Я боюсь лишь одного… что, если антикварий сойдет с ума… И если его поместят здесь… Ведь даже тюрьма не вполне надежна.